



# ДРУЖБА НАРОДОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ 1/2013



- Вячеслав Шаповалов  
Евроазис  
Стихи
- Артур Соломонов  
Театральная история  
Роман
- Андрей Волос  
Рассказы
- Василь Махно  
Lost in America: история Юджина
- Осознание границ  
или жизнь за заборчиком?  
Литературные итоги 2012 года.

1'2013

**Независимый  
литературно-  
художественный  
и общественно-  
политический  
журнал**

**Основан  
в марте 1939 года**

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, дом 13 стр.2.  
Фонд «Русский мир»  
для журнала «Дружба народов»  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12.  
**E-mail: dn52@mail.ru,**  
**http://magazines.russ.ru/  
druzhiba/**  
**LIVEJOURNAL: http://druzba-  
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.90 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.  
Отпечатано в типографии ОАО  
«Можайский полиграфический  
комбинат», 143200, Московская  
область,  
г. Можайск, ул. Мира, 93;  
тел.: (496)20-685; (495)745-84-28;  
факс: (49638)21-682;  
www.oaompk.ru, e-mail:  
oaompk@oaompk.ru

**Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического  
брака в экземплярах журнала  
обращаться в типографию, указанную  
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.**

Сдано в набор 20.11.12.  
Подписано в печать 20.12.12. Формат  
бумаги 70 x 108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 19,60. Усл. кр.-отт. 20,3.  
Уч.-изд. л. 21,5. Тираж 2000 экз.  
Заказ 1604. Цена свободная.

# Дружба народов

## 1'2013

### **Редакционная коллегия**

Главный редактор

Александр  
ЭБАНОИДЗЕ

Лев  
АННИНСКИЙ

Леонид  
БАХНОВ

Ирина  
ДОРОНИНА

Наталья  
ИГРУНОВА

Галина  
КЛИМОВА

Владимир  
МЕДВЕДЕВ

Зам. главного редактора

Фарит  
НАГИМОВ

Ответственный секретарь

Сергей  
НАДЕЕВ

### **Редакционный совет**

Рамазан  
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат  
АФЛАТУНИ

Муса  
АХМАДОВ

Резо  
ГАБРИАДЗЕ

Алла  
ГЕРБЕР

Денис  
ГУЦКО

Иван  
ДЗЮБА

Александр  
КЛЯЧИН

Валентин  
КУРБАТОВ

Ольга  
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар  
ПРИЛЕПИН

Кнут  
СКУЕНИЕКС

Сергей  
ФИЛАТОВ

Ринат  
ХАРИС

Левон  
ХЕЧОЯН

Вячеслав  
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид  
ЮЗЕФОВИЧ

## СОДЕРЖАНИЕ

### *Проза и поэзия*

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Вячеслав ШАПОВАЛОВ. Евроазис. Стихи.....                                 | 3   |
| Артур СОЛОМОНОВ. Театральная история. Роман.....                         | 9   |
| Григорий КРУЖКОВ. Vita nuova. Стихи .....                                | 101 |
| Андрей ВОЛОС. Рассказы .....                                             | 104 |
| Звиад РАТИАНИ. Отцы. Стихи. С грузинского. Перевод Бахыта Кенжеева ..... | 133 |
| Инна КАБЫШ. Вечная молодость. Рассказ .....                              | 136 |
| Дмитрий РУМЯНЦЕВ. Из первородной глины. Стихи.....                       | 144 |
| Алексей ТОРХОВ. Почтильон. Рассказ .....                                 | 148 |

### *Публицистика*

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Василь МАХНО. Lost in America: история Юджина.<br>С украинского. Перевод Завена Баблюна ..... | 154 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### *Нация и мир*

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Эмиль ПАИН. Иноверцы и инородцы. Способна ли демократия<br>противостоять исламофобии. Беседу ведет Ирина Доронина ..... | 175 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### *Критика*

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Осознание границ или жизнь за заборчиком? Литературные итоги 2012 года.<br>Заочный «круглый стол» ..... | 188 |
| Илья ФАЛИКОВ. Кладбище паровозов.<br>К 100-летию Ярослава Смелякова .....                               | 198 |

### *Культурная хроника*

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Юрий ПОДПОРЕНКО. Живопись как потребность души ..... | 243 |
|------------------------------------------------------|-----|

К нашей вклейке  
Масут Фаткулин. Живопись

### *Эхо*

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Отраженный удар. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ..... | 213 |
| Summary.....                                      | 224 |



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
ФОНДА «РУССКИЙ МИР»,  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА  
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ (МФГС)

Вячеслав Шаповалов

## Евроазис

### Киргизия, кукурузный Христос

«О теле электрическом я пою!..»

У. Уитмен, Р. Бредбери

Неистовый крик в переулках из роз  
и черным вином беременных лоз,  
где селился местный орус:  
— Жжяrr-ный Кокурус!  
— Жжяrr-ный Кокурус!

В зените лета являлся Христос:  
огромный курджун на смуглом плече,  
зрочок горит в золотом луче,  
воды, земли и солнца союз,  
промеж робертин и прочих каруз —  
Нагорной проповеди груз:  
— Жжяrr-ный Кокурус!..

Одинокий гребец в одиноком челне,  
черноликий бродяга в красной чалме,  
дымный Хорог, отчий порог,  
о чем возвещает пророк  
оттуда, где никто не бывал,  
с неистовым светом в смятенном уме,  
где льдов переплавленный перевал,  
чей след по памирам путь прорывал,  
извилистый, как макраме,  
узбек да таджик, верблюжий кадык,  
ва-алеякуму-ассалам  
с одышкою пополам! —  
во дни сомнений гремит сквозь ад  
бездомный имперский язык,  
блещет стеганный рваный халат,  
в курджуне — яблонево́й сад

от плоти тандыра, что так нежна,  
цветок кукурузного зерна,  
тронутый тленом забытых лет  
урюковый цвет,  
огня поцелуй, черно-белая плоть —  
Твой адский плод, наш общий Господь! —  
сладкая горечь и детства вкус,  
на зубах — зажмурься! — победный хруст,  
солнца аскеза, страсти искус:  
— Жжяrr-ный Кокурус!..

...Промчались дни. Обратились в прах.  
Еду с гостинцами в руках  
в свой дом на чужом коне.  
Чьи это лики явились впотьмах —  
кустарник в пророчествующем огне! —  
мой сын и дочери — рок и блюз —  
«Жареный Кукуруз»!..

...О, снова года! И всё горше груз  
безмолвья, что исходит из уст,  
и новый мир бесприютен и пуст.  
Но ликующий крик наполняет собой —  
снятся внуки веселой толпой:  
«Дед Жареный Кукуруз!»

И черный архангел, горящий куст,  
ответствует им и крутит свой ус:  
— Йе! Жжяrr-ный Кокурус!

---

*Шаповалов Вячеслав Иванович* — поэт, переводчик тюркской и европейской поэзии. Родился и живет в Бишкеке. Народный поэт Киргизии, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель культуры, профессор, доктор филологии. Директор научного центра «Перевод» в Киргизско-Российском славянском университете. Автор десяти книг стихов, в т.ч. «Избранное» в 2-х тт. (Бишкек, 2003), «Чужой алтарь» (Бишкек, 2011). Постоянный автор «Дружбы народов».

## Пустынная ода

Бахыту Кенжееву

Вот-вот, караванщик, изведает радость и боль,  
сердечную мышцу порвёт инфразвук узнавания,  
и некто в пещере поделится правдой с тобой,  
источника, впрочем, по имени не называя,  
и мир искорежит утраты мгновенная мгла,  
и всё, что любил, позабудешь в ночи многокрылой,  
и, взор не насытив в пространстве незримого зла  
ущельем, пустыней, судьбой, колыбелью, могилой,  
услышишь, как тягостно сонная вспыхнет заря,  
и страх отчуждения растает в медлительном шаге,  
и, в ноздри верблюдов ворвутся, вздыхая, моря  
солёным простором, исполненным влажной отваги.

Склонились к пустыне змеиные взоры небес,  
где всхлип родника и томительный вздох терракоты,  
где к звёздам нездешним влечет человечество бес  
и душу томят бесконечные их хороводы,  
где вера вернее надежды, где ночью светло,  
где вместе полдневный пожар и ночной полумесяц,  
где крест пошатнётся, Страдалец вздохнёт тяжело  
и ратники Карла историю вновь перемесят,  
где так же сироты-паломники к чёрной скале  
бредут, поднимая глаза к непомерному свету,  
где сладостно череп в чужой растворился земле,  
где Разум извне проверяет на вшивость планету.

Проникнись, вожатый верблюдов, смешением смертей —  
сколь суетен дух этих всяческих мыслящих тварей  
и однообразен: толпа неразумных детей  
(прикроют детсад) собирает свой первый гербарий,  
и он же — последний: надежды на эксперимент  
увы, улетучились, хоть и милы тараканы,  
пророк между ними что бронзовый жук-скарабей,  
предметное стёклышко, годы, строенья и страны,  
и страждущих лава, и эхо эпох и пустынь,  
и жаль их, живущих лишь миг, обделённых неверьем! —  
казнящий архангел утешен прощеньем простым,  
конечным безлюдьем, легчайших веков дуновеньем.

Великий и Шёлковый, Северный или ещё  
начертанный клипером под парусами пассатов  
путь! — лживая истина, плача, уткнулась в плечо,  
но кто же поймёт её? — нет на земле адресатов,  
и скудный, безадресный, брошенный — мечется дух,  
к щенячьей душе устремилась игла серафима,  
и атомный жрец, и адам, бедуинский пастух,  
родятся из праха и пеплом взлетают незримо,

когтистая лапа впиается в мёртвый излом,  
советский восток неприметной усыпан золою,  
суфий с атеистом летят, соблазнившись Путём,  
на кожистых крыльях, подёрнутых адскою мглою.

Ах, бедный погонщик, верблюжьих путей проводник,  
за что же тебе откровенья безмерная тяжесть,  
зачем тебе музыка, что с тишиной породнит,  
и это безмолвье, о коем другим не расскажешь,  
и скверный финал, где, над будущим молча глумясь,  
столетия спешат — те, которых так недоставало! —  
и кровь иноверца легко превращается в грязь,  
где прежде одна лишь заря свою кровь проливала,  
карнаи ревут, и струится лоза по стене —  
ей тысяча лет, те, кто холил её, — бездыханны,  
и снова к морям, распрямляя морщины во сне,  
спиною к восходу, недвижно стремятся барханы.

## *Первозванный*

*Памяти Андрея Вознесенского*

мне шестнадцать мы солнце зажгли прочитали секреты земли  
исповедуемся во весь голос  
аве оза серебряный зов в юном небе серебряный шов  
свете тихий звезда прокололась  
озаренье смятение борьбы зов трубы ощущение судьбы  
непонятной шальной первозданной  
в охрущёвленной мгле октябрей имя слову звучало андрей  
первозванный

мальчуган молодая москва первые молодые слова  
партбюро смутный холод погони  
я тетрадку андрею несु промокашка душа на весу  
вздых как птица в ладони  
нищей юности щедрый улов голос колотых колоколов  
суматошная высь предсказаний  
мир соборный внезапно добрей ибо так заповедал андрей  
первозванный

изумлённого знания знак просветлённый андреевский флаг  
рисовальщик русского слова  
полиглот улетевших годов где я к прочим трудам не готов  
и не жажду улова  
первый гамлета хриплый урок первый водки колючий глоток  
воробей на пари с парашютом  
старшеклассник заоблачных гор словом полнится свод сакре кёр  
первозванным

всё в новинку отметят не раз лучики у смеющихся глаз  
 богуславская ангел дамасский  
 книги шкаф запрещённых имён как шумит надо мной аквилон  
 долгожданной оглаской  
 в этих антимирах позолот на таганку с собой позовёт  
 контрамарка вдвоём с парижанкой  
 строчки дней золотой перелёт алый кактусовый переплёт  
 перевозванный

над котельнической в ноябре серый ветер на синей заре  
 бовуар гумилев серп-и-молот  
 ни врагов ни голгоф ни флажков вновь охота идет на волков  
 гаснет звук летаргический холод  
 не предвидеть столетий кривых не видать смотровых домовых  
 дымный вечер зовёт перезвоном  
 зря ль над пропастью где-то во ржи по таким голосили кижы  
 перевозванным

первым зван у богов на пиру начинал ты игру на ветру  
 мировом бесприютном желанном  
 ах как жизнь пролетела легко высоко это всё далеко  
 в белом парусном сне магелланном  
 пусть останется в этом краю в этом вещем аду и в раю  
 в некий век золотой предзакатный  
 на немыслимом срезе времен русской яви несбывшийся сон  
 перевозванный

для кого он сегодня горит твой серебряный метеорит  
 в неотзывчивой мгле остывая  
 в неподвижной пустыне небес без обмана без истины без  
 отголоска земли узнавания  
 оборвался твой голос давно новое забродило вино  
 тяжек крест юным нехристям данный  
 в мельтешенье бурлящих годин будет много других ты один  
 Первозванный

### *Русские прения. Антикварный рынок в Экс-ан-Провансе*

Ау, средневековый городок,  
 пристанище студентов и вагантов...  
 Последних, впрочем, за полтыщи лет  
 здесь поубавилось: таков итог  
 всему, тем паче — бытию талантов,  
 как некогда сказал один поэт.

А может — не один. Или — не он.  
 Сколь нежен зной коварного Прованса,  
 смешавший с полудрёмою церковью  
 сосуд, бубенчик, зеркало, пилон,  
 весь круг земной старинного пространства,  
 очерченный рядами галерей!..

Эпоха бронзы. Наблюдай без прав  
 чужой судьбы причудливые волны:  
 надраенный, как был всегда таков,  
 блестящий корабельный телеграф  
 и русский шрифт — «Назадь!»  
 и «Самый полный!» —  
 вот голоса погибших моряков.

Примолкли что-то спутники мои:  
 печальная, смешная антитеза —  
 по-русски жить, по-русски умереть.  
 Я там сфотографировался, и  
 «Верните наше скорбное железо!»  
 не возгласил, поскольку это — медь.

Катаров ересь — вся, как этот юг,  
напоена горчащим виноградом:  
в кривом стволе бунтарская лоза  
не прячет пламя христианских мук,  
а дьявол, слава Богу, ходит рядом,  
лишь только к небу подними глаза.

Ни этих скорбно-царственных хором  
облезло-равнодушное величие,  
ни эта злая в щелях плит трава  
не скажут так о времени ином  
нам — как латыни звонкое обличье  
в подсвечнике Кретьена де Труа.

Никак не выкину из головы,  
что этот мир, который мыши сгрызли  
в музеях, где портреты столь темны, —  
жив и сегодня: отзвуки молвы,  
боренье страсти и кипенье мысли,  
кошачий взгляд шафрановой луны!

Один из многих — университет  
откроет окна: вот она, «Кармина  
бурана», вот хмельные школяры,  
как будто не прошло полтыщи лет  
смятенья, заблуждений, укоризны,  
игры без правил, правил без игры.

Оставь грустить тому, кто загрустил,  
все те ж у всех с фортуной пререканья,  
студенчество — студенчество всегда:  
здесь, в переулках этих сонных вилл,  
под сенью факультетов Пюрикарда  
все тех же песен быстрая вода.

Здесь — вещи в человеческом котле  
пространства: нет, не отпечатки пальцев,  
но слепки душ и силуэты лет,  
щемящий отзвук живших на земле  
счастливых, страстотерпцев и скитальцев,  
которых, может, не было и нет.

...Однажды заблудиться в зеркалах  
и — не вернуться. Чтоб не возникали  
воспоминанья, чтоб печаль не жгла,  
отринуть от себя тревожный прах  
и позже не очнуться в зазеркалье:  
чужие свечи и чужая мгла,

костры, поэта нищего строфа,  
шальная альбигойская зарница,  
металл латыни, сумрак галерей,  
вина и плоти грешная графа...  
Пускай уж всё здесь до Суда хранится —  
в подвалах зданий и на дне морей.

## Языки

*Памяти Клары Джидеевой-Карыпкуловой*

Вскрик гортанный, киргизская речь. Так весенний ручей  
что-то силится вымолвить талому склону горы.  
Эта звонкая гласная вязь, несомненно, прочней,  
чем ее окружившие каменные миры.  
Так на смуглой руке оживает старинный браслет —  
из серебряной вспышки восходит огонь родовой:  
материнский язык о родстве запоёт над землёй,  
а отцовская речь загремит о забвенье побед.

Рядом вспыхнет родник, словно гиперборейский сапфир,  
русских звуков несет он значенья — и пахнет, как снег:  
талой влаги хлебнёшь, и в душе, как расколотый мир,  
отзывается негa оставленных медленных рек.  
Жизнью полная — рвётся жестокой поэзии нить,  
что связала нас мудростью древней смертельной игры:  
материнская речь породнит своим плачем миры,  
а отцовская речь будет чуждую кровь леденить.



В рудных безднах пробьются к слиянью слепые ручьи,  
и безмолвье нарушится — слабое Слово найдет  
к двери темной вселенной простые, как сердце, ключи,  
путь откроет, и в души спокойная мудрость войдет.  
Только жизнь так мала, чтобы в небо ворваться без крыл! —  
вспомним близких, ушедших — надежды отчаянной миг,  
что когда-то постигнем тот вещий всеобщий язык,  
на котором с пророками, молча, Господь говорил.

### *Элегия*

На лету умирает комар, прозевавший летнюю пору,  
паутина летит над страной обветшалых крон,  
кобыла, не зная, зачем, поднимается медленно в гору,  
взрывчатка сама собою прячется в старый схрон,  
обыденную интригу время вновь затевает  
с временами года, толпящимися у дверей,  
детским голосом смерть пионерский куплет запекает  
под отеческим взором дремлющих концлагерей...

Артур Соломонов

## Театральная история

Роман

Будильник кукарекнул — и сон погас.

Лицо Александра исказила недовольная гримаса. Он уже давно собирался сменить звук будильника, но каждый вечер забывал это сделать. А потому утром его неизменно будил хрипловатый, приклатненный петух.

День, начавшийся таким бесцеремонным вторжением, сулил мало хорошего.

Мобильный мерцал и кукарекал — все громче, все настойчивей. Александр протянул руку к тумбочке. Прошептал в полусонной ярости: «Заткни уже... поганные свои трели...» — и вырубил петуха. Попытался вернуться в сон. Но путь был закрыт.

«Какой сон разрушен!» — проворчал Александр. В этом волшебном сновидении он стоял на бездонной и бескрайней сцене и декламировал Шекспира. Он закончил монолог, и наступила пауза. Та самая, боготворимая артистами всего мира пауза, когда зрители, потрясенные увиденным и услышанным, еще не имеют сил, чтобы выразить восторг. Наконец пауза истощила свое великопие, и со всех сторон раздалось безбрежное «бра-а-а-во-о!».

Невидимая публика любила его пламенно. Александра не смутило, что он декламировал в темноту колоссального зрительного зала слова Джульетты, а не монологи Гамлета. Роль принца Датского он любил, о ней мечтал, и разве с актерами бывает иначе? «Мало ли, почему я во сне женскую роль исполнял... — он обвел потолок мутными от сна глазами. — Все равно, как было приятно!»

Контраст сна с реальным положением вещей был разительным. Александр, актер амбициозный, годами жил в тени своих успешных коллег. Слава снисходила только во сне, а явь была пронизана ощущением тотального, бескрайнего неуспеха. Он поднялся с кровати и медленно подошел к окну. Приготовился. Резким взмахом распахнул свой «домашний занавес» — так он называл пестрые занавески, на которых конфликтовали кричаще-яркие цвета: красный, оранже-

---

Артур Соломонов — журналист, прозаик, родился в 1976 году в городе Хабаровске. В 1998 году закончил театроведческий факультет ГИТИСа (курс Натальи Крымовой).

Работал в газетах «Известия», «Газета», «Новой газете», журнале The New Times (редактор отдела культуры), на телеканале «Культура». Автор более тысячи статей и авторских колонок. В данный момент сотрудничает с изданием Сноб и Forbes.ru. В «ДН» печатается впервые.

Журнальный вариант.

вый, светло-зеленый, и выглянул в окно. Разгорался летний день. Пейзаж за окном был совершенно равнодушен к актеру: погасший в четыре утра фонарь, облупившиеся скамейки, бредущая тихим шагом старуха, открывающий дверь машины краснолицый мужик.

Александр явился людям, но ничто не изменилось, никто не изумился. «Быть или не быть — вот в чем вопрос», — прошептал он заочным зрителям. И негромко засмеялся: «Так вот, потихонечку, я и сойду с ума без ролей».

Актер снова лег на кровать и прикрыл глаза. Повернулся на бок и тихонько застонал — начинался новый день, который, невзирая на пение птиц, яркость занавесок и солнца, не принесет ничего, кроме разочарований.

Александр стонал все художественнее: ритм то учащался, то замедлялся, стоны были то тихими и печальными, то обвинительными и мощными, и даже в паузах таилась скорбь. Так складывалась мелодия страдания, которая утешала Александра.

Вечером Александр пришел домой из театра, накормил кота Марсика и ответил на звонок мамы: «Да-да, все в порядке, сейчас роль учить буду».

Он — стоит ли его осуждать? — скрыл от матери, что новую роль неизбежно выучит сегодня же, в тот самый день, когда ее получил. В спектакле «Дни Турбиных» ему поручили играть одного из солдат-белогвардейцев.

Подойдя к зеркалу, Александр стал репетировать, произнося то с гневом, то с насмешкой, то со смирением: «Так точно!» Исчерпав весь возможный диапазон эмоций, он загрустил. Не надо быть ясновидящим, чтобы предвидеть: эта фраза вряд ли произведет фурор в зрительном зале. Со скорбью оглядев свое отражение, он отчалил в сторону дивана, лег и стал писать в дневник, который вел очень давно, со времени первой детской обиды. В шкафу, за книгами, скрывались от посторонних глаз десятки тетрадей с откровениями Александра.

Он относился к себе предельно серьезно, и порой любой стакан казался ему предвестником бури. Бурлил Александр большей частью по поводу своей непризнанности, и даже попытки философствовать завершал жалобами: «Вокруг меня столько людей, словно застрявших между жизнью и искусством, как будто требующих, чтобы я их досочинил, а главное — доиграл. Люди кажутся мне набросками, черновиками, которых Бог, если так можно выразиться, недоделал. Возможно, Он доверил это мне?»

Но почему тогда я лишен успеха? Почему изо всех слов, которые я в течение сезона произношу со сцены, можно составить лишь один коротенький монолог, в котором будут только безликие слова «Нет» («Ричард III, стражник»), «Да» («Собака на сене», слуга), «Спасибо, я справлюсь» («Месяц в деревне», прохожий), «Как это вам удалось?» («Слуга двух господ», посетитель трактира), «Так точно» («Дни Турбинных», белогвардеец), и, наконец, главная моя реплика, самая длинная за мою театральную жизнь: «В конце концов, в его годы это обычное дело» («Калигула»). Добавлю ли я к своим актерским победам хотя бы несколько предложений, где были бы — о, мечта! — прилагательные?»

## Я убью его троном

На следующее утро мобильному прокукарекать не удалось. Будильник был поставлен на десять, а звонок раздался в полдесятого. Александр нажал кнопку ответа и услышал голос своего коллеги актера Семена Балабанова. Он грохотал: «О люди! Порожденья крокодилов!» — «Кто ж сомневается-то», — сонным голосом ответил Александр. «Тебе смешно! Так смейся же громче! «Ромео и Джульетту» будут-таки ставить! И кто сыграет Ромео?» — «Кто?» — тихо переспросил Александр, и получил в ответ рев: «Сергей Преображенский! Смейся теперь, паяц!»

Александр попрощался с Балабановым и медленно пошел в ванную. На отражение в зеркале он смотрел с печалью. Брился осторожно, бережно, не вполне понимая, для кого и зачем совершенствует свое лицо...

...Вечером он прибежал домой и сразу бросился к дневнику.

Любовь и ненависть вышли из берегов.

«Утром мне сообщили, что роль Ромео уплыла от меня... Я был раздавлен. Смешно, но я надеялся. Судьба давала мне знаки... Но снова главную роль будет играть Сергей Преображенский — человек, которого я ненавижу с такой силой, словно он сжег мой дом, убил детей, убил само мое будущее...

Моя ненависть — существо живое, разумное (я в этом уверен) и хитрое. Она выработала стратегию выживания — когда мной овладевает ирония, она смеется вместе с ней, она совершенно согласна: да-да, само ее существование — нелепость. Но, смеющаяся, презиращая себя, она никуда не уходит... Какая кара страшнее всех? Быть непризнанным актером. Это когда отвергнуты не дела рук твоих, а ты сам, душа твоя, и тело. Вот это тело, которое не притягивает восхищенных взглядов, не вызывает вожделения у юных поклонниц, не выделяет особых феромонов, на которые летят фотографии. Отвергнута и душа, которая никак не может взобраться на нужную высоту, и уныло плещется в лужице ненависти. Но эта лужица становится мировым океаном, когда я стою на подмостках, и все бинокли шарят по сцене в поисках моего врага, и находят, и с этого проклятого момента только ему одному дарят крупные планы. А где взять силы, чтоб вынести крики «браво», обращенные к нему? Когда я стою на сцене, я верю — эти вопли летят из зала лишь для того, чтобы унижить меня...

Сегодня утром, сразу после звонка Балабанова, я принял решение. Нужно уничтожить моего врага. Того, кому я каждый день с восхищенно-преданной улыбкой (это одна из моих лучших мини-ролей, но кто ее оценит?) пожимаю руку.

В нашем самом популярном спектакле, «Ричарде III», трон взлетает вверх — а публика замирает от восторга. Мой враг часто красуется прямо под этим королевским сиденьем. Нужно просто ослабить крепления — и подарить нашему ведущему актеру шикарный посмертный символ: он будет раздавлен собственным троном. А зритель будет восхищен — как великолепно наш кумир играет покойника! Бездыханный, бездвижный, он получит последнюю порцию аплодисментов. Среди его смертей, продуманных с такой тщательностью, сыгранных с такой убедительностью, эта будет самой совершенной — ведь его партнером наконец-то буду я. Интересно, а его поклонники потребуют назад

деньги? Каждый возвращенный билет служил бы мне утешением в тюрьме, если судьба все-таки возьмет с меня налог за своеволие.

Этот план зародился у меня дома, а донашивал я его по пути в театр. В метро я почти уверовал в его осуществимость. Спасибо нашему режиссеру — он любит такие штуки, как взмывающий в небо трон, хотя прекрасно знает, как нерадивы наши рабочие сцены, и прекрасно знает, как я хотел сыграть Ричарда... Нет, хватит. Довольно! Раздавить!

Я представил Преображенского, вальяжного, самовосторженного, источающего аромат дорогого парфюма, и меня охватило такое отвращение, что мне стало трудно дышать, и даже пришлось остановиться. Я отдышался и пошел быстрее, с наслаждением думая, что каждый мой шаг не только приближает меня к театру, но и моего врага к смерти.

Но тут случилось непредвиденное событие, которое вышибло из меня мысль о мести. Подходя к зданию театра, я увидел, как ветер поднимает юбку девушки, что стоит у служебного входа. Я понял: мне указывают путь. Если ветер заигрывает с ней, разве могу я стоять в стороне? (О значении ветра в моей жизни я надеюсь успеть рассказать.)

Я подошел к девушке и повторил ветреное хулиганство. Открылись очаровательные трусики (я эротоман — так, по крайней мере, мне говорили мои подруги). А ту великолепную часть тела, что таилась под юбкой, Тинто Брасс обязательно сделал бы главной героиней одной из своих картин. Если б только увидел.

Я был ошеломлен дерзостью своего поступка. Ошеломление смешивалось с восхищением: ветер не ошибался. Возможно, он тоже был эротоманом. Моя левая щека загорелась от удара. И сразу — правая.

— Может быть, хватит? — робко потребовал я. — Хотя, за такое великолепное зрелище я готов расплачиваться пощечинами.

Я прикрыл глаза в ожидании удара. Вы знаете пьесу Андреева «Тот, кто получает пощечины»? Теперь я готов исполнить там главную роль. Что? Вы там играли?

...И мы обогнули фонтан, и пошли на площадь, и я ее поцеловал.

Она лгала мне, что играла в пьесе Андреева и имела успех. Я лгал ей, что получил главную роль в предстоящей премьере и начинаю репетиции. Что же произвела на свет вереница мгновений такой отменной, такой приятной лжи? Я влюбился. И — я почти уверен! — влюбилась она. И мой враг остался жить».

Александр отложил ручку в сторону. Но почувствовал, что сказал не все, что необходимо. «Да! Ее лицо! И имя!» — воскликнул он. И слова ринулись: «Ее зовут Наташа! Веснушки! Они всегда казались мне кокетливым призывом женщины — мужчине: «играй со мной!» Но ее веснушки — иные. У нее иное все! Глаза! Может, мне почудилось? Но они меняли цвет: от голубого к зеленому...»

Влюбленный Александр еще долго писал в дневник — он восхищался, надеялся и трепетал.

Он, слава богу, не знал, что думала Наташа до встречи с ним, во время нее и после: «Я стояла у театра, не решаясь войти. Я мечтала здесь играть и знала, что этого не случится. Ветер поднимал мою юбку, но я препятствовала ему довольно вяло — все, что он показывал, было соблазнительно, и в этом я гораздо больше уверена, чем в своем таланте. А ведь именно его я пришла показы-

вать — талант. Помощник режиссера ждет меня за красно-серой дверью, за полированным столом. Так мне описывала эту экзаменаторскую-экзакуторскую комнату подруга, которой здесь сказали прохладное «спасибо» и закрепили его сочувственным взглядом, едва она начала читать монолог леди Макбет. Она отдалась роли, застонала: «Я младенца вскормила; знаю, как его любить: Но пусть бы улыбался мне; исторгнув Сосец из нежных уст его, я череп Ему бы сокрушила, и...» — «Спасибо!»

Моя подруга ушла из кабинета, так и не выйдя из роли леди Макбет. Она приходила в себя (или точнее будет — возвращалась в себя) уже на скамейке, около театра. Мне ненавистно это дурацкое театральное слово «показываться», хоть я и актриса. Бродим по театрам, и показываемся, и показываемся, и каждый раз кто-то квакает тебе в лицо свое «спа-сибо!»...

Вдруг чья-то рука подняла мою юбку гораздо выше и наглее ветра. И когда я хлестала наглеца по щекам, то была почти счастлива — этот симпатичный дурак избавил меня от еще одной неудачи. Теперь я уже, как говорится (это выражение я тоже ненавижу), «не в настрое». И «показываться» не пойду.

А потом начались поцелуи, и я подумала — как будто театр, о котором я так мечтаю и которого так боюсь, сам приблизился ко мне — пусть даже через него, который врет о своих успехах, но я-то знаю, кто он в этом театре. Мне так нравится их главный актер, Преображенский, мне кажется, я бы даже позволила своему смиренному мужу страдать из-за него, но... Меня, актрису неприметную, целует самый заурядный актер моего любимого театра, а это значит, что в мире царит гармония.

Саша порывался проводить меня, но я захотела поехать домой одна. Он горячо повторял «завтра, завтра», засовывая в мою сумочку клочок бумаги. Я зашла в трамвай, улыбнулась ему (в моей улыбке должно было чувствоваться окончательное прощание, ведь я больше не собиралась его видеть). Когда трамвай тронулся и Саша скрылся из вида, я достала клочок бумаги. Там был — как самонадеянно! — не телефон, а адрес: «Теплый стан, Преображенская улица...» Чем ближе трамвай подъезжал к моему дому, тем яснее я понимала, что захочу увидеть Александра, живущего на улице Преображенской...»

## Сквозь Бетховена

«Сон мой был легок и бесстрашен, и даже петух не внес дисгармонию в мое утро. А когда пришла Наташа, мы не сказали друг другу ни слова, даже не было приветствий, меня понесло к ней, в нее, и мне снова казалось, что ветер помогает мне освободить ее от одежды. Задернутые занавески, нежность, переходящая в яростное желание, стон, пот, покой-сигарета, диск доиграл, пот испарился, ее волосы на моем плече, прикосновение-пробуждение, и снова яростное желание. Это страсть. Пройдет месяц, прежде чем во мне тусклым светом загорится подозрение: похоже, это только моя страсть. Но сейчас, перебирая ее волосы после нашего второго раза, столь же ошеломительного, как и первый, я слушаю, как успокоительно звонит телефон. Мне все равно, кто пытается позвонить — я знаю, что никто не прорвется ко мне сквозь Бетховена. Ведь на моем мобильном телефоне стоит его пьеса для фортепиано «К Элизе». Мне верится, что после такой музыки в мою жизнь не ворвется сигнал катастрофы, SOS,

воплъ «Ты уволен!», всхлип «Я ухожу от тебя...» или другие, столь любимые телефонами всего мира крики, зовы и причитания...

Так и случилось. «Крики, зовы и причитания» обходили меня стороной. Месяц! Целый месяц!

И дни потеряли имена, а время перестало исчисляться часами и тем более минутами. Оно стерлось под напором моего счастья. Страсть отпускала мои грехи — настоящие и будущие, и все заговоры прошлого теряли силу.

Наша с Наташей счастливая сцена длилась — я потом подсчитал это — тридцать один день. А затем кто-то свыше рявкнул: «Стоп! Снято!» Я предпочел не расслышать, но тут гроыхнуло уже с угрозой: «Снято!»

Как вела себя Наташа в этом нашем месяце? Я этого совсем не помню. Мои чувства словно заслонили ее. Помню глаза, которые меняли цвет. Помню веснушки. Помню любимую ее игру — игру словами. После первой же нашей постели, когда я сказал: «Пойду приму душ», она ответила: «Как все-таки странно звучит: принимать душ. Вот подумай об этом процессе: на самом деле это душ принимает тебя». Я подумал, что в ответ на такое лучше всего неопределенно усмехнуться.

Мы нашли друг друга: не востребовавшая актриса, проявляющая столько в общем-то неуместного филологического пыла, и неуспешный актер, склонный к рефлексии. Эти достоинства нас украшали мало и еще меньше помогали.

Наташа обворожительно поглощала бутерброд с джемом и слушала мои рассуждения.

«Я люблю сравнивать театр с религией. Думаешь, почему Франциск Ассизский называл себя «скоморохом Господа?» — «Он не давал Богу заскучать своими подвигами и чудесами», — слизывала Наташа джем с губ и протягивала мне новый бутерброд. «Почти так, — я жестом отказывался от лакомства и продолжал: — Мне кажется, связь между актерами и монахами вот в чем: монахи производят впечатление на Бога, а мы — на публику. И публика решает, кому в ад, кому в рай. Кто бессмертен, а кто и не жил вовсе. Все подвиги у них ради Бога, а у нас — ради зала». — «Ради зала — почти как ради зла», — подхватывает Наташа. И мы, сойдя с философской горы, поднимаемся на гору филологическую.

Когда я уже не помнил дней и часов, я предложил ей забеременеть от меня. Она, ничуть не смутившись, ответила: «Я знаю великолепный, чудесный роддом, в нем хочется остаться навсегда и рожать, пока есть силы! А знаешь, что я скажу, когда приду туда, беременная твоим сыном? Я спрошу: «разрешите разрешиться?»

Когда я — я! — снова заговорил о ребенке (и сделал это, слава богу, в последний раз), она сказала, что ей не нравится словосочетание «детский сад»: «Послушай, как оно мерзко звучит. Словно дети зарыты ногами в землю, их поливают и ждут, когда они подрастут. Или даже начнут плодоносить».

И когда у меня вырвалось: «Хочу провести вместе всю жизнь», — она откликнулась: «Провести вместе жизнь — если вдуматься, это значит — обмануть вместе жизнь».

Что мне еще было нужно? Каких доказательств? Она жонглировала словами, давая понять, сколь ничтожно мое место в ее жизни, но я любил ее (и продолжаю!), и потому не замечал этого.

Когда она не преследовала цель намекнуть, что я слишком размахнулся, то предавалась своему любимому занятию вполне невинно. «Знаешь, что такое



столица?» — Мой поцелуй. — «Главный город страны». — Ее поцелуй. — «Никак нет. Это стол женского рода». — Наш поцелуй. А потом говорила и вовсе какую-то, на мой взгляд, несусразицу, просто наслаждаясь созвучиями.

В игру включался и я: «Не понимаю, как у красивых девушек, у женщин, части тела могут называться такими же именами, как у мужчин: я согласен — лодыжка, запястье, но — таз? Глотка? Как вообще у девушки может быть такая штука, как пищеварительный тракт? Их необходимо переименовать». Я давал ей пас, но она его не принимала, как профессионал, брезгующий отбивать мяч дилетанта. Но через пару дней: «Ты прав! Это какой-то женоненавистник придумал — оскорбить женские и мужские тела одинаковостью имен». Я рад — я в игре: «Тогда он и мужененавистник». — «Знаешь, я хотела бы жить в то время, когда создавались слова. Вот кто-то посмотрел на руку, и создал имя: пятерня! Если бы я жила в то время, я бы многое назвала по-другому».

Но пришла пора Наташе узнать, что я не только хорошо сложен, но и довольно сложен. Начал я издалека: сообщил, что считаю — между моей жизнью и существованием моего кота Марсика есть связь. «У него тоже была родовая травма. Сейчас, судя по его взъерошенному поведению, он влюбился, как и я». На эти слова она ответила улыбкой, но ничего не сказала. Однако, словосочетание «родовая травма» ее заинтересовало.

Мы сидели на кухне, на низком диване, полуобнаженные. Наши тела еще не остыли от прикосновений. Я торжественно объявил:

— Начинаю экскурсию по своему внутреннему миру. Ты готова?

— Если он такой же привлекательный, как внешний...

— Не уверен... Там потемки.

Я в нерешительности — говорить ли ей про легкость и тяжесть? Про мой секрет? Про ключ, с помощью которого меня можно если не открыть, то — приоткрыть?

— Говори! — требует она. — Обещаю принять без иронии.

— Без тени иронии?

— Без тени.

— Обычно чувство легкости посещает меня, когда в лицо дует прохладный ветер. Он обдувает лицо, наполняет, как парус, рубашку, забрасывает назад волосы, и тогда та самая случайность, которая помогла мне проникнуть в этот мир, кажется мне счастливой. Я ведь ребенок незапланированный, причем настолько, что у моих родителей даже была мысль сделать аборт. Именно это я называю своей «родовой травмой». — Судя по уважительному взгляду, Наташа оценила изобретенное мною сочетание. — Теперь ты поняла, отчего я посчитал своим долгом устремиться вслед за ветром в тот день, когда ты стояла у театра? Почему я поднял твою юбку так смело?

— Дорогой! Ты подражал ветру!

Наташа обещала мне не иронизировать. Видимо, совладать с собой она не может. Но я дочитаю монолог до конца:

— Но очень скоро легкость снова становится тяжестью.

— Вот это жаль...

— И тогда мысль о ветре уже не может проникнуть в мою голову. Вернее, только вот в каком виде: есть в «Тысячи и одной ночи» выражение «пустить ветры». Почему-то особенно неистово этим занимаются евнухи... Ты понимаешь, о чем я?



— Неужели я бы прошла мимо такого словосочетания? Но ты уверен, что правильно о нем говорить со мной?

— Уверен! — говорю я, хотя ни капли не уверен. — Так вот, когда тяжесть вступает в свои права, я признаю свое существование столь же оскорбительно случайным, как невольные проказы сказочных евнухов. И вызывающим такое же брезгливое удивление у окружающих.

Наташа смотрит на меня с изумлением. Видимо, не каждый ее любовник смело сравнивал себя с евнухами.

Я встаю у занавесок, моих веселых занавесок, которые буйством красок радуют меня, когда мне хорошо, и угнетают, когда мне плохо. Беру в правую руку чашку и размахиваю ей, тем самым показывая ширину берегов, меж которыми протекает моя жизнь.

— От ветра, летящего с моря, до пускания ветров. — Чашка летит справа влево. — От легкости — к тяжести. — Чашка снова делает в воздухе полукруг. — От матери — к отцу: мой маятник. Мать для меня — легкость, отец — тяжесть. Я соединяю в себе людей, которым и поговорить-то сложно. Мне порой кажется, что их конфликт продолжается во мне, что через меня проходят неумолимые боевые действия. Даже мое лицо — результат многолетней и незавершенной еще борьбы.

Она просит меня продолжить объяснения. Для этого я начинаю экскурсию по своему лицу.

— Глаза — отца. — Наташа поднимается с дивана и целует их, стирая в моей памяти свои насмешки. — Губы — матери. Нос — отца, уши — матери.

Я с удовольствием продолжаю экскурсию — ведь за каждым словом следует поцелуй.

— Слушай, я не запомнила. Давай еще раз.

И снова я показываю, где след матери, а где отца, а она закрепляет мои объяснения поцелуями...»

Александр, увидев, что уже полчетвертого утра, усилием воли заставил себя прекратить писать. И заснул, как только добрался до постели.

Если бы Наташа узнала, что Александр считает главным ее качеством страсти к игре словами, она была бы неприятно удивлена. Словесная эквилибристика была для нее лишь привычной игрой на фоне новых, захватывающих все глубже, отношений. Домой она приходила, «полная равнодушия» к мужу. Это словосочетание ей нравилось. Поднимаясь по лестнице, она шептала, едва шевеля губами: «это не просто полное равнодушие, это я сама — полная равнодушия, переполненная равнодушием, до краев, до удушения, до такой степени, что уже никакое это не равнодушие».

Ее семейная жизнь начала разрушаться. Порой Наташа просыпалась ночью, слушала мирное сопение супруга и уже не могла заснуть от досады: она злилась на него, всепрощающего, с таким кротким взглядом, и на себя — за то, что не находит сил для решительного шага. Мечтая обо всех ролях мира, завидую всем успешным актрисам и даже актерам, чувствуя, что ради возможности играть на сцене она готова сделать все, что угодно, Наташа вместе с тем прекрасно понимала, что единственный островок стабильности среди хаоса актерской жизни — ее кроткий муж.

Изменяла ли она мужу раньше? Безусловно. Многократно. Мимолетно. Но

нынешняя измена была другой природы, чем прежние. Наташа внезапно почувствовала, что этот неприметный и непризнанный актер откроет перед ней громаду блистательного будущего. Чувство, как она сама понимала, нелепое. Но нелепость не помешала ему стать весьма влиятельным. Оно возникло, когда она впервые пришла к нему домой. Тогда она почему-то подумала «это мой год!».

Когда она уходила от Саши, и прохладный ветер прикоснулся к ее лицу, она с нежностью думала о том, какой чепухой наполнена голова ее любовника. Наташа шла по улицам с улыбкой.

Но приближался дом, муж и тишина — и улыбка исчезала.

Она входила в квартиру, и повторялось одно и то же: в ответ на звук хлопнувшей двери под мужем тихонько поскрипывала кровать, и Наташе становилось нестерпимо грустно.

Она заходила на кухню и готовила ромашковый чай.

«Однажды я почувствовал запах Наташиного мужа — запах обреченной преданности, покорной нежности, суетливой заботы. Странно ли, что я не почувствовал его раньше? Нет. Я был так упоен происходящим со мной, что почти не видел и не чувствовал Наташу. Что уж говорить о запахе ее мужа.

Но на исходе нашего месяца я заметил, что она появляется, крепко укутанная в чужие чувства. Так мы стали жить втроем. Она приходила ко мне, то полная великодушного прощения мужа (он все знал), то облаченная в его надежду (на наше расставание), то пропитанная его ночным беззвучным плачем (он не беспокоил ее ревностью и отдавался печали, когда ему казалось, что она спит). «Чудной он у тебя, уж не обессудь» — «Обесс-судь. То есть — не лиши меня ссуды — так, что ли?»

Но меня это почти не тревожило. Я был счастлив. Пока не раздался телефонный звонок. Когда отзвучали первые умиротворяющие такты «К Элизе», зазвучал бесцветный голос Светланы, помощницы нашего режиссера. «Саша? Сегодня в три приходи к Хозяину. Он тебя ждет. Сам знаешь, лучше не опаздывай».

Этот звонок разрезал мою жизнь напополам.

Я выбежал из дома на улицу, и руки дрожали, как у отца, когда он волновался. Меня вызывает Хозяин? Вызывает? Меня? Сколько бы я ни повторял этого, поверить все равно не мог.

Был понедельник, час дня. Снова пришли названия дней, время разъяли часы и минуты. Я проваливался в успех».

Звонок помощницы режиссера раздался в тот час, когда карлик Ганель осознал себя частью бесконечности, а Урсула Соломоновна, обладательница монументальных форм и удавьего взгляда, обожгла большой и грозный палец горячим кофе и прокляла этот свет. В этот момент отец Никодим в который раз отпустил грехи своему духовному чаду — богатейшему и православнейшему Ипполиту Карловичу, меценату театра. Журналист Иосиф Флавин, мечтающий о слиянии противоположностей, о единстве добра и зла, решительно приступил к поеданию халвы, нарушая все свои диеты и обеты. А ведущий актер знаменитого театра, Сергей Преображенский наконец закончил свои языковые изыскания, то есть перестал ощущать языком зуб, недавно излеченный дантистом.

И пошел дождь над океаном.

## Назначение

Тысячелетия назад Бог обращался к своим избранникам. «Авраам, где ты?» Он не поинтересовался бы местонахождением свинопаса или актера седьмого плана. Сегодня я услышал нечто подобное тому, древнему и страшному зову. «Александр, где ты?» Неужели? Я избран? Пусть Бог обратился ко мне не напрямую. Пусть через своего ангела. Но ведь обратился же!

Я подхожу к зданию театра. Останавливаюсь. Смотрю на эту выкрашенную в красный цвет судьболомню. Кладбище амбиций, источник депрессий. Место, где чудо реально, а реальность не очень-то ценят. Здесь взрослые мужчины интригуют, чтобы получить роли привидений, зверей, а если повезет — высокородных принцев. А если судьба окажется совсем благосклонной, то они получат возможность выкрикнуть со сцены: «Быть или не быть?» и утонуть в цветах. Или в бутылке. Зависит от качества сказанного.

Колени подкашиваются, подкашивается душа, лифт летит на третий, четвертый, и вот уже пятый этаж, здесь обитает Он. Хозяин театра. Сильвестр Андреев.

Лифт останавливается и брезгливо выплевывает меня в приемную Хозяина.

Не чувствую ног, это не увольнение, он не стал бы меня давить лично, собственнножно не стал бы, много чести, но зачем тогда, Господи, зачем... Со мной здороваются Его помощница Светлана. Она всесильна. Мы называем ее Сцилла Харибдовна.

Меня завораживает, пугает и манит черная дверь кабинета Хозяина. Теперь я знаю — от черного света можно ослепнуть.

Какие бы терзания ни ждали меня за этой дверью, я знаю, что буду сейчас делать. Я буду целовать зад. Это, наверное, непристойно, и, быть может, это даже ругательство, но только не в театре. Здесь за место у режиссерского зада идет борьба ожесточенная, и не всякий получает шанс припасть к сиятельным ягодицам. Но тот, кто дорывается, входит в роль истово, а расстаётся с ней — в отчаянии. Сейчас мне нужно совершить церемонию целования максимально виртуозно и по возможности не теряя достоинства.

Дверь распахнута, свет — в глаза. Лысая голова сделала легкий приветственный наклон и торжественно засияла на летнем солнце. Господи, а он что тут делает, Иосиф Флавин? Этот толстяк-журналист — здесь? Мы что, не помним, как он раздраконил нашего «Ричарда»? И что за омерзительный у него псевдоним, не говорю уже о лице, не говорю уже о жирных руках, о непозволительно тонких для такого толстого лица губах... Но о чем это я, о ком это я в такой момент...

Кто это, кто дает мне знак подойти? Режиссер. Приближаюсь к его лику. Слепну... Господи, неужели и на лице моем столько же благоговения, сколько и в душе? Позор. Но приятно.

— Присядьте.

Голос тихий, но кто, как не я, знает, какие раскаты таятся в нем, готовые в любой миг вырваться и разорвать все встретившиеся на пути барабанные перепонки. Сажусь на краешек стула.

— Нет, лучше постойте, так выгодней падает свет.

Встаю.

— Иосиф, а может быть, ты и прав, он по-настоящему нелепый, почти художественно нелепый... — Режиссер обращается к лысой голове, та одобрительно кивает. — И пол не вполне определенный...

Он вглядывается в меня, и я стараюсь сделать так, чтобы на моем лице сияла мысль и вместе с тем готовность исполнить все, что от меня потребуется.

— Александр (Он называет мое имя? Я должен сесть, срочно сесть, иначе...), Александр, можете сказать: «Меня, меня женою сделай!»?

— Кому?

— Ну не мне же! Говори ему! — Безволосый режиссерский мизинец указывает в глубь кабинета, и я замечая, что под портретом Мейерхольда притаился карлик. Он едва дышит от благоговения, мой собрат по страху и трепету. А в голосе режиссера уже клоочет нетерпение. — Ему говори, ну же, скорее, страстно и нежно, требовательно и с опаской — ведь решается твоя участь, это как «быть или не быть», но только женское, мягкое, чувственное...

Режиссер настроил слух, словно музыкант: издаст ли инструмент нужный звук? Или он безнадежно расстроен?

Пауза. Еще секунда тишины, и лифт отвезет меня на самый нижний этаж и оставит там навеки. Можно ли в звездный час задавать вопросы? Интересоваться, почему я должен умолять карлика выйти за меня замуж? Я актер, я всегда в боеготовности.

— Меня, меня женою сделай! — прошу я карлика, и мне кажется, что Мейерхольд доволен.

Я слышу крик, от которого цепенею:

— Будете так просить, он вас не женой сделает, а дворником! Нет, Иосиф, ошибка, ошибка... С глаз, с глаз, вон с моих глаз! — кричит он на меня и делает вид, что сейчас в отчаянии начнет рвать волосы на себе. Или на мне.

Душа — та, что сейчас в пятках, свидетельствует: моему телу не сделать ни шага.

— Я попробую еще раз.

Вот так вот, без всякого «можно» да «позвольте». Режиссер смотрит на меня, как будто впервые видит, а Иосиф неожиданно встает на мою защиту:

— Он дерзок! Именно такие актеры тебе сейчас нужны, Сильвестр!

— Иосиф видел тебя в роли крестьянина во «Власти тьмы». — Голос режиссера покинула буря. — Он говорит — грандиозно. А я что-то не припомню, разве ты играл там?

— Я тогда заменял заболевшего актера, роль бессловесная была...

Я осекаюсь — ведь почти все мои роли бессловесны, как будто в труппу из жалости приняли глухонемого. Но напоминать об этом высокому собранию считаю излишним и прикусываю язык.

— Иосиф, что ты в его бессловесной роли тогда увидел?

— Да, роль была бессловесной, — дребезжит Иосиф, — но как вы молчали, дорогой мой! — обращается он ко мне. — Вся власть тьмы отражалась на вашем лице! А когда Аксинья убивала свое дитя, куда я смотрел? На вашу дрожащую от ужаса руку, пронзенную ужасом руку, кричащую «О, ужас!» — руку! Да одна эта рука стоит всех монологов, что трепетали вокруг вас. Не подведите, Александр — я за вас поручился!

Он за меня поручился? Что в имени тебе моем, Иосиф? Не лги, шароголовый! И тут снизошел мой первый успех.

— Меня, меня женою сделай, — прошу я карлика, требовательно, но не теряя достоинства, настойчиво, но с горьким предчувствием отказа... Я вложил в этот сдержанный вопль всю мощь своего желания быть замеченным, услышанным, неотвергнутым, привлечь к себе все бинокли мира и уже не отпускать, не отпускать вовек... «Меня, меня женою сделай!» — молю я снова, подхожу ближе к карлику и слегка касаюсь его руки. Мой взор не лжет: если свадьба не состоится, жизнь моя кончена.

— Bravo! — гаркнула лысая голова.

Морщинистые ладошки карлика зашлись в аплодисментах.

Режиссерский ус ободрительно приподнялся.

Кстати, об усах. Я мог бы описать, как выглядит режиссер, но зачем? Ведь он подобен божеству, которое создает мир, но никому не показывает своего лица. Когда я еще не встретил режиссера, мне говорили, что он очень похож на Сальвадора Дали. Это оказалось не вполне правдой, но усы и культивируемое безумие были им воспроизведены безукоризненно. И сейчас я смотрю на эти усы сквозь туман своего успеха.

Я без разрешения сажусь на стул. Слова режиссера и Иосифа путаются в моем сознании, а солнечный свет слепит. От перенапряжения я слышу не сами слова, а только их эхо, и улавливаю в свете лучей, что на меня возлагаются немыслимые надежды. Мне сулят неистовый успех. Сам Хозяин собирается потратить на меня месяц непрерывных репетиций. И тут в мой мозг wpłyвает имя «Джульетта». Кажется, эхо что-то напутало.

— Я правильно... Вы мне предлагаете роль Джульетты? — спрашиваю я подчеркнуто робко, так, чтобы мой голос был едва слышен в диалоге режиссера с Иосифом.

— Предлагаю? — Хозяин изумлен. — Я тебя назначаю. Сомневаешься в себе? Похвально. Сомневаешься в моем выборе? Преступно... Милая моя! — обращается он ко мне, и безо всякого стыда я чувствую, что мне это нравится. — Моя милая, мы взорвем Москву! И господин Ганель, — указывает он мизинцем на карлика, как будто определил для него именно этот палец, — нам поможет! Он сыграет брата Лоренцо, но не католическим, а буддийским монахом!

— Bravo! — кричит Иосиф.

— Завтра же, в десять утра, — продолжает Хозяин, — ты будешь знать наизусть всю сцену у балкона. Так ведь?

Я киваю: так-так.

— И помни — ты должен, как говорит Ромео, «убить Луну соседством!» Талантом убить!

— Ромео, как вы понимаете, играет Сергей Преображенский, а кто же еще? — журчит Иосиф.

Я обдумываю это потом, потом. Сейчас — улыбаться, соглашаться, целовать, целовать, целовать... Режиссер превосходно знает этот взгляд и эту истому. Он чувствует, какому занятию предаюсь я в душе своей, и глаза его теплеют.

— Брат Лоренцо! — обращается Хозяин к карлику.

Его голос вкрадчив, и уж я-то знаю — это сулит мало хорошего.

Затишье. Как на море — за долю секунды до того, как в лицо ударит волна.

— Я! — вскакивает карлик. Даже сейчас, в полубоморочном состоянии, я замечаю, что рост его почти не изменился после вставания со стула. — Я, господин режиссер.

— Не называй меня так. Мэтр — это точнее. — Режиссер смотрит насмешливо, очевидно, что слово «мэтр» кажется ему нелепым.

— Я, мэтр...

Тревога в глазах Хозяина. Карлик замер.

— А почему это ты мэтр как «метр» произносишь? Как единицу измерения? Что это, господин Ганель? Косноязычие? Желание унижить? Что? Отвечай!

Карлик понимает — угодило зернышко меж двух жерновов: и косноязычие и унижение Хозяина — все равножутко, равнопреступно, равноопасно. От страха он забывает закрыть рот и смотрит на режиссера, не мигая. Так, с распахнутым ртом и глазами, опускается он на стул.

— Меееетр, мееетр, — блеет режиссер. — Может быть, вы, господин Ганель, хотите обратно в Детский ваш театр, играть динозавриков? Может быть, вы, господин Ганель, — режиссер распаляется, усы его гневаются вместе с ним, — желаете снова украшать собой утренники? Вместе с пьяным Дедом Морозом и помятой шлюхой Снегурочкой играть снежинку, льдинку или еще какую-нибудь ворсинку? Может быть, вы, господин... — но, видя, что карлик от страха будто уменьшается в размерах, режиссер мастерски меняет тон: — Господин Ганель, если вы научитесь выговаривать букву Э, а вместе с Этим и называть меня, как подобает, перед вами откроются двери лучших театров. И киностудий.

Пауза. Хозяин обращается к Иосифу, который тоже, как я замечаю, побаивается режиссера, сколько бы ни хорохорился и не «тыкал» ему подчеркнуто, специально для нас:

— Монах Лоренцо — буддист и карлик: мы взорвем Москву! Конечно, милый друг, — обращается он ко мне, — вместе с вами, с неподражаемо чувственной, многополой Джульеттой!

— А двух полов недостаточно? — хихикает Иосиф.

— Мне недостаточно! Мне мало двух! Я жажду беспредельности.

Карлик поднял ладшки для аплодисментов, но споткнулся о предупреждающий взгляд Иосифа и быстренько их опустил.

— Шучу я, Лоренцо. Иди ко мне, не бойся Детского театра, я не отдам тебя на растерзание детям, брат...

Режиссер раскрывает объятия, карлик в надежде приподнимается, но уже поздно — Хозяин передумал лобызаться и, кажется, вообще забыл о Ганеле. Его взгляд упал на портрет Мейерхольда. Он глядит на расстрелянного гения с угрюмой завистью и бормочет:

— Умел ставить, старик, умел! Джульетта, сними портрет.

Я снимаю, и, слава богу, передаю его Хозяину без поклона. Режиссер с восторгом и ревностью смотрит на Мейерхольда, и вдруг смачно целует портрет.

— Обожаю старика! Повесь обратно. Да поаккуратнее! Вот так. Ты, Саша, должен с этого дня стараться быть грациозней. Розы должны стыдиться цвести в твоём присутствии... Ну, к делу. Господин Ганель, Александр, садитесь ближе.

Через секунду мы уже сидим рядом с господином Ганелем, и рукава наших рубаш касаются друг друга. Режиссер смотрит на нас взглядом, расшифровать который я не могу, и говорит, указывая на Иосифа большим пальцем правой руки (кажется, у него какая-то странная игра — указывать на каждого только для него определенным пальцем):

— Наш друг будет переделывать Шекспира — уберет длинноты, добавит юмора, и так далее...

— Хватит потешаться, Сильвестр! Я только немного осовременю классика.

— Иосиф! Этого мэтра, — услышав это слово, господин Ганель сжимается, — не редактировали четыреста с лишним лет! Ты представляешь объем работ!

— Довольно шуток. — Иосиф порывается встать.

— Сидеть! — И режиссер, запретивший Иосифу покидать стул, встает сам, задумчиво проходит по кабинету и садится в кресло. — Вот закрою глаза свои, и встают предо мной тысячи предателей. — Режиссер закрывает глаза.

— Тысячи? — подает голос Иосиф.

— Это публика. Многоголовая изменница. Но люблю ее — не могу! Вот вечером зал заполняется людьми, такими разными, и каждый со своим запахом. От кого-то несет обожанием, кто-то пропах иронией, кто-то невежеством, а от умников идет такой тонкий, противный душок интеллектуальности. Но больше всего мне нравятся тихие зрительницы — они трепетны, они готовы увидеть именно то, что я поставил, а не свои вымыслы и домыслы. У них по большей части нет собственного запаха, они впитывают чужой. Кто-то укутан в преданность супруга, оваян его прощением, пропитан беззвучным плачем...

Я слушаю режиссера, и теперь понимаю, что значит «не верить ушам своим». Разве мог он знать о том, как именно я чувствую присутствие Наташиного мужа?

Хозяин продолжает:

— Люблю и тех, кто лелеет свою печаль, как дитя. И тех, кто не может наглядеться на свои родовые травмы, и летает на качелях: легкость-тяжесть, легкость-тяжесть.

Режиссер показал эти качели с помощью позолоченной ручки. Два медленных взмаха перед моими глазами. Так совсем недавно летала чашка перед глазами Наташи, когда я говорил: «От легкости — к тяжести, от матери — к отцу: мой маятник». Я почувствовал, что сейчас происходит что-то оглушительно важное для меня. Еще более важное, чем назначение на роль.

— Но все они рождены зрителями, Александр. Все, кто так погружен в свою маленькую жизнь, могут только наблюдать за чужим творчеством. Актеры из другого мяса... Сожги все, собери в пыльный мешок и сожги — свои травмы, запахи своих двулчных любовниц и их плаксивых мужей, это бормотание про легкость и тяжесть... Научись предавать по-настоящему — у тебя теперь есть учитель. — Режиссер показывает (снова!) большим пальцем на Иосифа, который беззастенчиво ухмыляется, услышав слово «предательство».

Я ничего не понимаю, но не могу отрицать очевидное, отрицать факт: Хозяин знает мои мысли. Мою жизнь. Режиссер продолжает, глядя в окно:

— Да-да, мой друг, моя подруга! Забудь все это! Это отнимает у тебя силы, а они нужны мне! Тот, которым ты был, мне не нужен, не интересен. Сожаление о прошлом, горечь в настоящем, страх будущего, бесконечное самокопание — в чем? Достаточно ли у тебя этого «само», чтобы так упорно в нем копать? Что ты там хочешь отыскать? Подумай: если бы твоя жизнь была спектаклем, ты бы остался на второй акт? Нет? И что же ты так бережешь? Все, отчаливай от своей тусклой пристани. Прощайся с населением своей унылой страны.

Потом, потом обдумать все — потом. Сейчас только восхищаться, только



бояться, только целовать. В наступившей паузе карлик с демонстративной влюбленностью смотрит на Мейерхольда, Иосиф разглядывает свои ботинки, а я благоговею.

— Сильвестр! Не забудь — у нас проблема, — меняет тему Иосиф. Мне снова кажется, что ему не очень-то нравится Хозяин. Надеюсь, у меня появится возможность ему об этом донести. Вернее, донести до Хозяина свои ощущения, предположения.

— Ну?

— Ипполит Карлович.

Режиссер мрачнеет.

— Да-да-да... не примет он такого спектакля... Нравственный. Как поп. Хуже попа! Что же делать, Иосиф?

— Пока не станем ему сообщать о радикализме постановки. Встретимся и расскажем о вечной любви, о значении для юношества великой трагедии Шекспира, о ее воспитательной роли...

— Ага, а потом он на премьере увидит, что Джульетта — мужик, а христианский монах — буддист! И прощай наш главный спонсор.

— Потом будет такой успех, что ему останется только присоединиться к аплодисментам, — уверяет Иосиф. — Я устрою печатный восторг у немцев и французов с упоминанием Ипполита Карловича. А когда он вызовет тебя, ты уже со статьями в руках: «Ипполит Карлович, «Ди Цайт» и «Ля Мوند» славят вас как передовую фигуру мирового меценатства». И что, он станет отказываться от лавров? Он герой, он не будет стулья ломать.

Хозяин задумывается, и мы видим, как откуда-то из глубин его титанического духа поднимается свет и озаряет лицо.

— А-лилуйя! А-а-лилу-уйя! Алии-илу-уйя! — затягивает режиссер, и к нему присоединяется приятный фальцет Иосифа и неожиданно густой в пении голос карлика. Через несколько секунд я слышу в общем восхищенном хоре и свой голос.

Режиссер распахивает дверь кабинета и возглашает:

— Светлана! Сэндвичи нам! Сэндвичи!

Объявляет так, словно сейчас должна появиться королевская чета, а не пара бутербродов. Мы вчетвером в ожидании смотрим на растворенную дверь. Мелким, быстрым шагом входит Сцилла Харибдовна, ставит на стол поднос с сэндвичами и исчезает.

Я ем и гоню все мысли о том, что сейчас со мной произошло. Режиссер даже не пожирает, а заглатывает. Иосиф жует часто, пережевывает мелко, а карлик обгрызает корочку, чтобы потом впиться мелкими зубками в мякоть. Вдруг Иосиф отстраняет от себя кусок сэндвича и мрачнеет.

— Не понравилось? — мрачнеет и режиссер.

— У меня началась диета, Сильвестр.

— Люблю чудаков, Иосиф! Дай Ганелю.

Карлик сам подсказывает за сэндвичем. Я вижу, что пора прощаться, но не могу уйти без позволения. С ужасом чувствую, что начинаю тяготить своим присутствием режиссера. Что делать?

— Знай, Александр! Завтра в твою честь и в честь нашего новоприбывшего, — режиссер улыбается Ганелю, — черт, чуть не сказал новопредставленно-



го, извините... Так вот, завтра в вашу честь я закачу в «Мариотте» несусветный банкет!

И едва господин Ганель представил себя в смокинге, задумчиво-печально принимающим поздравления и снисходительно прощающим завистливые ухмылки и смешки, а я подумал — «итс импосибл!», режиссер добавил: — Разве так важно, что банкет в вашу честь пройдет без вас?

Иосиф хихикнул, а режиссер встал со стула. Мгновенно вскочили и мы с Ганелем.

— Ну, таланты, ну, будущие звезды, давайте, мчитесь домой учить шекспировский текст. Брат Лоренцо, вы завтра не нужны, хотя можете прийти на сбор труппы, а Джульетту я жду в десять. Адью.

Прощальный пинок под зад мы с карликом приняли с благоговением и обменялись изумленно-счастливыми взглядами уже за черной дверью кабинета. Господин Ганель совладал с собой первым. Он протянул мне руку и попрощался полукивком головы. Светлане он отвесил более теплый поклон. Что сделал я, не помню, но отмечаю: это был один из тех редчайших моментов, когда я не помнил себя.

Не знаю, стоит ли говорить очевидное? Наш режиссер — шизофреник. В театре это приветствуется. И еще — он гений.

Я нажал кнопку вызова лифта. Вышел на улицу.

Солнце.

Я вошел к режиссеру безвестным актером, а вышел — Джульеттой лучшего российского театра. Теперь все в моих — пусть и женских — руках.

Я раскрываю рот. И туда летят банкеты и фуршеты, восторг красавиц и погоня папарацци, автограф-сессии и океан цветов. Я слышу мерный звук кондиционера в номере тысячезвездочного отеля, где я возлегаю рядом с огромногрудой и стройноногой красавицей. Это не Наташа. Это девушка, ласками которой я воспользовался лишь на эту ночь, и утром она обнаружит на туалетном столике автограф и теплые пожелания счастья. А Наташа, ушедшая наконец от мужа, ждет меня из парижских гастролей в нашей просторной квартире на улице Тверская (прощай, мой Теплый стан!). И любовь моя к ней тем сильнее, чем свободней я себя чувствую благодаря обожанию бесчисленного количества женщин и девушек...

Легкость и тяжесть? Дородовая травма? Я посылаю все к чертям. И мой печальный караван летит по небу — вверх и влево: я на сцене истекаю ненавистью, глядя на успех врага; Наташа приходит ко мне, укутанная в страдания мужа...

Господи, как же я раньше не замечал, как гадка и тускла, как бедна и убога моя жизнь? Вернее, как убога она была до этой встречи, до этого дня, до этого голоса, который, как мне кажется, способен сотворить меня заново?

Я обернулся на здание театра с тем чувством, с которым, я полагаю, смотрят на церковь новообращенные.

## Нет повести печальнее

— Какие эро-планы? — спросила Наташа, и я сразу принял решение.

Следующие десять минут нам было очень хорошо. Когда последствия моего решения были исчерпаны, а потом исчерпаны снова, уже до дна, я рассказал ей о сегодняшнем чуде.

— Кого? Джульетту? — Ее глаза, ярко-зеленые, изумлены. — Ты шутишь?

— Только если режиссер шутит. — Я затянулся сигаретой, что делал в постели только в случае крайнего блаженства или печали.

— На шутку не похоже, нет. Саша, это успех. Ус-пех. Ты успел. А я навсегда опоздала.

Голос Наташи дрогнул. Я еще раз заглянул в ее глаза: на меня смотрела ярко-зеленая актерская ревность.

— Почему ты? Почему опоздала?

— Раз моему любовнику предлагают роль Джульетты в театре, о котором я мечтаю, значит, мне уже ничего не успеть.

Она отвернулась. Я взял ее за плечо, хотел повернуть к себе, но почувствовал сопротивление.

— Тебе сделали странное предложение, Саша. Как будто судьба метила в меня, промахнулась, и на тебе: ты стал Джульеттой.

— Мне отказаться?

Она улыбнулась сквозь печаль. Я этого не вижу. Но чувствую.

— Разве я не знаю, что, если даже начнется светопреставление, ты все равно пойдешь репетировать — свое представление. Дорогой, не смей меня, я ведь тоже актриса, как и ты.

— Ты как будто ненавидишь меня.

— Хуже — я себя ненавижу. — Она садится на кровати ко мне спиной, облокачивается на спинку красивой тонкой рукой и обращается к стене. — Я доплелась до пика своей карьеры. Мужчина, который с такими звериными стонами в меня кончает, получил роль Джульетты.

Вдруг она обернулась через плечо, метнула в меня злой взгляд:

— Почему ты так стонешь? Думаешь, я не вижу, как ты играешь в безумную страсть? Все, теперь ты получил роль — играй на сцене, а нашу постель освободи от спектаклей.

Тишина.

Наташа посмотрела на меня, отвернулась снова и прошептала (раздраженный голос сменился растерянным):

— Прости. Прости, пойми меня.

Я ее понял. Но не простил. Напротив, это нежданное извинение меня разозлило.

Наташе стало неловко от снова наступившего молчания. Я давно заметил: Наташу беспокоит молчание, тревожит тишина. По всем законам наших ссор я уже должен был сказать: «Да ладно, давай забудем». Но я ни за что этого не скажу.

— Прости, — повторила она, — ты же знаешь, я не умею делать вид...

— Прибереги эти штучки для мужа. Может, он до сих пор принимает эгоизм за искренность.

Я больше не хочу смотреть на ее изогнутую, наглую спину. Поднимаюсь, набрасываю на плечи пододеяльник (не люблю халат), иду на кухню, ставлю чайник. Вода закипает, заглушая печальные вздохи, доносящиеся из спальни. Бог ты мой, она страдает! Она!

Завариваю чай. Отрезаю дольку лимона. Бросаю в чашку. Делаю первый глоток. В дверях кухни — Наташа. Она обнажена. Протягивает ко мне руки — я любил ее руки — и начинает декламировать. Я с первых слов узнаю текст своей новой роли:

Что он в руке сжимает? Это склянка.  
Он, значит, отравился? Ах, злодей,  
Все выпил сам, а мне и не оставил!  
Но, верно, яд есть на его губах.  
Тогда его я в губы поцелую  
И в этом подкрепление смерть найду.

Поцелуй. Почему-то после него я чувствую вкус лимона, хотя чай пил я.

— Наизусть знаешь всю?

— До дна. Могу помочь готовить роль... Нет, не могу, извини...

Мне не понравилось, как она сыграла. Тем более что она как бы издевалась надо мной, играющим Джульетту. Она подбавила иронии к этим словам, и я как будто впервые их услышал и понял — мне совсем не на что опереться, чтобы их произнести, сделать их живыми, сделать их своими. И не потому что они женские.

Что должно произойти со мной, чтобы я смог исторгнуть из себя такие речи и не засмеяться? И говорить все это в лицо Сергею, которого я еще совсем недавно хотел убить тронем? А теперь ведь мне придется даже любить его, моего Ромео.

— Будет лучше, если ты уйдешь.

— Вот как? О сердце! Разорившийся банкрот! В тюрьму, глаза! — Каждым новым словом Джульетты она словно доказывает: это не твоя роль. И никогда не станет твоей, хоть сам Господь Бог тебя на нее назначит. Играл ли кто-нибудь Джульетту агрессивней? Играл ли кто-нибудь с целью унизить?

— Наташа, ты просила меня не играть больше в постели. А я прошу тебя не играть на моей кухне. И вообще в моей квартире. Тем более, прости, это не божественно.

Я понимал — ей больно все это слышать, больно все это говорить, но остановиться сама и остановить меня она не может. Театр пустил в нас метастазы глубже, чем я предполагал.

Она собиралась молча. Резко, зло застегнута молния на сапоге. Сорван с вешалки плащ. Хлопнула дверь. Конец нашей сцены. Провалились оба.

В оглушительной тишине я думаю о том, что сейчас случилось. Как всегда, когда я оскорблен, подбираю самые грубые слова: «Все же забавно, что женщина, столь слабая на передок, мечтает на сцене умереть от единственной любви. Хотя, удивляться здесь нечему — нормальная сублимация романтизма».

Пиликает на мобильном эсэмэс. «Сегодня я впервые испытала с тобой оргазм. Дурацкое слово, кстати».

Вот и первые поздравления. Оргазм от зависти — это я запомню, запишу в книжечку своих актерских наблюдений, блядь. Для настоящего оргазма и секса

не понадобилось. Он случился, едва я притронулся к самым заповедным зонам души моей любовницы. Там бушует желание играть, а рядом с ним — неизбежные попутчики таланта любого калибра — ревность и зависть.

Я вспоминаю ее оргазмы, и понимаю, что они, и правда, были безукоризненными. Значит — и тут вмешалось искусство? Они были искусственными? Моя эсэмэска: «Кто тебе верил? Ты плохая актриса, и оргазмы твои фальшивы». Стираю. Нет, я не стану ей отвечать.

Тяжесть... Я снова скатываюсь в эту яму? Еще немного, и я опять заточу себя в одиночной камере со стенами-зеркалами. И ничего не увижу вокруг, кроме своих отражений.

Мой кот своим мяуканьем (он требует еды!) прекращает обрушение меня на меня самого.

Стук в дверь. Марсик бежит первым.

Наташа. Слезы. Взаимное прощение, увенчанное сексом. Секс увенчан оргазмом. Двусторонним. Хотя искренность Наташиных содроганий под сомнением. Теперь навсегда.

Неплохо сыгранный этюд под названием «мои поздравления». Я вижу, как ей непросто подыскать «поздравительные» слова, вижу, что она ощущает мою кухню декорацией, в которой нужно прочесть монолог, освобожденный от ревности и зависти. Великодушный, благородный.

На ее лбу выступает испарина, ведь попытка подменить реальные чувства придуманными требует усилий. Но я актер, и я чувствую фальшь. Смотрю на этот, с таким трудом дающийся Наташе театр и думаю: как же я хочу на сцену — настоящую!

Наташа подавлена, и я не понимаю, зачем ей было нужно возвращение, примирение и секс.

Звук захлопнувшейся за Наташей двери я помню хорошо, помню и свои чувства — настолько смешанные, что даже не попытался дать им имена. Не буду пытаться и сейчас».

И Александр решительно захлопнул дневник.

...День ушел в ночь. Наташа, ее муж и Александр чувствовали, что если раньше жизнь наперекосяк шла, то теперь она наперекосяк летит.

Муж Наташи открывал глаза, и, чувствуя, что его жена несчастна даже во сне, испытывал желание покончить со своим супружеством. Но тут же поднималось другое желание, несомненно, более сильное — быть рядом с ней, вопреки всему, даже вопреки тому, что именно это делает ее несчастной.

Наташа часто просыпалась, замечала, что муж не спит, и, предчувствуя возможность выяснения отношений, решительно закрывала глаза. Зажмуривалась крепко, словно хотела показать, что сквозь этот занавес к ней уже никто не проберется.

В темноте, где она стремилась от всех укрыться, Наташа продолжала обвинять себя. Разве Саша играет в безумную страсть? Ей ли не знать, сколько разных ролей она переиграла в постели за годы супружества? Если бы режиссеры давали ей столько же свободы самовыражения, сколько дает муж, а публика также безоговорочно ей верила, она была бы самой реализованной актрисой мира.

Александр же, обессилев от успеха в театре и провала в личной жизни, забылся тяжелым сном.

«Раннее утро переходит в позднее — значит, мне пора на репетицию. Подняться с кровати? Сейчас? Задача тяжелая. Ведь я инфицирован Наташиным пренебрежением, а главное — монологами Джульетты в ее исполнении.

Но разве вчера случилось только это?

Я назначен.

Я вознесен.

Я Джульетта.

Вспомнив об этом, я — надеюсь, с некоторой женской грацией — выпорхнул из кровати.

Душ. Вода смыла с меня тяжесть вчерашнего вечера.

Одеколон. Он уничтожил запах вчерашнего провала в личной жизни, который все еще струился сквозь поры вымытой кожи.

Свежайшее белье. Оно обволокло, защитило мое тело: изящная, элегантная броня.

Вспомнились слова режиссера: «Все, кто погружен в свою маленькую жизнь, могут лишь наблюдать за чужим творчеством. Актеры из другого мяса...»

Я хочу вырваться из своей жизни. Перестать быть собой. В конце концов, быть мной — очень скучно. Себе я в этом признаюсь, другим — не скажу. На репетицию!

...Я еду в метро, еду в театр. Не знаю, как у других артистов работает воображение, но мне необходимо брать ситуации, черты людей прямо из жизни. Вот руки старухи, сидящей напротив — разве не такие же были у кормилицы Джульетты? Представляю, как этой прорезанной морщинами ладонью она гладит меня — или уже не совсем меня, а ту девочку, которой я должен стать. А этот нетрезвый тип, так нагло на меня глядящий — разве не такой же кровожадный взгляд мог быть у брата Джульетты, Тибальта? Джульетта, должно быть, гордилась, что в ее присутствии этот полузверь становится нежнее.

В наш вагон вошла женщина (механический голос прохрипел: «Осторожно, двери закрываются, следующая станция "Павелецкая"») и оглядела всех стоящих и сидящих. Не нашла себе места, и с чувством собственного достоинства — излишне подчеркнутым — встала над скорбящей старушкой (кормилицей). Потом передумала и встала над нетрезвым мужиком и распахнула какую-то книгу. Прямая спина и гордый, излишне гордый взгляд: такой могла быть мать Джульетты.

Поезд притормаживает, впускает новых пассажиров, и механический голос оповещает нас: «Осторожно, двери закрываются, следующая станция "Новокузнецкая"». Наш вагон пополнился еще одним героем — это молодой человек, франтовато одетый. Джульетта могла бы полюбить такого? Нет, слишком он правильный, слишком самодовольный. Такой не возьмет в руки шпагу, чтобы заколоть врага. Такой не умрет от любви — он, скорее всего, посмеется над тем, кто так нелепо умер. Он похож на Париса — самовлюбленного Париса, уверенного, что он осчастливил Джульетту предложением руки и сердца. Не знаю, как там насчет сердца — но руки, его короткопалой руки, его холеной руки — Джульетта

не приняла бы. Ни за что. Я представил, как он протягивает ко мне эти руки, и меня передернуло. Нет!

Достаточно. Теперь можно закрыть глаза. Хорошо, что людям не дано читать чужие мысли, ведь я вижу луг, вижу замок, я бегу к маме, которая позвала меня, издали замечаю кормилицу (руки, морщинистые руки!) — я люблю ее, пусть она и надоела мне своими непристойностями. Хотя, признаюсь, порой мне нравится их слушать...

...я бегу и бегу, мои ноги легки, а мысли еще легче, ведь мне нет еще 14 лет, я оказываюсь прямо перед мамой. (Прямая спина, гордый взгляд, и опять в ее руках книжка, названия которой я никак не могу запомнить — наверняка там что-то ученое или моральное.) Мама мне говорит: «Ты засиделась в девках, пора подумать о замужестве...»

...Следующая станция — «Театральная»...

...И вот — бал. И — прикосновение. Кто этот юноша, одетый монахом: его лицо скрывает маска, зато слова... Они открывают нас друг другу. Я чувствую — навсегда:

Я ваших рук рукой коснулся грубой.  
(«Осторожно, двери закрываются»)  
Чтоб смыть кощунство, я даю обет:  
К угоднице спаломничают губы  
И зацелуют святотатства след.  
(«Следующая станция "Тверская"»)

В первых же словах — желание! Первое же действие — поцелуй! И что же мне сказать? Тихо, обреченно, уже любя: «Мой друг, где целоваться вы учились?» («О вещах оставленных другими пассажирами, немедленно сообщайте машинисту».) Меня зовет мать (спина, достоинство), но я стремлюсь выяснить, кто был тот, одетый монахом, чьи губы совершили такое паломничество... я поверю во всех его богов, лишь бы он продолжал свои паломничества... и спрашиваю кормилицу (морщинистые руки) о каких-то не имеющих для меня никакого значения гостях — а этот кто? А тот? И небрежно — с замиранием сердца — добираюсь до моего паломника. Что? Ромео? Ты шутишь? Нет. Сын врага, Ромео.

«Станция "Тверская", переход на станции "Пушкинская" и "Чеховская"». Я открываю глаза и вижу, что почти все герои моего воображаемого спектакля вышли из вагона. И я выхожу в гудящий зал, иду в переход на «Пушкинскую», чувствуя восторг от того, что сейчас пережил. Все мое существо рвется в театр, я ускоряю шаг, я — «прошу прощения!» — обгоняю пассажиров, я — «ох, извините!» — наступаю на ногу и без того расстроенному толстяку...

И вижу здание театра.

## Союз пираний

Я подхожу к своей гримерке и замечаю, что у меня появился сосед — табличка на дверях соседней комнаты гордо провозглашает: «Г. Ганель». Заглядываю, чтобы поприветствовать брата Лоренцо. Он свыкается с новым местом несколько странно — сидя в кресле, напряженно смотрит в большое настен-

ное зеркало. Рассматривает себя в новом интерьере. Как будто приучает стулья, шкаф и само зеркало к своему присутствию. Я здороваюсь, и он отвечает мне очень любезно. Его карие глаза добры и умны, и я даю себе обещание познакомиться с господином Ганелем поближе.

«Первая репетиция. Поздравляю нас», — сказал он. В его глазах я прочел желание во что бы то стало остаться здесь, в нашем знаменитом театре, и отвращение к своему театральному прошлому.

Я же был счастлив от того, что входит в мою жизнь вместе с Джульеттой. А потому предпочел не думать о том, что пришел в местечко, где отовсюду — клыки, пасти и челюсти. Союз пираний. Террариум единомышленников.

Мы стали спускаться в зал, и по пути я получил несколько ножей-поздравлений. «Ах, я так за тебя счастлива! Я уверена, ты сыграешь волшебное! — зашебетала, увидев меня на лестнице, моя коллега, столь же неприметная, как я до вчерашнего дня, а потому и невзлюбившая меня с особой страстью. — Эта роль как будто специально для тебя написана!» Господин Ганель проводил ее долгим взглядом и совершенно неожиданно подмигнул мне. Как ни странно, это меня подбодрило.

Другие актеры не были так прямолинейны, но все же в улыбках, рукопожатиях, приветливых наклонах головы таилась зависть. Или я ее придумал? Но ведь я сам завидовал бы на их месте.

Кто-то этажом выше, заведя нас, сказал довольно громко: «Вот парочка. Карлик да девочка». Я даже не стал поднимать головы. Я мог увидеть наверху любого актера труппы. Господин Ганель, кажется, начал понимать, в какую теплую компанию попал. Но, судя по тому, как бодро он держался, в своем театре он привык к столь же дружественному обращению.

Мы вошли в зал — вся труппа была в сборе. Режиссер отнесся к нам без малейшего следа вчерашней фамильярности. Пожал нам руки и пригласил сесть в первый ряд. Мы сели рядом с Иосифом. Он тоже держался в высшей степени официально.

Я понял, что сейчас предстоит репетиция одного актера. На наши репетиции порой приходили смотреть студенты, журналисты и даже филологи: порой их надежды, что режиссер откроет в классическом тексте новый смысл, вознаградились. Но сейчас он не говорил. Он летал по сцене. Он был Джульеттой, и все его тело — руки, ноги, ресницы, даже его черный строгий костюм — жаждало любви. Его движения становились неловкими и вместе с тем неподражаемо грациозными: пластика девочки-подростка. Он толстел и хмелел, он грубо ругался и еще грубее пел — с наслаждением Хозяин изображал дородную кормилицу. Он разбухал от бешенства, он метался по сцене как зверь, с темным восторгом чувствующий, что кровь — своя ли, чужая — вот-вот прольется: это был Тибальт. А вот юноша, полный беззащитной иронии, колющий от нежности, задиристый от миролюбия — мне показалось, что режиссер больше всего любил Меркуцио, который умрет раньше других, прокляв «оба дома».

Почти час режиссер проигрывал-проживал шекспировскую трагедию, менял лица, походки и голоса. Внезапно застывал, и в наступившей тишине мы чувствовали, как время ведет героев и нас к печальной развязке. Когда он закончил, вся труппа сделала невольную, одну на всех, паузу — в ней чувствовалось неподдельное восхищение. По краям зала раздались аплодисменты — это закудахтали ручки студентов и журналистов, — но режиссер жестом остановил их.



Я был уверен: никому из нас не сделать ничего похожего. Ни у одного из нас нет крыльев такого размаха.

...Я вышел из зала, переполненный любовью к режиссеру. Господин Ганель, ни жив ни мертв, стоял под чьим-то портретом (неужели снова Мейерхольда, он рассчитывает на его защиту, что ли?). Я угадал: он чувствует то же самое.

— Я так никогда... Никогда! — только и сказал он.

— Успокаивает, что никто так никогда, — ответил я, с удовольствием отмечая про себя, что наши мысли похожи.

Наш разговор услышал Сергей Преображенский. Слово в облаке всеобщего восхищения и восхищения собой, прошагал он к нам. Улыбнулся, спросил:

— Никто так больше сыграть не сможет? Вы уверены? А вы заметили, что мою роль — Ромео — Сильвестр показывать не стал?

Да, конечно, безусловно, ты грандиозно сыграешь и без его показов. Конечно, безусловно, ты гений. Как ты вообще заметил нас, мошек-крошек? Появление Сергея вернуло меня к моей ненависти. Вернуло к себе. Зверек-то был всего лишь полузадушен — я снова услышал его слабый, но настойчивый писк. Однако я подал Сергею руку с приветливейшей из моих многочисленных улыбок.

И тут случилось еще одно чудо. Без обиняков, запросто, он предложил выпить: «Ведь мы как-никак юные влюбленные, а помогает нам брат Лоренцо, которого берем третьим, да? Да, господин Ганель? Да, Александр?» Ненависть замерла в изумлении. Сдала позиции. Лапки сложены — «...удаляюсь... удаляюсь... удалилась...».

Я хочу остановить это мгновение. Хочу прожить всю сладость, всю победоносность момента: я приглашен — кем?.. Я промахнул несколько этажей — да что там! — десятиэтажку! — социальной лестницы.

## Братья знакомятся

— ...Все. Я пьян, — объявил Сергей.

— Почему? — спросил господин Ганель, хотя ответ стоял перед нами на столе — в двух пустых экземплярах.

— Великодушие пошло. Волнами. По телу.

Мы хихикнули; тогда мы еще не знали, что этой остротой наш новый друг приправляет все застолья. И автор, конечно, не он — Сергей присваивал себе все полюбившиеся ему словечки, обороты речи и мысли. Он ведь артист.

— Эх, Саша! — вздыхает Ганель, обращая вздох ко мне. — Если б ты знал, что такое Детский театр, ты бы не стал называть свою жизнь «помойкой, полной мрака».

— Я так называл?

— Ну да, пару рюмок назад, — смеется Сергей.

— Хотя любая помойка полна мрака, — говорит господин Ганель и уныло добавляет: — Уж ты мне поверь.

— В моем назначении на Джульетту есть что-то педерастическое, — уверяю я моих новых друзей — карлика и звезду.

— Брось, Саня! — говорит Сергей.

«Ах, я уже Саня», — отмечаю я с удовольствием, но и с обидой: Сергей может запросто начать со мной фамильярничать, и я должен почитать это за честь. А если бы я попробовал назвать его, например, «Серый»?

— Друзья мои, — маленькая ручка господина Ганеля крепко держит рюмку, карие глаза смотрят еще теплее, чем сегодня днем в гримерке, — как же вам повезло, что вы служите в выдающемся театре! Мой лучший друг, мой друг бесценный всю жизнь играл Незнайку. Он спивался от этой жизни в Солнечном городе, он ненавидел актера, игравшего Знайку — и так сорок лет подряд... А умер он год назад, так и не попробовав никакой другой роли. За гробом шли только я и его подруга, которая всю жизнь была Красной Шапочкой. Она хотела положить в его могилу широкую шляпу Незнайки, но я не допустил: пусть хоть там он побудет самым собой.

Господин Ганель раскрыл тонкогубый рот и, не чокаясь с нами, опрокинул рюмочку.

— Грустная твоя история, — говорит Сергей и жестом просит официанта принести еще бутылочку.

— А все-таки в моем назначении есть что-то педерастическое, — упрямо повторяю я и начинаю охоту: принимаюсь гонять кусок груздя вилкой по тарелке.

— Саня! Все! Хорош! — кричит ведущий актер. — Не бойся косых взглядов! Знаешь, как надо думать про всех: «Ты гондон, и ты гондон, а я — Виконт де Бражелон!»

— Ну хоть что-то педерастическое все же есть? — упрямствую я и вижу, как на нашем столе воцаряется еще одна бутылка восхитительной финской водки. Предвкушая еще большее опьянение, я грустновато добавляю: — Ты глубок, и я глубок — заходи на огонек!

...Черный провал. С трудом открываю глаза и вижу: моего исчезновения никто не заметил.

— А знаете, господа, у меня есть настоящий дар, — вдруг объявляет Ганель.

— Обижаешь, — улыбаясь, отвечает Сергей.

— Я про другой дар, про другой... Я слышу чужие мысли.

— Да ты опасен, — смеется Сергей.

— Саша, можешь дать мне отпить глоток из твоей рюмки? — просит господин Ганель.

Я протягиваю рюмку на тоненькой ножке.

Господин Ганель делает мелкий глоток:

— Ты совсем недавно думал: «Неужели из нас троих только Максик и будет счастлив?» Да? Ты думал так? Максик — это ребенок? У тебя сын?

Наверное, водка виной тому, что я просто восхитился, а не испугался дара господина Ганеля.

— Нет, не Максик, а Марсик, и не ребенок, а кот! Но вы, господин, Ганель, просто восторг! — Я аплодирую ему прямо в лицо.

— Не дадите мне на секундочку надеть ваше кольцо? — спрашивает господин Ганель у Сергея, и тот, ни секунды не смущаясь, снимает обручальное кольцо и протягивает карлику. Господин Ганель надевает его, на секунду закрывает глаза...

— Фейерверк над океаном, гигантские цветы и звезды вылетают прямо из

воды и гаснут в небе... Потом начинается дождь над океаном, и я слышу только монологи Ромео — почему-то разными голосами... — Карлик говорит, полу-прикрыв глаза, как бы в легкой медитации. — И звучат аплодисменты... Ветер приносит их откуда-то издалека...

— Я как раз сейчас интонацию для Ромео искал! А аплодисменты — они всегда со мной, — смеется ведущий наш актер. — Ну, за твой дар, Ганель!

Сергей пьет. Мы с ним уже здорово набрались, раз воспринимаем чудо как должное.

В ресторан вошел Сильвестр Андреев. Сел за несколько столиков от компании, теплеющей на глазах. Заказал рюмку водки, бутылку воды и салат. Глядя на веселую троицу, Андреев подумал: «Интересно, что Сережа делает с ними? Алкогольный мезальянс...» Сильвестр поднял рюмку, шумно выдохнул и отправил в горло сто грамм. Посмотрел повеселевшим взглядом на господина Ганеля и Александра. Подумал: «На ловца и зверь бежит».

Перед началом репетиций нового спектакля Сильвестр всегда совершал, как он это называл, «жертвоприношение». Он смотрел на ошеломленного близостью к ведущему актеру Александра, на господина Ганеля, который что-то неумоимо рассказывал. Режиссер выбирал, кого из них принести в жертву новому спектаклю.

Сильвестр открыл кошелек, дабы извлечь оттуда монетку. Пусть судьба решит сама.

Бутылка опустошена, я иду в туалет, возвращаюсь и объявляю, что сейчас скажу длинный религиозный тост. Ведь Богу уже давно пора проникнуть в наш разговор: в нас почти три литра водки. Сергей и господин Ганель слушают с необыкновенным вниманием.

Я начинаю говорить слогом, который использую либо когда сильно пьян, либо очень мечтателен, либо очень несчастен.

— Долгие тысячелетия человек был уверен: глаза Бога пронзают его до дна. А потому он старался избегать противоречий, стремился к единству и цельности. Сейчас все мы чувствуем: Бог на нас больше не смотрит. И то, что в прошлом было глазами Бога, распалось на миллионы осколков — на глаза людей.

До Сильвестра доносятся слова о Боге. На лице режиссера появляется презрительная усмешка. Он не любит актеров-философов.

Монетка наготове.

— Теперь ты обретаешь смысл только под взглядом другого, такого же смертного, такого же кривляки, — продолжаю я. — Что удивительного, что все напоено ложью — и сны и явь, и дни, и ночи? Ведь теперь любой чужой взгляд для нас — пусть на мгновение — но абсолютен.

Абсолютность мгновения — эту мысль моим друзьям надо переварить. Вместе с гуржнями и огурчиками. Пусть поразмыслят, пока я подтягиваю в область сознания новые отряды идей. Ага, вот они, пришли. Но вдруг вступает Ганель:

— Мудрено очень... Было время, когда Бог смотрел на людей? Мне кажется, он и тогда не замечал нас, карликов. — Он улыбается.

Самоиронию я уважаю, но никому не дам осмеять дорогие мне мысли:

— Когда ты стоишь на сцене, тысячи глаз подтверждают твоё право на жизнь. Дарят тебе бессмертие. Там, где так много глаз, где есть зрители, тебя любящие, сохранилась память о далеком времени, когда Бог с любовью смотрел на человека. Те, кого называют суперзвездами, могут почувствовать отголоски того, что ощущали великие пророки.

— Ого! — сказал Сергей, и я понял, что он задумался: чувствует ли он что-то подобное тому, что чувствовали пророки? Во взгляде — недоверие.

— Потому так ужасен момент, когда это чудовище — публика — отводит от тебя бинокли и зрочки, — продолжаю я. — Лишенный чужого присутствия, чужого взгляда, я мгновенно теряю смысл... Вот сейчас, Сергей, ты отвернулся...

— Так какая красotka прошла! — оправдывается он.

— Ты отвернулся, и я на это мгновение стремительно утратил смысл. Помните православную молитву «Не отврати глаза твоего от меня, Господи»? Я думаю, мы все её неустанно шепчем, только не Богу, а всем и каждому... О чем я говорил? О театре я говорил... Выводы!

— О! Уже и выводы? Так скоро? — смеется Сергей, но я непреклонен.

— Первое: трагичность богооставленности и счастье богоприсутствия — предельно выражены в театре. Второе: мое одиночество тем ощутимей, чем больше людей смотрят, а значит — укореняют в жизни — моего врага...

— Ух ты, врага! — улыбается Сергей. — У тебя враги? У нас в театре? Кто? Имена! Мы их раздавим! Помнишь: ты гондон...

— И ты гондон! — с неожиданным раздражением вставляю я. Сергей на секунду чувствует, что я сказал это ему, а не для поддержания рифмы. Но вальяжное высокомерие ведущего актера помогает ему рассеять подозрения, и он снова с нежностью смотрит на нас, своих собутыльников.

— А за что мы пьем, Саша? Это же тост был? — интересуется господин Ганель. По его тону не понятно, произвел ли я на него впечатление.

— За то, чтобы театр знал свое место! — поднимаю я рюмку.

— Ура! — кричит ничего не понявший Сергей, опрокидывает рюмку, тут же за ней вторую, и поясняет: — Очень длинный тост был. Сойдет за два! Как ты сказал: ты глубок, и я глубок, — улыбнулся Сергей. — Да, глубоко говоришь!

Сильвестр подбросил судьбоносную монетку. «Решка — господин Ганель, орел — Александр», — загадал он. Монетка упала возле рюмки.

«Ну вот, — укоризненно покачал головой Сильвестр, — а он говорит, что Бог не замечает карликов».

Сергей поддел вилкой большой кусок селедки, из которой торчало множество мелких костей, а сверху лежал кусочек репчатого лука. Отправил все это волшебство в свой красивый вишневым рот. Мы наблюдали за его наслаждением, а он, сладостно чмокнув, сказал:

— Вот сейчас, когда я делал на вилке эту восхитительную икебану, мне же тело мое подсказывало, как будет вкусней. Все решения за меня принимает тело. Во всех вопросах. Вот если я читаю роль, и тело начинает волноваться — значит, она моя...

— Тело волноваться? — спрашиваю я.

— Да! Я читаю роль и вскрикиваю, шепчу, смеюсь, плачу иногда. Жена в такие моменты меня даже побаивается. Хочется делать все, о чем там написано — драпать, драться, травить, травиться... Любить! Все это надо делать скорее и по многу раз, и перед всеми, перед всеми!

Повторив «перед всеми», Сергей зачем-то поднял вверх указательный палец, словно сообщал нечто архиважное. Господин Ганель нетрезвым взглядом рассматривал палец ведущего актера, пока тот говорил:

— А что тебе это дает, Сань? Богоприсутствие! Богоотсутствие! А может, просто — успех или провал? А? Не говори так со мной больше, мне как-то, как-то мне холодно сразу становится.

Он смеется надо мной. Я начинаю трезветь. И ненавидеть. А он не отстает:

— Саня! — выдыхает на меня Сергей смесью водки, лука и сигареты. — Ну и что же с того, что Бог куда-то там удалился, и теперь мы друг для друга играем?

Он спросил меня так запросто, не желая ни обидеть, ни унижить, но я почувствовал себя и обиженным, и униженным. Он победил, даже не вступая в борьбу, даже не догадываясь, что я был его противником.

Он лапает. Я разглядываю. Он актер. Я зритель. Мое место в партере.

Сильвестр аккуратно спрятал монетку в кошелек, расплатился, оставив щедрые чаевые, и ушел, не замеченный артистами.

— А я верю, Саша, что ты не случайно получил роль, — продолжал Сергей, выискивая на столе, чем бы еще поживиться. — Увидишь, Сильвестр сделает такое!

...Почему господин Ганель начал взлетать к потолку? Хватаю его за руку — улетит, останемся без брата Лоренцо, кто тогда нас с Сергеем обвенчает...

Голову Александра наполняют туман и звон. Заплетаются не только язык — заплетаются мысли.

Сергей вызывает своего шофера, чтобы тот развез всех по домам. Расстаются они закадычными друзьями, хотя господин Ганель не участвует в звонких лобызаньях и плотных объятьях, которые происходят тут же, у стола с остатками еды и водки.

## Изгнание

Господин Ганель выпил меньше Александра и Сергея, а потому на следующее утро встал без тяжелых следов похмелья. Он жил в центре Москвы. Здесь, среди старинных шкафов, стульев и ваз он учил роли, слушал музыку и очень редко, но все же смотрел порнофильмы.

Проснулся господин Ганель с приятными воспоминаниями о вчерашнем вечере. Хотя, как он полагал, «Саша переборщил, разве о таком говорят? О таком и думать как-то почти непристойно». Сам он предпочитал на подобные темы высказываться только с иронией, а наедине с собой даже не пытался их поднимать. Однажды он сказал своим коллегам в Детском театре, которые

затеяли теософский спор: «Карлику верить в Бога даже как-то неприлично. Слишком уж большая идея». После этого с ним на «божественные темы» никто заговорить не пытался, чему он был рад.

До театра он мог дойти пешком, потому на репетицию собирался медленно и даже величаво: надел снежно-белые носки, черные брюки, рубаху, не уступающую в белизне носкам, а также жилетку и пиджак. Оставалось еще некоторое время до выхода из дома, и господин Ганель, как это бывало очень часто, сел напротив шкафа с зеркалом, стал разглядывать свое отражение и мечтать о долгой и счастливой работе, о том, что понравится режиссеру, который тем временем сидел с Иосифом в своем кабинете, с аппетитом ел свои любимые сэндвичи и говорил как раз о господине Ганеле.

— Правильно сделал, что пришел. Сегодня состоится изгнание Ганеля из Ганеля.

— Изгнание? — удивился Иосиф. На левом крае его губ повис кусок салата из сэндвича, режиссер показал ему на висящую зелень, и журналист быстро устранил некрасивость.

— Личность актера нужно перемолоть. — Режиссер запил сэндвич водой (он любил простую воду). — И только тогда герой, которого он играет, займет в нем подходящее место.

— Перемолоть личность? — Иосиф, если не ухватывал смысла слов собеседника, повторял их с интонацией вопросительной.

— Актера надо унижить, а хорошего актера — раздавить. Только тогда из него талант потечет. Иосиф, вот подумай над словами: преобразование, воплощение. Мы в театре ими пользуемся направо и налево. А исток у этих слов какой?

— Религиозный, — сказал Иосиф, стараясь проявлять к разговору сдержанный интерес и не сделать его похожим на интервью. Иначе с таким трудом налаженные равные отношения с режиссером снова станут творческим мезальянсом художника и критика.

— Вот именно. Преобразиться. Воплотить. Ветхий человек умирает. Преобразование. На его руинах возникает новый. Входить в роль, Иосиф, это вещь страшноватая. Если делать это честно.

«Вся труппа в сборе. Режиссер должен выступить перед началом репетиций с программной речью. Момент торжественный. Хозяин встал перед актерами, занявшими места в партере.

— Вчера я услышал историю настолько печальную, что, возможно, поэтому и наступила осень. — Кто-то в зале попытался засмеяться, но режиссер посмотрел на хихикающего так грозно, что тот подавился своим смехом. — И хотя по календарю еще не настоящая осень, но она уже чувствуется, она уже наступает. Сейчас вы в этом убедитесь.

Хозяин перевел немигающий взгляд на господина Ганеля, словно вознамерился выжечь в нем необходимую для роли территорию и продолжил:

— Мы очень черствы. Даже я, когда услышал историю про горбуна, лишь через несколько часов почувствовал, какой невероятной грустью она наполни-

на. Надеюсь, вы эту грусть почувствуете быстрее, хотя бы потому что я об этом предупредил.

Горбун жил при дворе одного немецкого короля, был хорошо воспитан, добр, его любили. О настоящей любви, любви к женщине он и не помышлял. Так прошло 30 лет. Он был обходителен, даже галантен и исполнял при дворе необременительные обязанности. Странная, но простительная черта: он мог часами рассматривать свое отражение. И еще: он полагал, что обладает чудесным даром.

Он подходил к бутонам роз, которые росли вокруг дворцовых скульптур, и ждал, когда их аромат вдохнет женщина. Он вдыхал запах розы после нее, и ему казалось, что теперь он знает ее мысли. Он прикасался своей ручкой к следам короля, и проникал в его планы. Он подходил к камню, который только начинал обтесывать скульптор, дотрагивался до него, и уже знал, как будет выглядеть шедевр.

Этот свой дар он просто придумал. Люди, которые его окружали — из жалости, которая бы его смертельно оскорбила, узнай он о ней — подыгрывали горбуну: да, ты угадал! Это чудо! И король говорил: «Поглядите, он знает, с кем я хочу развязать войну!» И женщины, смущаясь, шептали: «Только никому не говори о моих тайнах». Горбун со своим иллюзорным талантом был счастлив. Так, как может быть счастливо навеки отъединенное от других существо, улыбающееся перед сном своему отражению в зеркале.

Режиссер сделал паузу. Никто из сидящих в зале не удивлялся этой на первый взгляд неуместной речи. Мы, его актеры, знали, что скоро поймем, зачем прослушали историю о горбуне давно минувших дней. Но один из нас, кажется, уже все понял.

Господин Ганель слушал режиссера и все плотнее вжимался в красное мягкое кресло.

— Но так долго не может продолжаться в жизни существа, которое никогда не встанет вровень с другими — с теми, кто его вроде бы и принимает и привлекает. Он влюбился, и безнадежная любовь открыла ему с непоправимой очевидностью, что он чужой всем и недостоин счастья. Странно — разве он не знал этого раньше? Он пошел к той, которую любил, сбивчиво и страстно ей открылся, но получил в ответ лишь поцелуй, полный сострадания.

Голос режиссера звучал в полной тишине — лишь иногда было слышно шелестение бумаг Иосифа: он усердно писал. Неужели конспектирует? Виртуозное подхалимство.

А господин Ганель кусал тонкие губы. Его ноги сделали самостоятельное движение — это был порыв уйти. Но карлик остановил их усилием воли. Он не хотел возвращаться в Детский театр. Хотя в мыслях своих он уже обратился в бегство, сам стал бегством, желанием спрятаться, исчезнуть.

— Во дворце, как и положено, был пруд, красивый, ухоженный пруд. Горбун пришел туда на закате. Рядом не было ни души. Он лег на берег, потянулся к воде и несколько секунд смотрел на свое отражение. Он дотронулся до воды, и отражение помутилось. Горбуну показалось, что его образ кругами расходится по воде и исчезает у берегов. Тогда он оттолкнулся от берега башмачками с загнутыми носами и изящными бантами, погрузил голову под воду и... его парик поплыл к центру пруда.

Режиссер сделал изящный, плавный жест рукой, и, как всегда, чудесным



образом преобразил пространство. Мы услышали шелест деревьев, увидели блеск фонарей в пруду и плывущий по воде парик.

— Горбун открыл глаза. Все вокруг было мутным, свет фонарей под водой изгибался темно-серыми, кривыми линиями. Его отражение исчезло навсегда. Он умер.

Режиссер вздохнул, вздохнули и несколько наших женщин — их тронула история любви и смерти горбуна.

Все смотрели на господина Ганеля, который медленно вытирал медленные слезы.

— Я предлагаю нам всем, перед началом репетиций, бросить эту историю в костер нашего воображения, — каменным голосом продолжал режиссер. — Ведь только у Шекспира мы находим такую смесь высокого и низкого, дерьма и неба. А потому, работая над Шекспиром и думая о несчастном горбуне, мы должны задать себе ряд честных вопросов, не смущаясь их внешней неэлегантностью.

Тишина. Господин Ганель умоляюще смотрел на режиссера.

— Я думаю об утренней эрекции этого существа. Ведь каждый день начинался с нее. Каждый день его тридцатилетней жизни. Что значила она для несчастного? Подчеркивала ли всю безнадежность его одиночества? Или, напротив, как поднятое знамя, вселяла надежду: раз член все еще встает вместе с солнцем, значит, новый день может принести счастье? Представьте себе его, достающего из шкафчика альбом с фривольными картинками, распаивающего камзолчик, и... Тут он давал волю своему воображению, и не только эротическому. В эти минуты он был королем, услаждающим королеву, он был страстным, высоким и широкоплечим любовником всех красавиц королевского двора...

Мы должны научиться такому же абсолютному перевоплощению. Горбун должен послужить нам примером. Ведь, если бы он не был во власти воображения, он бы никогда не решился на признание в любви. И, столкнувшись с реальностью, не покончил бы с собой. Итак, о чем я? Я говорю о презрении к реальности. Я говорю об абсолютной, полной власти воображения. Чтобы мы, как герой одной великой пьесы, могли сказать: «Вдохновение выводит меня за пределы здравого смысла». Только там, за его пределами, начинается искусство. Потому я аплодирую горбуну, которого погубила мечта. Презрение к реальности. Обладать воображением и подчиняться вдохновению — риск. Даже больший риск, чем вы думаете. Но мы обязаны экспериментировать с нашими душами, иначе какие же мы артисты? Да, господин Ганель?

Господин Ганель попытался отыскать в своей головке спасительную остроу, какую-то цитату, хоть что-то, что могло бы разорвать сгустившуюся над ним тишину. Не получилось. Главное произошло — он принял на свой счет эту историю. А могло ли быть иначе?

Вдруг все услышали что-то среднее между громким сопением и тихим похрюкиванием — это господин Ганель боролся с болью. Внезапно он почувствовал тепло в левой руке, жар в сердце, в его голове пронеслось: «Все смотрят — стыдно», — и эта мысль была красного цвета.

Через секунду несколько актеров склонились над господином Ганелем: обморок. Режиссер отпустил всех на перерыв, и приказал привести к карлику врача, который всегда дежурил в нашем театре.

— Через час жду всех в зале. Пройдем первую сцену.

Я смотрел на замороженную труппу и ее властелина, на лежащего около красного кресла господина Ганеля, и мне казалось, что наш режиссер всемогущ. Да, именно так и было: он унижал на моих глазах человека, с которым я вчера откровенничал и пил, а я таял от восхищения. Я посмотрел на Сергея: он ловил каждое режиссерское слово, а на вчерашнего друга даже не взглянул.

Что тут скажешь? Театр — по ту сторону добра и зла. И случилось это с нашим видом искусства задолго до истерических откровений Фридриха Ницше».

А вечером Сильвестр объяснял Иосифу: «Господин Ганель не обратит свою ненависть на меня, ведь это значило бы обратить ее на свое будущее. Он возненавидит себя самого — то есть свое прошлое, которое он так хочет преодолеть. И начнет мучительный процесс саморазрушения. И я ему в этом святом деле помогу. А потом просто подцеплю его, — режиссер показал Иосифу мизинец, согнутый крючком, — и выдерну Ганеля из Ганеля. И в окровавленной пустоте сотворю брата Лоренцо. Вот так, Иосиф, вот так, соавтор Шекспира, вот так».

Хозяин театра оказался прав: господин Ганель с каждым днем чувствовал все большую радость, что попал в круг людей, которых формирует (и деформирует, что неизбежно) Сильвестр Андреев.

Шли дни, шли недели, и лето уступило осени. А спектакль рос: появились первые декорации, репетировались сцены, где не появлялись Ромео и Джульетта. Со сценами, где должны играть Саша и Преображенский, Сильвестр почему-то медлил.

## *Паразит, заселенный в меня Шекспиром*

Звонок режиссера изменил планы двух артистов. Сильвестр срочно (а было восемь вечера, пятница) приглашал их к себе на дачу.

Машина заехала сначала за Сергеем, потом за Александром.

Сергей располагался на заднем сиденье. Он улыбнулся широко и, как показалось Александру, властно. Жестом пригласил Сашу сесть рядом. «Привет!» — сказали они одновременно и вместе улыбнулись.

Актеры — ведущий и ведомый — помчались на дачу к режиссеру, которая находилась на знаменитой Николиной горе, где издавна селилась художественная и политическая, а сейчас и «экономическая» элита.

Приехали актеры в полной темноте. Сильвестр выбежал за ворота, услышав стук закрываемых дверей такси, и подбежал к машине. Не здороваясь, сунул шоферу тысячную купюру, задумался на секунду, дал еще сотню, и, приложив палец к губам, зашептал Сергею и Александру:

— Тс! Все спят! Репетировать будем в погребе!

В темноте было не разглядеть, сколькоэтажный дом стоял перед Александром и Сергеем. «Что-то около трех-четырех», — решил Саша.

Режиссер закрыл ворота. Жестом он позвал за собой артистов и жестом дал понять, чтобы они ступали осторожно и тихо.

Сергей и Александр, держась за влажные стены, стали спускаться по боль-

шим, выступающим из земли ступеням. «Я сам этот погребок спроектировал», — подмигнул артистам Сильвестр. Почему-то от этих слов Саше стало страшно.

В погребе было прохладно, но теплее, чем на улице. Саша страстно хотел горячего чаю, или — даже сильнее — вина, которое стояло здесь же, рядом, на полках — только протяни руку. Но, конечно, попросить не решился. Кроме поблескивающих бутылок вина, на полках — отдельных — располагалось вяленое мясо. Свет был неярким: лампочка в сорок ватт светила из последних, угасающих сил.

— Ну, — голос режиссера обрел твердость и набрал обычную громкость, — вот теперь — приветствую!

Он тепло обнял Сергея: «Доброй ночи! Доброй творческой ночи!» Подал руку Александру: «Дорогая моя, выглядишь на все тринадцать!» — «Вы знаете, — парировал Саша, — даже в тринадцать лет девушке может быть неприятно, когда упоминают ее возраст». — «Он держит удар! — радостно сообщил Сильвестр ведущему актеру. — И кто же первым спросит — почему я позвал вас в столь поздний час? Или, если следовать ритму шекспировского стиха — в час столь поздний?.. Я все искал, я все решал — как должна пройти первая встреча Ромео и Джульетты? И подумал — а может, вы сыграете первую встречу голыми?»

Александр метнул взгляд на Сергея, увидел, как задумчиво его чело, и тут же, как хамелеон, стал впитывать флюиды его задумчивости. Уже через пятнадцать секунд перед режиссером стояли два артиста, меланхолически погруженные в парадоксальную привлекательность его предложения.

— А что? Можно попробовать, — нарушил тишину Сергей. — Но, простите, что я сразу об этом говорю, публика впервые увидит меня в таком виде, а потому гонорар...

Сергей упомянул о гонораре исключительно из гонора. Для него самым важным было — играть. Но для поддержания статуса напомнил, что он создание высокооплачиваемое. А уж в голом виде и вовсе может рассчитывать на сверхдоходы. Режиссер его желание признал законным.

— Безусловно, Сережа, безусловно!

— Быть может, возникнет художественный контраст: возвышенный шекспировский стих и наша прозаическая обнаженность? — собрался с духом и вставил что-то искусствоведческое Александр.

— И к тому же эта обнаженность намекнет на обнаженность душ Ромео и Джульетты в момент первой встречи. — Сергей решил, что последнее слово должно все-таки остаться за ним.

Сильвестр захохотал.

— Голубчики! Вот настоящие артисты! Расцеловал бы вас, да в контексте всего сказанного мой порыв можно неправильно истолковать. Ну что, разденетесь на сцене?

Александр и Сергей кивнули. С того момента, как они синхронно подпрыгивали в машине, им легко давалась одновременность действий. Режиссер задумался.

— Ни в коем случае мы этого делать не будем! — отрезал он. И в одно мгновение, столь же синхронно, Саша с Сергеем почувствовали себя круглыми — круглее нельзя — дураками. Сергей быстро оправился от этого чувства и забыл о нем, Саша же пережил его глубоко, и забыть уже не смог.

Режиссер решительным шагом прошелся вдоль бутылочных полок:

— Сыграть Ромео и Джульетту голыми — значит уступить современному вкусу. Ваше молчание задает вопрос: а нет ли уступки уже в том, что мы Джульетту сделали мужчиной? Только идиот увидит в этом потакание современным гей-течениям, которые я, кстати, ненавижу всем своим гомофобским сердцем. — Сильвестр показал на свое сердце указательным пальцем левой руки, как бы обозначая территорию, где сосредоточена его гомофобия. — Все гораздо глубже! Мы покажем, какие метаморфозы происходят с полом — мужским и женским. В первую очередь — с мужским. Почему современные мужчины беззаветно влюбляются в роли статистов? Я не о театре говорю, а о жизни. Откуда такая страсть к подчинению? И все наши бунты — в пределах дозволенного? Примем двести грамм, и мы короли, а протрезвеем — снова прислуга? Ведь об этом ты так много думаешь, да, Александр? Потому я тебя и выбрал... Представьте орду ваших знакомых мужчин и подумайте — можно их назвать «сильный пол?» Вон как быстро вы согласились голыми по сцене скакать... Разве мужчины бы так поступили?

Сергей с достоинством устоял в пол. Александр стал смотреть в ту же точку с достоинством, как ему казалось, не меньшим. Сильвестр полюбовался на эту исполненную благородством парочку и приказал:

— Попробуем роли прямо сейчас. Я должен понять, куда направить полет.

И здесь, в подвале, в молчаливом присутствии вяленого мяса и винных бутылок, состоялась первая встреча Ромео и Джульетты.

...Ночью, покрывшись пятнами от волнения, Александр описал в дневнике все, что почувствовал во время репетиции: «Сергей преобразился. Я смотрел в его глаза и видел чудо зарождения любви. Ко мне. Через его восторг я сам стал преобразаться: я становился той девочкой, к которой он сейчас испытывает всепобеждающее чувство. Это чувство уничтожало прошлое, не оставляло права на выбор будущего. Сергей взял меня за руку. Его голос был чист и упрям:

Я ваших рук рукой коснулся грубой.  
Чтоб смыть кощунство, я даю обет:  
К угоднице спаломничают губы  
И зацелуют святотатства след.

И я зашептал, чувствуя, что позволю этому Ромео не только поцелуй:

Святой отец, пожатые рук законно.  
Пожатые рук — естественный привет.  
Паломники святыням бьют поклоны.  
Прикладываться надобности нет.

Я отстранил его, но постарался вложить в этот жест всю возможную противоречивость: уйти, чтобы остаться, отдалиться, чтобы стать ближе. Испытанные мной чувства... Разве я могу кому-нибудь о них рассказать?»

Сильвестр Андреев был недоволен игрой — сцена шла к финалу, а его усы печально опускались.

— Качественно, но без полета. Нет какой-то неправильности, огреха... Пока,

как говорил один зануда: «Не верю!» Вы всего лишь сочувствуете ролям, а не чувствуете их. Я знаю, что поможет вам превратить сочувствие в чувство... Не бойтесь! Совокупляться не заставляю. А вот брак вам заключить придется. Ну, что вы так лица вытянули? Уверяю вас, после этой церемонии ваши роли пойдут великолепно! Я все продумал, смотрите...

И тут Саша и Сергей поняли, зачем приехали на дачу к режиссеру в столь поздний час.

В течение следующих двадцати минут говорил только Сильвестр. Венчание будет тайным. Пройдет в католической церкви. Он уже обо всем договорился. Пресса исключается, само собой. Только родные и близкие, которых мы должны, во избежание инфарктов, предупредить о сугубо театральном характере церемонии.

«Пройдя через ритуал венчания, через наши поздравления и тосты, вы преобразитесь и будете готовы играть по-настоящему. Ваша эмоциональная жизнь получит грандиозную встряску! Включатся механизмы, которые сейчас дремлют. Вы поверите в то, что близость и любовь меж вами возможна и необходима, освящена законом, Богом и людьми. А поскольку, с другой стороны, я надеюсь, такое для вас недопустимо, это противоречие создаст художественное напряжение огромной силы! Зрители будут ощущать его даже, когда вы будете бессловесны и бездвигжны».

— Ты, Саша, должен дать роли возможность впитаться в тебя. Тогда ты почувствуешь, как в тебе вырастает другое сознание, появляется иная душа. И тебе придется отдавать ей все больше, все больше пространства. И если паразит, заселенный в тебя мною и Шекспиром, не принесет тебе невиданного наслаждения, тогда считай, что я потерпел фиаско как режиссер. А такого за почти сорок лет моей театральной жизни не было! Я обращаюсь только к тебе, потому что Сергей великолепно знает, о каком наслаждении я говорю. Его мне убеждать не надо. А тебя?

— И меня не надо. Уже...

— Брависсимо! — закричал режиссер и добавил почему-то. — Бель канто! Дорогие мои! — говорил-колдовал-восклицал Сильвестр. — Мы вас так опоэтизируем, что даже такие гомофобы, как я, видя вас на сцене, воскликнут: «Вот это Любовь!» Такая Любовь бессмертна. Ради нее стоит жить, ради нее стоит умереть!

...Александр и Сергей ехали в Москву в полном молчании, иногда, при резких поворотах, касаясь друг друга плечами. С ужасом и восторгом Саша ощущал все возрастающую нежность к Сергею. Преображенский ничего подобного не чувствовал: он был высококлассным актером. Он подумывал: а не уйти ли ему из театра, который возглавляет пусть гениальный, но самодур? Но знал, что не сделает этого: актерский инстинкт был против. Сергей чувствовал: через тернии он снова проберется к звездам. И еще прочнее утвердится в статусе звезды.

Александр приехал домой, схватил дневник и стал лихорадочно описывать свои чувства.

...Прошла неделя — она и отделила осень от зимы.

Снег перестал таять.

Александр был счастлив: «паразит», заселенный в него Шекспиром, становился все влиятельнее.

Наташа приглядывалась к Александру все настороженнее, с подозрением слушая участившиеся комплименты.

Холодная, депрессивная Москва гнала Наташу, как и тысячи других краснополых существ, в светящиеся магазины. Там она, вместе с другими потерянными женщинами, утешалась шопингом. Покупала вещи себе, порой покупала подарки Александру. А он с какой-то лихорадочной частотой дарил ей цветы, дарил недорогие вещи. А в один прекрасный день даже дал ей ключ от своей квартиры. Так он пытался доказать себе, что театральные чувства не влияют на его жизнь.

### *Отравление несыгранными ролями*

Сергей Преображенский думал об Александре, сидя в своей комнате. Вспоминая его трепетную игру, его томные взоры, Сергей нервно постукивал пальцами по письменному столу. Он с некоторым недовольством думал о том, что коллега вырвался в своих чувствах далеко за пределы роли.

«Но в конце концов, — решил Сергей, — каждый входит в роль так глубоко, как может... Да и чем мне помешает это Сашино... наваждение?»

Преображенский перестал наконец барабанить по столу. Почувствовал, что тело просит действий. Встал, несколько раз наклонился, прикасаясь к полу кончиками пальцев, и невольно залюбовался своими руками — тонкими, аристократически бледными. Он распрямился и почувствовал, что тело стало гораздо оптимистичней. Подошел к окну и посмотрел вниз.

Во дворе, под фонарем, разгребал снег дворник-узбек. Возраст его определить было трудно — что-то около сорока. Он монотонно двигал лопатой.

Сергей представил, как этот немолодой уже мужчина коротким и кротким шагом возвращается в свою каморку, где царит полумрак; как на дырявом коврике он творит молитву; как, пожевав невкусную лепешку, ложится на твердую кровать, застеленную грязным тряпьем. И тяжело засыпает, сложив, словно покойник, руки на груди. А завтра, кряхтя, он встанет, так же тихо помолится на коврике никогда не отвечающему ему Богу, наденет тулуп на свое тело, рожденное для узбекского солнца, а не для московского смога, и так же безулыбчиво, безрадостно пойдет убирать новый снег. А вечером все повторится: коврик, молитва, лепешка, рваное белье и тяжелый сон.

Сергей сгорбился, лицо его внезапно потемнело и сжалось, глаза потускнели, и он сделал несколько широких движений руками — так, словно убирал лопатой снег. Потом снова посмотрел вниз: узбек стоял под тем же фонарем и продолжал монотонные движения.

Сергей перевел взгляд на собаку, которая разрывала снег мордой и лапами — искала еду под соседним фонарем.

Преображенский подумал: «Если я когда-то стану играть собаку (жадный до ролей Преображенский почувствовал, как ему не хватало роли собаки), то нужно будет сконцентрировать энергию в верхней части тела. Наверное, прямо в

голове? Потому что защищаться и нападать, подавать сигналы любви и ненависти собака может только ею».

Сергей шагал по комнате, обдумывая, как бы он играл собаку: «Она головой производит все жизненно важные действия: излечивает раны, наносит раны, добывает пищу, предупреждает, что она зла и собирается напасть, что она рада и намерена любить... Можно ли играть собаку, стоя вертикально? Нет. Вертикально — ни в коем случае. С какой же стати в Детском театре актеры играют собак, всех этих Тузиков и Жучек, стоя на ногах? Надо спросить у Ганеля: неужели ни один не потребовал играть на четвереньках? Получается, что они заставляли своих собак всю жизнь ходить на задних лапах?

Сергей встал на четвереньки. Замер. Все оказалось совсем не так, как он думал. Никаких перемещений всего на свете в верхнюю часть тела не требовалось. Это оказалось полнейшим теоретическим бредом. Сколько раз он себе говорил, что не надо думать, а надо сразу пробовать, пробовать, пробовать!

Едва он встал на четвереньки, как начал быстро-быстро раскапывать руками-лапами пищу. Головой — только слегка помогал. И вдруг почувствовал холод снега и голод желудка. Почувствовал, как нещадно морозит ветер правый бок. И ощутил огромную, как этот пустой двор, как этот мир, тоску. Настоящую собачью тоску. И собачье одиночество.

Он почувствовал, как поднимается глухая ненависть к снегу, что скрывает еду, к ветру, что морозит бока, к домам, в которых люди копят и не отдают тепло. Еще была надежда, что хоть сегодня вечером этот человек, который зачем-то перекладывает снег с места на место, заберет его к себе на ночь, хоть на одну ночь. Из глубин его существа стало высвобождаться протяжное скуление. Нарастало. Превращалось в вой.

Долгий, полный тоски вой одного из лучших актеров российского театра совпал с завыванием собаки: за минуту до этого она трусливо подкралась к дворнику в надежде, что он заметит ее, и, быть может, даст какой-то еды. Но дворник не одобрил собачий порыв, и лениво, но не шутя, замахнулся на нее лопатой. И она, подвывая от обиды и страха, отбежала к соседнему фонарю.

Сергей был счастлив: его вой не только совпал во времени с воем собаки. Даже некоторые ноты у них звучали одинаково! Он поднялся с четверенек, опасаясь, что жена, услышав вой, зайдет в комнату.

Жена боготворила его, но внезапные перевоплощения не любила. Называла их «превращениями». Но она понимала, что самым страшным наказанием для мужа был бы запрет на «превращения». Оставаться всего лишь самим собой? Если бы такое насилие над его природой стало возможным, он бы умер. А в свидетельстве о смерти написали бы: «Отравлен несыгранными ролями».

Изгнав из своего ума и тела собачьи повадки и собачью тоску и дождавшись, пока сердцебиение утихнет, Сергей снова подошел к окну.

С неба огромными хлопьями повалил снег. Дворник со злобой, как показалось Сергею, смотрел по сторонам: его работу уничтожала белая красота. Собака, так ничего и не раскопав, взвыла скорбно, безнадежно. Сергей по ее интонации понял: она разуверилась, что дворник когда-нибудь пригласит ее в свой рай, в свою лачугу.

Собака метнулась во тьму и исчезла.

А узбек стоял, осыпaeмый снегом. Лопата в его руках постепенно становилась похожа на посох, а он — на темнокожего, южного Деда Мороза.



## *Дома, в ванной забываться будешь*

Репетиции шли, венчание приближалось.

С господином Ганелем у Александра установились ровные, приятельские отношения. Они больше не устраивали совместных застолий, но всегда интересовались делами друг друга. А вот с Сергеем отношения непоправимо испортились.

Когда Преображенский останавливал на нем взгляд, Саша чувствовал волнение, подобное тому, какое испытывал в первые встречи с Наташей.

Саше нравилось, как Сергей проводит рукой по волнистым волосам, как трогательно нервничает, когда забывает слова, как прячет за показным демократизмом в общении свою искреннюю убежденность в том, что нет на земле актера лучше него.

Наблюдая, как Александр наполняется нежностью в присутствии партнера, Сильвестр испытывал сложные чувства. Роли это пока не вредило. И потому режиссер запретил себе отпускать остроты на этот счет.

Вопрос «Что в наше время происходит с мужчинами?», который для себя (и попутно — для зрителя) разрешал режиссер, стал еще более актуальным из-за метаморфоз, происходящих с Сашей. Однажды Сильвестр сказал Иосифу: «Знаешь, похоже, ты был прав насчет Саши. Очень любопытный организм. Он какие-то тревожные сигналы со сцены посылает. Кажется, мужское исчезает совсем, а на его месте возникает какая-то страшная бесполость, что ли? Не знаю, как сказать точнее. Но в некоторых моментах он меня завораживает».

На одной из репетиций Сильвестр заметил, что голос Саши становится все выше, подбирается к женским тонам.

— Саша, прекрати! Это пошло! Говори своим голосом, не пищи!

— Я непроизвольно, — прошептал Саша.

— А ты следи за собой. На сцене надо контролировать себя. Дома, в ванной забываться будешь.

После этой выволочки Сильвестр сделал перерыв раньше намеченного срока — намеренно, чтобы не смазать впечатление от публичного унижения Александра.

Грустный и растерянный, спустился Александр в буфет. Актеры сидели — кто парами, кто по трое, Преображенский же сидел один за столиком и учил роль. Александр набрался смелости, подсел к нему и зачем-то поздоровался. Сергей ответил сухим кивком головы — для него, всегда приветливого, намеренно лучезарного, это было выражением неприязни. Александр это и заметил, и почувствовал, но не мог оторвать взгляд от красивых рук Преображенского. Сергей пил кофе (бледная рука поднимала чашку, подносила к губам, опускала чашку) и читал роль (длинные пальцы еле заметно шевелились на листе бумаги). Александр закрыл глаза, и вдруг ему почудилось, что он видит, как над бескрайней гладью воды собирается дождь. Александру вдруг стало легко и просторно, он видел, как первые капли падают в воду, исчезают в ней, на смену им летят другие, исчезают, летят другие, исчезают, летят... Он знал, что стоит ему открыть глаза, он увидит Сергея, его руки, в которых чашка и роль.

Преображенский заметил, что Саша мечтательно сомкнул ресницы, и понял, как комично-неприлично выглядят они сейчас со стороны. Он встал из-за

стола и, пройдя мимо ехидно улыбавшихся коллег, вышел из буфета. Когда Александр открыл глаза, то увидел: пустой стол, на нем — чашка с черной водой, испускающая белый пар.

Скандал назревал, копился и прорвался на репетиции сцены на балконе. Декорации еще не были готовы, костюмы тоже. «И слава Богу! — думал Сергей. — Не хватало только, чтоб этот малохольный объяснялся мне в любви в женском платье!» Александр вышел на авансцену, и, в свете одинокого луча, простонал: «О горе мне!» Сергей, мобилизуя весь свой талант и профессионализм, призвав на помощь стремительно покидающее его самообладание, произнес:

Проговорила что-то. Светлый ангел,  
Во мраке над моею головой  
Ты реешь, как крылатый вестник неба  
Вверху, на недоступной высоте,  
Над изумленной толпой народа,  
Которая следит за ним с земли.

Толпа следила не с земли, а из зрительного зала: актеры специально собрались полюбоваться на эту сцену.

Саша повернулся к Сергею лицом. Чем томнее смотрел он на Сергея, тем больше тихих, но злобных острот летело из зала на сцену. Даже присутствие Сильвестра не останавливало актеров — ведь они были в толпе, найти виновника невозможно, а наказывать всю труппу режиссер не станет.

Хохот посверкивал то слева, то справа, то из самой гущи актерской стаи. Сергей остановился и громко сказал:

— Сильвестр Андреевич, это становится невыносимым.

Режиссер выдержал паузу.

— Репетиция окончена. А вы, Александр, зайдите ко мне в кабинет.

Внезапное «вы» обдало Сашу холодом, ведь Сильвестр всегда ему «тыкал», и это вызывало у актера чувство близости с Хозяином.

И вот он снова, как до судьбоносного назначения, стоял перед черной дверью. Помощница режиссера смотрела на Александра с почти непристойным любопытством: «Заходите. Он ждет. У него для вас пять минут».

Александр сразу почувствовал, что сидящий за большим столом Сильвестр не будет с ним ласков. Глаза режиссера, меняющие цвет в зависимости от эмоционального состояния, сейчас были черными. По крайней мере, Саше так показалось.

Справа от хозяина театра сидел Иосиф. Он, как подумал Александр, из принципа не смотрел на вошедшего актера, а что-то чертил в своем блокнотике.

— Не сходи с ума, — начал свою речь Сильвестр неожиданно тихо. — Любимого хочешь. Но, если ты будешь этой любовью ограничиваться, в одну секунду перестанешь быть Джульеттой. Играй! Не только чувствуй, а играй! Саша! Ты меня понял?

Услышав это «ты», Саша обрадовался, но нерешительно, робко, сомневаясь.

— То, что ты чувствуешь, — никакое не искусство, — шипел режиссер. — Это сиропчик из любви и нежности. Пей его дома! Зритель не придет полюбо-

ваться на то, как Саша Сережу полюбил. Зритель ходит в театр! И ты пока ходишь в ТЕАТР, а не в дом свиданий. Ты меня понял.

Последнюю фразу режиссер сказал утвердительно: точка в конце предложения обжалованию не подлежала. Но Саша, почти исчезая от страха, все же подал апелляцию:

— Не очень.

Негромко, медленно, отделяя одно слово от другого четкой, мгновенной паузой, Сильвестр произнес:

— Мне не нужны твои первичные чувства. То, что ты испытываешь сейчас, испорчено искренностью. Мне нужны другие твои чувства. В жизни таких нет. В жизни все впервые. Неисправимо и непредсказуемо. Бесстыльно и нехудожественно.

Как частенько случалось, режиссер вдохновился собственной речью. Александр обрадовался — робко, лишь краешком души, — что помог режиссеру обрести вдохновение. Тот продолжал, и речь его ускорялась, и пауз становилось меньше:

— Представь, что ты рассказываешь другу о случившемся с тобой горе — например, о смерти матери. Рассказываешь сразу после того, как твоя мать умерла. Ты захлебнешься слезами, ты все слова закапаешь солеными каплями, и они будут только одного вкуса — вкуса твоих слез. — Сильвестр отхлебнул воды из прозрачного стакана, не сводя с Саши черного взгляда. — Твоя речь сольется в один нечленораздельный вопль горя. Ни мощных образов, ни правильного ритма — ничего в такой момент ты не найдешь. Иначе и не может быть. Ведь ты говоришь о смерти матери с душой, переполненной горем. А значит, горе переполняет и тело, и лицо, а значит — ты ими не владеешь. Конечно, друг, видя твои слезы, будет взволнован — но это волнение ничего общего с искусством не имеет.

Саша слушал, пытаясь запомнить каждое слово, чтобы потом над всем этим поразмыслить — ведь сейчас, от перенапряжения и страха, он плохо усваивал режиссерскую речь.

А режиссер вошел в раж. Он встал с кресла и жестом попросил Иосифа перестать писать, а лишь внимать.

— А вот когда ты, через годы, будешь рассказывать о том, как умерла мать, вот тогда уже время и память будут на твоей стороне. На стороне твоей — я все еще надеюсь! — художественной натуры. Тогда ты, рассказывая об этой смерти, найдешь точные образы и ритмы, прорежешь свою речь великолепными паузами, отделишь одно слово от другого точно рассчитанными по времени и поставленными в нужном месте глубокими вздохами. И тогда уже заплачет тот, кто тебя слушает. А ты будешь полностью владеть собой — лицом своим и телом, ситуацией и эмоциями зрителя. И это первый, робкий шаг к искусству. Если, Саша, ты скажешь, что и сейчас меня не понял, я сниму тебя с роли.

Саша кивнул и вышел из кабинета, едва живой от позора.

Когда черная дверь захлопнулась, Иосиф спросил режиссера:

— Ты же этого вроде и добивался, Сильвестр? Джульетта полюбила Ромео. За что же ты его так?

— Иосиф! Не делай вид, что не слышал, о чем я только что говорил.

— Зачем тогда венчание?

— Иосиф! — закричал режиссер и резко вскочил. Черное кресло закачалось. — Я что, хотел, чтоб между ними реальная любовь заполыхала?

— Ах, нереальная... — Иосиф растянул тонкие губы в улыбку.

— Именно что нереальная! Должен был возникнуть сплав самых противоречивых чувств! А здесь все так однозначно, что я уже сомневаюсь, что венчание необходимо. Он ведь тогда и вправду решит, что их Бог соединил? Иосиф! Я сводник или режиссер? То-то! Этот блаженный устроил из моей идеи балаган. Надо найти ему замену. А потом уж... — Сильвестр сделал движение ладонью по горлу, с удовольствием показывая, как он отрежет голову актеру, обесчестившему его гениальную идею.

Саша, едва пришел домой, бросился к дневнику. Он называл это «чувствопись». Описав сегодняшнюю сцену с Сильвестром, и выразив надежду, что доверие режиссера к нему восстановится, Саша подошел к теме, которая его все больше волновала: «Я иногда вспоминаю моего зверька — мою ненависть к Сергею. Теперь его нет и в помине. Мне доставляет наслаждение играть любовь к одному человеку, любовь, к которой не примешаны другие люди. Воскресает моя вера в необратимость выбора. Не странно ли, что, играя на сцене, я понял, как мне надоела бесконечная любовная игра, которую я обречен вести в жизни? Может ли профессиональный театр разоблачить тот театр, в котором мы все служим — вольно и невольно? То, что происходит с героями Шекспира — абсолютно. И навечно. А в моей жизни все относительно. И — на минуточку. Сейчас для меня сцена — место, где отменяется противоречивость. Где на смену раздробленности приходит цельность. Кто сможет меня убедить, что это всего лишь игра?»

### *Но я так чувствую...*

Дверь в квартиру Александра Наташа открыла своим ключом. Она быстро сняла пальто, сапоги, шапку и прошла в комнату, где ее ждал Александр. Он сразу отметил, что, вопреки обыкновению, она не пошла сначала в ванну, чтобы помыть руки. «Что-то случилось», — понял он.

— Саша! — Она по-наполеоновски сложила руки на груди (этот жест он видел у нее впервые). — Ты любишь кого-то, кроме меня?

Саша смутился, но перешел в наступление.

— Это твой муж попросил у меня поинтересоваться?

— То есть ответ утвердительный. Превосходно. А почему ты мне сразу об этом не сказал? Я же не прячу от тебя своих отношений с Денисом.

— И я ничего не прячу. Мне нечего прятать.

— Не скромничай. Мне сейчас подруга рассказала. Весь театр, оказывается, только об этом и говорит...

— О чем говорит весь театр? — бледнея, переспросил Александр.

— Что ты влюблен, — выстрелила она.

— Я?

Вялое, слабое, робкое «я» разозлило Наташу.

— Я даже не знаю, как к этому относиться. Во-первых, я ревновать не имею права. Во-вторых, это такой странный объект для ревности!

Саша вспыхнул.

— Просто я хороший актер. Ты же сама актриса. Ты ведь не станешь ревновать меня к чувствам, которые я испытываю на сцене? Только на сцене!

— Да-да, наверное, поэтому Сергей тебя избегает и всем говорит, что ему противен твой взгляд! Твое совершенно позорное ожидание! Ожидание чего, скажи мне?

— Он так говорит? Противный взгляд?

Наташа увидела, что сделала ему больно и пришла в замешательство. Агрессия, которой она была наполнена, требовала, чтобы ей противостояли. А страдающий взгляд обезоруживал.

— Откуда ты знаешь, что он так говорит? — повторил вопрос Александр, и голос его дрожал.

— Саша, ты хоть понимаешь, о чем ты меня спрашиваешь? — тихо спросила Наташа. — Что означает твой вопрос? Нет? А я понимаю. Нет. Не понимаю пока. Но вижу, что нам есть о чем поговорить.

Александр посмотрел на нее: его глаза просили сострадания. Слабая натура не выдерживала столь сложных эмоций. В одной точке, сейчас, сошлись любовь к мужчине и женщине, и ощущение, что он завис между успехом и провалом. Один маленький толчок, и он снова свалится в пропасть неизвестности. Не в силах выразить чудовищный сплав чувств и мыслей, он сел на стул и опустил голову — так, словно его только что приговорили к казни.

— Я так хотел сыграть эту роль, — начал он, не поднимая головы, — что, кажется, слишком вошел в нее.

— Иными словами, ты...

Наташа сделала паузу, боясь, что, если она выговорит эти слова, они захватят власть над их жизнью. Помедлив, она все же произнесла:

— Иными словами ты... ты полюбил мужчину?

— Я полюбил Ромео.

— Ты дурак?

— Мне плохо.

— Да? А, по-моему, тебе очень хорошо! — Агрессия снова вступила в свои права.

Александр, устремив глаза в пол, медленно побрел в ванную. Открыл воду. Он хотел пролить переполнявшие его чувства слезами, чтобы успокоиться. Но слезы, которые были готовы пролиться в комнате, в присутствии любовницы, сейчас отхлынули куда-то вглубь. Пока Саша в ванной пытался зарыдать, Наташа словно впервые, оглядывала комнату, где провела столько вечеров, столько ночей.

Александр тем временем понял, что ванная не примет его слез, и вышел к Наташе.

— Я даже не знаю... — Она медленно разглядывала его, словно видела впервые. — Как к этому относиться? Как к тебе относиться? Теперь...

— Наташа... — Его голос прерывался, но Александр им все же овладел. — Пойми... Даже неразделенная любовь не так мучительна... как любовь не до конца разделенная. Наташа, если бы ты ушла от мужа, я бы никогда не стал делить своей любви к тебе. Но ты не хотела... А я хотел... неотменимой, единственной, одной любви... Хочешь почитать мой дневник?

— Нет! Ни в коем случае! — крикнула она. И неосознанно отступила на шаг

от Александра. Увидев это, он почувствовал, как слезы снова подбираются к глазам.

— Наташа... ты пойми, к этому нельзя ревновать... Я искал того, чего у меня никогда не было. Если бы ты осталась только со мной, если бы дала мне хоть раз в жизни почувствовать, что любят только меня. Только!

— Саша! Ты! В поисках настоящей любви! Влюбился в мужчину? Влюбился на сцене?

— Я, кажется, понимаю, сейчас, да, что, да, это глупо...

— Глупо!

— Но я так чувствую. — И слезы, которые отказывались течь в ванной, хлынули из глаз Александра.

Наташа, не отрываясь, смотрела на этот поток: Саша не отворачивался, не вытирал слез рукой. Так они стояли несколько минут в полном молчании: страдание Саши просило прощения, требовало снисхождения. И обвиняло ее. Это ее нерушимый союз с мужем виноват в странной влюбленности Саши. Она вторглась в его душу, а теперь полагает, что может с брезгливостью отвернуться?

Парадоксальным образом («Алхимия чувств», как бы сказал совершенно уместно упоминаемый в данных обстоятельствах Оскар Уайльд) она ощутила, насколько близким стал ей этот, не скрывающий своих слез, идущий путем неудач, актер. Она — а как иначе? — обняла его. Он попытался что-то сказать сквозь слезы, но она прикрыла ему рот ладонью.

Что бы там ни было, а близость их — нерушима.

Наташа шла домой, шла к мужу, и чувствовала, что на пороге ее жизни толпятся новые события, что они вот-вот ворвутся и унесут ее. Но она сама должна открыть дверь. К влюбленности Александра она испытывала не только гадливость. Она ощутила жгучую ревность. Сама мысль, что Саша любит кого-то, кроме нее, казалась ей нестерпимой. Как положить конец его странной влюбленности? Он сам ей об этом сказал.

Она увидела и бесспорное доказательство того, что Саша — плоть от плоти театра, где ей так хочется оказаться. Театр оказывает на него чудесное, нет, чудовищное влияние, а значит, и Александр имеет влияние на театр. Его любовь к Преображенскому парадоксальным образом обещала Наташе, что ее актерская жизнь может сложиться удачно. Влюбленность Саши вызывала в ней ревность, ускоряла уход от мужа и дарила надежду на будущее, овеянное славой.

И снова, снова и снова возвращалась мысль — «это мой год».

Наташа дождалась, когда в спальне утихли вздохи мужа, которому она безапелляционно сообщила о разводе. Оставила недопитой восьмую кружку кофе и прошла в ванную. Открыла воду. Конспирация была излишней: плакала Наташа беззвучно. Она стояла на том же месте и даже в той же позе, в какой недавно стоял Саша. Утро: ванная Саши, не принявшая его слез. Вечер: ванная Наташи, принявшая ее слезы.

Жизнь рифмует себе и рифмует, не задумываясь, что словам, попадающим в лапы ее стихотворства, может быть больно.

На следующее утро Денис Михайлович не нашел ничего лучшего, как игриво осведомиться:

— Твои слова про развод — это разводка?

С легкостью включаясь в ее любимую игру словами, он стремился показать жене, что она остается самым близким для него человеком, и он не хочет эту близость терять.

— Нет, не разводка.

Он вдруг сообразил, что она избегает называть его по имени, давно избегает. Когда это началось? И почему он не заметил этого раньше?

— Ты помнишь, я сделал тебе предложение тоже в момент... как бы сказать... в момент, когда ты жонглировала словами. Ты говорила: «Я люблю соединять разные слова. Сочетать их — сочетать браком».

Наташа разглядывала скатерть на столе.

— Я тогда совсем ничего не понял... — продолжал Денис Михайлович. — В общем-то, я и сейчас мало что понимаю. Но тогда я ухватился за слово «брак» и предложил тебе... Ты не отказалась, здорово, спасибо...

Наташа разглядывала скатерть.

— И вот теперь я так, для рифмы, что ли, решил тоже поиграть — развод-разводка, развод — разводка... чтобы и вначале, и... и в конце... были, ну, словесные выкрутасы, что ли... Закольцовываем брак, — улыбнулся он уже совсем беспомощно.

Наташа наконец-то ответила. Голосом пустым, бесцветным:

— Мне кажется, те слова, которые я тогда сочетала браком, никакой пользы этому браку не принесли.

— Не говори о нас метафорами, ладно? Это обижает.

— Денис! — Его имя прозвучало в ее устах отвратительно. Он даже отпрянул — настолько неприятен был ему этот звук. — Наш развод — это развод. Здесь нет метафор.

Денис Михайлович, так сильно любящий жену, не понимал ее совсем. Если бы ему стало известно, как Наташа провела эту ночь, он бы изумился. Если бы ему сказали, что эта жесткость и даже жестокость — следствие того, что Наташа боится утратить решимость, он бы изумился еще больше. Оскорбить его показным равнодушием она хотела для того, чтобы не дать ему попытаться ее вернуть.

Наташа вышла из кухни и направилась в свою комнату. Собрав вещи в неправдоподобной величины чемодан, не прощаясь с мужем, она закрыла за собой дверь. Как полагала, навсегда.

Услышав щелчок, Денис Михайлович почему-то на цыпочках прошел в прихожую и надолго уперся взглядом в обитую черным, с двумя серебристыми замками, изящной медной ручкой дверь.

У него вдруг возникло ощущение, что эта дверь захлопнулась давно, многие месяцы, даже годы назад, а он почему-то лишь сейчас это заметил.

...Марсик лениво поглядывал на хозяина и его женщину, которая пришла ночью — с таким решительным видом, и с таким тяжелым чемоданом. Кот изящно прыгнул, и приземлился в самом центре чемодана. Свернулся клубком и стал наблюдать за Александром и Наташей.

Ничего особенного в этот вечер Марсик не приметил.



## *Не перебивай мои паузы*

Сергей и Александр на репетициях объяснялись друг другу в любви, давали клятвы, а когда Сильвестр объявлял «На сегодня все!», расходились, стараясь не встречаться глазами. Единственные слова, которыми они обменялись за несколько десятков репетиций — «добрый день» и «до встречи». Все остальное — пламенные диалоги Ромео и Джульетты.

Александр показная легкость — в общении с коллегами, во время репетиций, — давалась с большим трудом. Тут бы самое время ему вспомнить про парадоксы легкости и тяжести, но он больше не обращался к этой символике. Она устарела. Вместе с ней потеряли остроту и его переживания начет аборта. Утратила власть и навязчивая идея, что они с Марсиком проживают какую-то единую судьбу.

Все, о чем он думал в прошлом, покрылось какой-то странной, музейной пылью. В музее оказалась и ненависть к Сергею. Чучело задушенного зверька стояло в самом темном зале, на самом непочетном месте — туда Александр не заходил. Он попытался сдать в музей и чувство к Сергею, но сделать этого не смог. Мешала роль, необходимость любить «своего Ромео». В этом чувстве все еще таилась энергия взрыва.

А потому, когда в коридоре он заметил Преображенского, стоящего у его гримерки, то замедлил шаг, пытаясь совладать с чувствами.

Сергей смотрел на Александра, как не смотрел уже давно — хотя и с некоторой опаской, но без неловкости. Александр подошел ближе, и Сергей протянул ему ладонь для рукопожатия.

— Привет. — Александр как можно более небрежно и, пытаясь улыбнуться равнодушно, пожал протянутую ему руку. Сердце застучало в пальцах, и он быстро высвободил их.

— Привет. — Почувствовав дрожь в Сашиных пальцах, Сергей смутился, и от смущения начал говорить деловым голосом: — Слушай, я тебя кое о чем хочу попросить. Зайдем к тебе на минутку?

— Конечно, конечно, — Александр вставил в замок ключ, повернул его, распахнул дверь и жестом пригласил Сергея.

— Садись. — Александр кивнул на пожилое, издававшее виды кресло.

— Нет, я и правда на минутку. Я вот о чем... Ты как вообще?

— Я нормально, — ответил Александр. Если чувство к Сергею вспыхнет снова — всему конец. И его карьере в театре, и отношениям с Наташей. А потому сейчас в нем преобладал страх, который, как ни странно, помогал поддерживать вожаемое равновесие чувств.

— Я так и думал, что нормально! Ты играешь все лучше, и без помех. — Сергей с царственной небрежностью отвесил комплимент.

— Да, — улыбнулся Александр, — теперь без помех.

— Тогда, — с заметным облегчением сказал Сергей, подхватывая его улыбку, — тогда послушай, — Сергей пристальнее взгляделся в Александра и окончательно убедился, что о деле можно говорить беспрепятственно, — Саша, ты на сцене так торопишься, что перебиваешь мои паузы.

— Твои паузы? — Александр, «плавающий в своих чувствах», настолько изумился, что прекратил заплыв.

— Только не говори, что ты думал, будто паузы общие, — сказал Сергей безо всякой иронии.

— Нет, но... Я как-то не думал, что они лично твои.

Они снова улыбнулись друг другу. Сергей неожиданно сел в кресло, от которого полминуты назад отказался. Напротив него, сняв теплую куртку и почему-то положив ее себе на колени, сел Александр.

— Нет, правда, — продолжал Сергей, и Александр, вслушиваясь в его интонации, начал верить: Сергей пришел, чтобы заключить мир. Чтобы забыть старое, — ты прямо атакуешь меня своими монологами. Побиваешь меня словами, как камнями. Понимаешь?

— Не вполне, — признался Александр.

— Вот, например, мне из-за тебя очень трудно дается сцена у Лоренцо. Где я, после твоих слов о любви... — Сергей с легким испугом посмотрел на Александра и решил сформулировать немного по-другому: — После слов Джульетты о любви мы стоим у брата Лоренцо. — Сергей поднялся с кресла, чтобы показать, как именно он стоит, и все его тело наполнилось нетерпеливой страстью. — Вот мы встретились. И Ромео, и Джульетта увиделись в келье, и оба так накалены, что Лоренцо боится оставить нас одних. И я говорю: «Скажи, Джульетта, так же ль у тебя от счастья бьется сердце?»

— Разве я оставляю тебе слишком маленькую паузу? — Александр слегка обиделся и спросил уже совсем укоризненно: — Разве сразу я тебе отвечаю?

— Саша! Ты вообще ничего не должен отвечать! Посмотри текст! Зачем ты говоришь «О да! О да!»?

Александр медленно и густо покраснел.

— Там вообще нет такой фразы! Это я привел самый яркий пример. Чтобы ты понял: ты не даешь мне говорить даже мои монологи.

— Извини, ты же знаешь, что я не специально...

Да, конечно, я знаю, что ты не хочешь навредить моей игре, иначе я не стал бы с тобой это обсуждать. В общем, постарайся давать мне возможность отыграть все паузы.

— Я тебя понял, Сережа... А могу я тебя спросить?

Сергей почувствовал, что сейчас может прозвучать какой-то интимный вопрос и решил не дать Саше возможности перевести разговор в опасную область.

— Да нечего спрашивать. — Он поднялся с кресла, которое на этот раз не издало ни звука, словно онемело. — Предлагаю репетировать так, будто этих, — Сергей замялся, подбирая наиболее мягкое слово, — этих событий вообще не было. Как думаешь?

— Я с радостью.

— Замечательно! — сказал Сергей и направился к выходу.

Сергей уже уходил, когда Александр запустил ему вслед:

— А вот на премьере, боюсь, не сдержусь. Все твои паузы зарежу.

Он просто хотел еще на минуту задержать Сергея, еще немного порадоваться, что они помирились. Но Сергей обернулся и так зло глянул на Сашу, что тот еле удержался, чтобы не отпрянуть.

— Сережа, я же пошутил. Конечно, на премьере я буду думать только о том, чтобы ты смог сыграть все паузы... — Преображенский нахмурился еще сильнее: его брови почти соприкоснулись. — Извини, это, наверное, нервное, нервное, наверное...

Сергей улыбнулся — несколько официальной, чем того бы хотелось Александру, и вышел из примерки.

Саша решил наконец-то повесить куртку, которую все еще держал в руках. Насадил ее на крючок. «Все ве-ли-ко-леп-но!» — произнес он довольно громко, обращаясь к куртке.

С Сергеем устанавливались ровные отношения. И Наташа теперь жила с ним. Их жизнь шла очень сложно, но — Наташа жила с ним.

## *Вы, гражданин, белугой не прикидывайтесь*

Пока Александр сидел в примерной, помощница режиссера Светлана вбежала в кабинет Сильвестра без стука.

— В чем дело? Пожар в театре? — Андреев, писавший что-то в блокнот, был раздосадован, что течение мысли прервано. Но он знал: Светлана врывается в кабинет, только если случается нечто чрезвычайное.

— Сильвестр Андреевич! — Светлана остановилась. Вызволить тревожную новость сразу, на одном выдохе, у нее не получилось. Подойдя вплотную к столу и глядя испуганно-влюбленным взглядом на Сильвестра, она собиралась с духом. Сильвестр проникся ее волнением.

— Ну же, Света, выпускай неприятности на волю, — нетерпеливо сказал он.

— Ипполит Карлович в Москве, — выдохнула Света.

— Как? — Андреев отбросил блокнот и вскочил. — Он же еще месяц должен быть в Лондоне! — Светлана видела, что эта новость ошеломила Сильвестра даже сильнее, чем она предполагала. — Он что, в театр едет? Он тебе звонил?

— Нет, что он в Москве я узнала по своим каналам.

Светлана никогда, тем более в критических ситуациях, не упускала случая подчеркнуть существование неких «каналов».

Сильвестр надеялся, что успеет создать крамольный спектакль и выпустить премьеру до приезда спонсора театра. А если Ипполит Карлович приехал — ему наверняка донесут, что в театре, который он осыпает деньгами, репетируют спектакль морально сомнительный. Неприемлемый для Ипполита Карловича, несколько лет назад скоростижно впавшего в православие.

Сильвестр знал, что меценату так или иначе донесут о крамольном спектакле. Но меценату, находящему в Лондоне и далеко не каждый день интересующемуся опекаемым театром, было гораздо легче морочить голову. С его появлением в Москве эта счастливая возможность исчезла.

Сильвестр сел в кресло: нужно успокоиться. Перетасовав в уме варианты, он принял решение: «Поехать к Ипполиту Карловичу. опередить доброжелателей».

— Света, отмени репетицию! — сказал он и медленно, властно встал с кресла. Совсем не так, как вскочил с него пять минут назад, растерянный и взволнованный. — Я поеду к нему.

— Без звонка? — ужаснулась Светлана.

— По пути решу. Может, и предупрежу, а может, и нет. Если позвонить, он может перенести встречу. А если явлюсь внезапно — я уже гость. Незванный, но все-таки гость... — Сильвестр снова задумался и решил окончательно. — Нет, не звони ему. — Он подмигнул Светлане. — Сделаем старику сюрприз.

— Да не такой уж он и старик. — Светлана чувствовала, что игривый настрой режиссера, которым он побеждал свое волнение, положительно влияет и на нее. Когда Сильвестр начинал действовать, в нее вселялась непоколебимая уверенность, что все будет хорошо.

— Не такой уж старик? — насмешливо переспросил Сильвестр. — Светочка, с его деньгами и я бы выглядел на сорок семь лет моложе.

Светлана хотела спросить — почему именно на сорок семь? Но не стала отвлекать режиссера праздными вопросами и с подчеркнутой учтивостью вышла из кабинета. Тут же звонком предупредила шофера, что Сильвестр срочно должен уехать.

Через три минуты режиссер быстрым шагом вышел из театра и сел в машину. Она тронулась, едва Сильвестр захлопнул дверь.

Поскольку слух о приезде Ипполита Карловича уже просочился в театр, самые прозорливые актеры связали с этим внезапный отъезд режиссера, и коллективное воображение приступило к работе.

Актеры слонялись по театру, переходили из одной гримерной в другую, заходили в буфет, подбадривали воображение водочкой, собирались стайками за кулисами, и снова рассеивались по гримерным. Загадочный полусшепот раздавался отовсюду. Артисты, причисляющие себя к особо осведомленным, говорили с интонацией людей, посвященных в государственные тайны. Голос повышал только Семен Балабанов: «Что же будет теперь, люди?» — грохотал он. Его просили сделать звук потише, он выполнял просьбу, но уже через пару минут раздражался новыми восклицаниями.

Уехал Сильвестр в одиннадцать утра, а в три уже все знали как было дело. «Утром наш позвонил Ипполиту Карловичу, а тот в страшном гневе: «Срочно приезжай! Не медли ни секунды!»

В пять часов сплетня приобрела более угрожающие формы. Звонил уже не Сильвестр, а разгневанный Ипполит Карлович. «Позвонил Ипполит нашему прямо на мобильный. Трубка от крика чуть не лопнула! "Что ты творишь, падло! Срочно ко мне!"»

Сплетня восьми часов: «В три часа ночи Ипполит Карлович разбудил Сильвестра. Зарычал в трубку, как леопард, нет, как самка леопарда, а они страшнее: "Я завтра же позвоню министру, и тебя мигом уволят! Падло!" Но только никому об этом!» — и артисты прикладывали пальцы к губам: «Тссс...»

И, наконец, в девять часов вечера родилась последняя сплетня.

Старичок-актер, уже лет двадцать появлявшийся на сцене только в ролях старых, преданных своим господам, слуг, слегка пришепetyвая и неустанно поправляя правой рукой остатки седых волос, поведал собравшимся: «Утром в театр приехала машина. Вышли люди — штатские, но по лицам было видно, из какой они организации. Сильвестр это почувствовал, схватился за сердце». Старый актер, закатив глаза, показал, как Сильвестр схватился за левую грудь. В группе актеров кто-то хохотнул, что совершенно не смутило оратора.

— Люди штатские, но мы-то знаем, из какой они организации, говорят: «Поздно за сердце хвататься, Сильвестр Андреевич. Вы арестованы» — «За что?» — побледнел Сильвестр и стал хватать ртом воздух, как рыба на берегу.

Старый актер изобразил рыбу, выброшенную на берег: дико выпучил глаза и стал беспомощно открывать и закрывать рот. Хохот усилился, и снова не произвел в старике никакого смущения. Он продолжал:

— «Вы, гражданин, белугой не прикидывайтесь, — отвечают Сильвестру нашему мнимо штатские люди. — Вы нарушили статью такую-то, пункт такой-то, и поедете с нами». Ну, Светочка наша любимая, Сцилла Харибдовна наша, в слезы. А Сильвестр понял, что песня его спета. Попрощался с семьей по мобильному. «Ириша, поцелуй от меня дочь. — Старик сделал вид, что говорит по мобильному, показывая, как в голосе режиссера борются страх и нежелание беспокоить близких. — Если не вернусь, не отдавай малышку в театральный институт. Это к добру не приводит». Сказал так Сильвестр и сгинул вместе с штатскими людьми. Но мы-то знаем, из какой они организации.

Александр не помогал сплетне овладевать театром. Он сам недавно был жертвой пересудов. И сейчас, видя, каким чудовищем становится новость об отъезде Сильвестра к Ипполиту Карловичу, думал, каких же содомо-гоморрских образов насочиняли его коллеги, когда сплетничали о его влюбленности в Сергея.

Александр спускался на лифте, чтобы попасть в свою гримерку. Лифт остановился, медленно раздвинул двери, и Александр увидел господина Ганеля.

— Я вас ищу, я вас везде ищу! Я только что от Иосифа!

— Да? — Сашу кольнула ревность. — И что он вам говорил?

— Не важно, что он мне говорил! Важно, что я прочел в его голове.

— О боже, Ганель...

— Что боже? Что боже? Помните, как я угадал про Максика? Тогда, в ресторане?

— Про Марсика.

— Так почему же вы мне сейчас не верите?

— И что вы прочли?

— Только не надо так снисходительно! — разозлился господин Ганель.

— Я не снисходительно, я ведь тоже волнуюсь, сегодня такой нервный день.

— Иосиф хочет все разрушить. Он хочет сам — поверьте, я это ясно слышал, хоть он и молчал, — он хочет сам руководить театром!

Александр улыбнулся. Эта новость была из разряда фантастических. «Да, — подумал он, — вот и господина Ганеля наш театр с ума свел. Воображение убивает один разум за другим».

— Господин Ганель, вы меня простите, но теории заговора — это же пошло...

Карлик покраснел от гнева. Александр предпочел этого не заметить:

— Как Иосиф может справиться с Сильвестром?

— Я вам говорю точно! — нервно подергивая головой, уверял он Александра. — Он всех нас уничтожит! Всех! Надо срочно рассказать Сильвестру Андреевичу!

«Вот же нелепый какой человек! — подумал Александр, — ведь он, дурашка, и правда пойдет к Сильвестру со своей магией».

Господин Ганель вдруг вцепился в руку Александра так крепко, что тот вскрикнул.

— Ага! Вот так же он меня за руку взял, и я в одну секунду планы его узнал! Вот сейчас вы думаете, что я нелеп, да? Все! Читайте, я вам ничего не говорил! Можете спокойно погибать!

Господин Ганель злобными шажками удалялся по коридору.

— Пойдите! — крикнул ему вслед Александр. — Как же вы об этом скажете? Сильвестр вас на смех поднимет!

Господин Ганель остановился:

— Чтобы он меня «не поднял на смех», — противным голосом передразнил он Александра, — со мной должны пойти вы и доказать, что мои способности — не блеф.

— Надо все обдумать, господин Ганель.

— Чего тут думать! — Карлик в ярости топнул левой ногой. Поморщился от боли — он явно не рассчитал силу удара. Тем не менее он столь же яростно топнул правой ногой — с такой страстью, словно после этого удара должна разверзнуться земля. Александр не вынес этого зрелища и засмеялся. Услышав оскорбительный смех, карлик побагровел от гнева и удалился уже окончательно.

Александр вернулся в свою гримерку. Ему было неловко, что он обидел господина Ганеля, но его просьбу он выполнять не собирался. «Донос телепата — что-то новенькое. Я прочел мысли Иосифа, он подлец, прогоните его...»

Александр подошел к окну и стер рукавом влагу со стекла. Улица позвала его, и он ощутил, как устал за этот день. «В театре бог знает что творится, Ганель куда-то тащит, дружба Сергея как минное поле. Устал я».

Он вдруг захотел исчезнуть из пространства, где его разрывают противоречивыми требованиями. Пора было идти домой, идти к Наташе.

Но Александр все смотрел на укрывающуюся снегом улицу.

## *Твой кофе омерзителен*

А Иосиф тем временем восседал за компьютером. Готовился писать. Как всегда, когда тема казалась ему важной, он, не желая того, становился важным сам. Глаза смотрели в монитор, излучая мысль чрезвычайной глубины. Лоб хмурился так сильно, словно едва сдерживал напор идей.

Он сделал над клавиатурой несколько пассивных движений, отчего стал похож на пианиста, который разминает руки перед игрой. И вдруг ринулся на клавиши.

«Глубокоуважаемый Ипполит Карлович! Я бы не решился Вас побеспокоить, если бы не чрезвычайные обстоятельства».

«Нет, что-то не то», — Иосиф откинулся в кресле. Он внезапно застеснялся того, что собирался сделать. Повернулся к компьютеру вполборота, покосился на текст одним глазом и напечатал одним пальцем: «У меня информация, скрывать которую я считаю низостью».

Подумал: «Что-то от девятнадцатого века в этой фразе... Да ладно. Нормально». И застучал по клавишам одним пальцем, все еще продолжая немного стесняться того, что писал: «Режиссер Сильвестр Андреев за время вашего отсутствия довел вверенный ему государством, Богом и Вами театр до полного морального разложения».

Иосиф снова остановился и с недовольством, все еще сидя вполборота к компьютеру, перечитал текст. «Нет, — думал он, — по интонации получается, будто я иронизирую. Что вообще со мной такое? Почему текст не задается? Такой важный текст? Ну да, мне симпатичен Сильвестр. Я вообще люблю людей талантливых. Но как же я могу молчать? Да, вообще-то очень просто могу и молчать... — Иосиф загрустил. — То есть буду тихо ждать, когда явится Ипполит

Карлович, возьмет всю эту шуштуру за хвост и выбросит из театра на улицу? А если я сообщу о беспределе, тут и откроется для меня перспектива. Нет, прости, Силья, я потом тебе много добра сделаю, а сейчас настал час предательства. — Иосиф тихо засмеялся. — Ну и фразочки в моей голове бродят! Что вообще со мной такое? Мысли какие-то инвалидные...»

Он встал из-за стола, выглянул в окно. Машина Сильвестра еще не вернулась. «Значит, он, бедненький, до сих пор у Ипполита Карловича. Свое право на сцене куролесить отвоевывает, — с нежностью подумал Иосиф. — А я тут сижу, донос на него пишу. Одним пальцем, как бы не весь в этой подлости участвуя... — Иосиф ухмыльнулся. — А что? Я в этом деле не весь! И поступаю я как христианин. Моя левая рука не ведает, что делает правая. Сколько же раз вот так вот, выполняя завет их Бога, я падал жертвой их неприязни?»

Иосиф забарабанил пальцами по подоконнику. На душе было беспокойно.

Тогда он решил продолжить игру, которую начал, стыдливо печатая текст одним пальцем.

Вообразил сурового судью, который обязывает его произнести оправдательную речь. Судьей он представил себя самого: в его воображении возник величавый толстяк в мантии.

«Ваша честь! — произнес Иосиф, естественно, про себя. — Сейчас я напишу и отошлю письмо, которое разрушит карьеру, да что там — жизнь Сильвестра. При этом я не скрою ни от себя, ни от Вас, что он мне очень симпатичен. Я его уважаю. Так не становится ли мой поступок от этого подлым вдвойне — спросите вы. И я отвечу без единого колебания — нет! Разве я не во всем таков? Я ведь не только критик, я пишу статьи и против правительства и за него. За оппозицию и против нее. Эти дураки с двух сторон баррикад, если бы узнали, закричали бы: «Ах, аморально! Ах, беспринципно!» Но давайте рассуждать не как банальные людишки, а как мыслители. Посмотрим на меня как на средоточие противоречивых, разнонаправленных сил и задумаемся — какова же моя миссия? Что я являю миру?»

Судья согласился посмотреть на Иосифа под таким углом. И он продолжил: «Раз один человек естественно и в каждом случае искренно высказывает абсолютно противоположные взгляды, это значит не только, что он продажная журналистская сволочь. Раз человек, искренно любя другого, столь же искренно его предает, это не значит, что он подлец и только.

Ваша честь, я вот на что хочу обратить Ваше внимание. У всего один Творец. Тьма и свет, добро и зло, правительство и оппозиция — все из одного источника идет и к нему возвращается. Я, Иосиф утомленный, исполняю свою нелегкую миссию — балансирую на границе противоположностей. Я мечтаю об их единстве, но нередко падаю жертвой в их борьбе. Но не теряю надежды! Надежды на то, что я способен совместить в своей душе левых и правых, про и контру, любовь и предательство. В такие моменты я чувствую себя сопричастным Тому, кто не ведает противоречий, не знает дуализма.

Я противоречив, я хаотичен, я непоследователен, как сама жизнь. Вот и сейчас я попробую, не предавая Сильвестра в душе своей, предать его на этом жалком компьютере устаревшей модели».

Толстяк в мантии был впечатлен. Он закивал головой и даже поднял вверх большой палец. И возвестил: «Заранее оправдан!»

И вдруг Иосиф понял, как нанести по Сильвестру удар сокрушительный.



Наповал. «Как же я раньше не додумался? Надо писать отцу Никодиму! С ним-то, с Никодимом-то мы знакомы! И мое письмо он прочтет мгновенно! Его влияние на Ипполита Карловича огромно! — внутренний монолог Иосифа прорвался наружу: последнее слово он выкрикнул от восторга.

Слегка испугавшись своего вопля, Иосиф снова сделал свой монолог внутренним. Заключив ликование вглубь, он почувствовал, как оно растекается по телу. Какая же прекрасная мысль про отца Никодима! Он ведь правая рука, да что там — все руки и ноги Ипполита Карловича! И он давно точит зуб — да что там — все зубы — на Сильвестра. Блестяще! Все сходится. Это судьба.

Иосиф ринулся к компьютеру. Недавнее стеснение исчезло — вместо него нахлынуло вдохновение. Снова перед компьютером сидел охваченный творческим пламенем пианист, готовый покорить музыкальные фразы любой сложности. Он неистово заиграл на клавишах: «Глубокоуважаемый отец Никодим! Считаю своим долгом уведомить...»

«Ха! Уведомить? — приостановился Иосиф. — Подлое выражение... Ну да, чем подлее, тем лучше. Так скорее станет понятно, добьюсь я здесь чего-то или меня с позором вышибут».

Иосиф продолжил пламенный донос:

«...уведомить вас, что в театре, который так щедро одаривает Ипполит Карлович, творятся вещи возмутительные. Если спектакль, который сейчас репетирует Сильвестр Андреев, дойдет до премьеры, все будут говорить об Ипполите Карловиче как о меценате, поощряющем мужеложство».

«Ага, прекрасно! Мужеложство, это правильное слово...» — с удовольствием чмокнул тонкими губами Иосиф, словно пробуя это слово на вкус.

И он застучал-заиграл, слагая свой донос из возмущения, праведного гнева и страха за «и без того истощенную мораль нашего общества». Вписал, было: «Дышащую на ладан мораль», но засомневался: «Лучше бы с ладаном поосторожней... Не дай господь что-то антицерковное ляпну... Нет, не надо ладана». Вспомнил и про буддиста Лоренцо. На мониторе явились новые строки: «Не стоит пояснять, что превращение монаха-христианина в буддийского монаха — это не просто каприз одаренного режиссера. Таким образом, наш театр солидаризируется с глобальной сменой ценностей, с охватившим мир нигилизмом — а буддизм ведь не что иное, как нигилизм под видом религии. Что же будет проповедано со сцены нашего театра с помощью отца Лоренцо, кощунственно преображенного в буддийского монаха? Что нет добра и нет зла. Нет правого и неправого. Все едино. И в конечном счете ничего не существует. Вот такая философия стоит за этим на первый взгляд невинным театральным трюком!»

Вдруг дверь кабинета распахнулась. На пороге стоял взволнованный Сильвестр. Иосиф мгновенно закрыл текст и улыбнулся режиссеру. Тот стоял, засунув руки в карманы джинсов и смотрел на Иосифа с тревогой. Казалось, он не решается войти. Вдруг Сильвестр сделал шаг вперед и резко захлопнул за собой дверь.

— Ипполит Карлович в Москве. Черт его принес. Я уже у него был.

— И как он?

— Мрачен. И подозрительно ласков.

— Мрачен и ласков? Как это?

— Со мной подозрительно ласков, а на дне — мрачен. Что удивительного? Я, как мог, заморочил его. Но ненадолго. Орех крепкий.

Иосиф пригласил:

— Сильвестр, садись. Кофе? — спросил он участливо.

— Э, нет! Твой кофе омерзителен. Лучше Свету попрошу принести. — Сильвестр позвонил. — Света, принеси кофе нам с Иосифом... — Иосиф отрицательно покачал головой. — Нет, принеси только мне. Спасибо.

Иосиф сказал тоном человека, который устал повторять:

— Все будет хорошо. Его православное сердце все спокойненько перенесет. И «Ля Монд», и «Ди Цайт» готовы опубликовать все, что нужно. Более того, тексты уже написаны.

— Ты?

— Ну а кто же? И в каждом тексте восхваляется Ипполит Карлович. За поддержку нового, актуального спектакля «Ромео и Джульетта». Ему расскажут, какой он молодец! Какой передовой молодец! А какой же православный устоит перед признанием Запада? — Иосиф хихикнул, улыбнулся и Сильвестр. — Не переживай! Эти статьи сделают озабоченного моралью богача намного снисходительнее к твоим театральным шалостям.

— Шалостям? Иосиф, ты наглеешь. На глазах наглеешь. Вот прямо сейчас наливаешься наглостью.

Иосиф смутился.

— Я имел в виду, что тогда он спектакль воспримет как гениальную шалость, а не как угрозу общественной нравственности.

Сильвестр погрозил пальцем Иосифу.

— Смотри! На тебя вся надежда, — сказал он и добавил весьма искренно: — Вот ужас-то.

Иосиф сделал вид, что не расслышал последних слов.

— Да ладно, что у Ипполита Карловича за вера... Так, верочка. — Иосиф хохотнул. — Да и вообще, мне кажется, зря ты его так боишься. Театр-то не его личный. Театр-то государственный.

— Иосиф, не будь ребенком, а?

— Ну да, да, глупость сказал. Хотел тебя хоть как-то успокоить.

Вошла Светлана, улыбнулась режиссеру и Иосифу, отмерив толстяку гораздо меньше ласки. Молча поставила на стол поднос с кофе, печеньем и бутылкой воды.

— Светочка, не уходи пока из театра, хорошо?

— Что вы, Сильвестр Андреевич, я и не думала...

Светлана вышла. Сильвестр стал отпивать маленькими глотками кофе. Настроение его понемногу, но все же улучшалось.

— А отца Никодима ты видел у Ипполита Карловича? — спросил Иосиф.

— Ха! — Режиссер оставил чашку от губ. — А они разве бывают отдельно? Только, наверное, когда Ипполит Карлович со своими красотками распутничает. И то, я думаю, с благословения святейшего отца.

Иосиф засмеялся и возвел глаза к потолку — мол, знаем мы все это лицемерное сообщество, знаем!

— А знаешь, как повел себя святой отец, когда меня увидел? — спросил Сильвестр. — Он как будто тайком меня перекрестил. Так, чтобы Ипполит Карлович видел, что он мне, нехристю, только добра желает. Я вот сопротивляюсь

всему божественному, а он меня тайно, любовно святым крестом осеняет. Сволочь, а? — спросил Сильвестр не без восторга. — Бестия, а? Я его хоть и ненавижу, но чуть не закричал «Браво!» О таком актере в труппе можно только мечтать. А как ему идет ряса... Он будто родился в ней. Вот как надо носить театральный костюм! А наши актеры? Разве могут они так убедительно разговаривать, так естественно носить одежды героев? А его жесты — такие вкрадчивые, такие кроткие! А тембр, вносящий мир в душу! — В этой части Сильвестровой речи ненависть и восторг уже слились совершенно и загадочным образом друг друга подпитывали. — Лучший исполнитель роли священника из всех, кого я видел в церкви...

— Я думаю, пора начать пиар-атаку из-за рубежа. — Иосифу показалось, что слишком долгий разговор об отце Никодиме может выдать его планы. — Ипполит Карлович теперь бродит рядом с нашей тайной. Так пусть же его немного погладят европейские руки.

Сильвестр состроил такое выражение лица, словно внезапно ощутил запах тухлятины.

— Как же коряво ты, Иосиф, выражаться стал. Бродит рядом с тайной? Погладят европейские руки? Какие?

— Образно говорю. — Иосиф нахмурился. — Пусть его европейские газеты превознесут. А потом уже начнем массированный обстрел статьями...

Сильвестр покачал головой.

— Обстрел статьями... Это, видимо, ниже журналистского достоинства — по-человечески разговаривать. Ну да был бы результат. Не сердись, Иосиф... — сказал Сильвестр, увидев, как нахмурил тот свое толстое чело.

Иосиф в ответ еще бескомпромиссней насупился. Сильвестра развеселил его обиженный вид.

— Да, кстати, — добавил режиссер. — В довершение ко всем проблемам, Ипполит Карлович мне подарил еще одну. Он изъявил желание посмотреть на новеньких наших.

— На актрис? — усмехнулся Иосиф.

— Нет у меня для него новых актрис! Вообще нет новых актрис. Приведу Ипполиту Карловичу Сашу с карликом. Пусть полюбуется. Все равно он с ними разговаривать не станет.

— Так зачем это ему?

— Барин новых холопов видеть желают-с. И чтоб они прониклись его обликом, хочут-с. Чтоб знали, кому молиться.

— Но Саша-то не ляпнет, что он Джульетту репетирует?

— Нет, что ты. Тибальта. Исключительно Тибальта. Я его предупрежу. И Ганель о своей новой роли промолчит.

— Всех новичков приглашает? А... а меня?

— А ты разве играешь кого-то? — живо откликнулся Сильвестр, радуясь, что Иосиф сам «подставился». — Давно? Кого? Почему мне не сказал?... Да не печалься ты, возьми тебя, возьми.

Иосиф вдруг хлопнул себя по лбу, словно вспомнил что-то очень важное.

— Слушай, а правда, что подруга Саши мечтает попасть к нам в труппу?

— Ах да! Черт, я и забыл, что обещал Саше на нее посмотреть. Она давно к нам мечтает попасть. Как-то не хочется мне сейчас его нервировать отказом. А ведь придется отказать. У меня молодых актрис перекомплект.

— А зачем отказывать? Она, говорят, очень красива.

— Ты с ума сошел, да?

— Да я не для себя! Ты же говорил, что Ипполит Карлович любит приехать в театр и выбирать себе артистку? Чтобы потом с ней в особнячке своем... канканировать.

— Да, это он любит, — со злобой сказал Сильвестр. — Тут его православное сердце не сопротивляется. Ибо возлюбил много...

— Помнишь, ты мне рассказывал, как он ворчал, что у тебя новых актрис давно не появляется?

— Ах, вот ты к чему... Тогда у нашей Джульетты крыша отъедет уже навечно. Иосиф небрежно махнул рукой:

— Когда это будет еще.... Надо решать проблемы по мере поступления. Разве лишним будет сейчас преподнести меценату подарок? А наш Саша, наша Джульетта, может ничего и не понять. Он девушка юная, верующая в любовь.

Сильвестр внезапно, не прощаясь, вышел из кабинета, как делал всегда, когда чувствовал, что разговор исчерпан. Тихо закрыл дверь.

Иосиф, с лицом, на котором все еще отражалась обеспокоенность судьбой театра, открыл файл с доносом. Перечитал написанное.

«Нет, чего-то не хватает. Здесь нет моего искреннего возмущения. Надо создать впечатление, что оно меня переполнило и почти неконтролируемо выплеснулось в письмо. И я не сказал главного — что у меня есть план развития театра. Но тут надо как-то и скрыть волю к власти, и намекнуть, что она все-таки есть... Тонкая работа. Филигранная. Сегодня не смогу. Голова не работает».

Сильвестр же, выйдя из кабинета Иосифа, подошел к Светлане.

— Сообщи-ка ты Саше, что я могу посмотреть его актрису.

— Его актрису?

— Это подружка его. Может нам пригодиться. Когда у меня время есть?

— Сейчас поглядим. — Светлана стала водить красным ногтем по записям в ежедневнике. — Завтра весь день забит, послезавтра забит... Вот! В пятницу у вас дыра с пяти до полшестого.

— Дыра в пятницу, — задумчиво повторил режиссер. — Вот и скажи о дыре Саше. Хорошо?

Приказания Сцилла Харидбовна выполняла быстро. Через несколько секунд мобильный Александра заиграл «К Элизе», и на мониторе высветилось «Сцилла Харидбовна».

— Саша, в пятницу в пять Сильвестр Андреевич ждет какую-то твою актрису. Он сказал, что ты поймешь, о чем я говорю.

— Да-да, я понимаю, о ком вы. Я ей скажу.

Александр стоял у окна своей гримерной и вместе с радостью чувствовал нарастающее беспокойство. Что сулит ему приход Наташи в театр? Как это отразится на его положении в труппе? На их отношениях?

Дорогу к театру накрыл снег, а его то здесь, то там, накрывали причудливые тени деревьев. Александр представил, как по этому снегу скоро «пройдется» и его тень. И ему захотелось поскорее уйти из театра.

— Это мой год! — воскликнула Наташа, когда узнала об этой фантастической новости. — Расскажи, расскажи, как это было! — потребовала она.

Александр начал рассказ. Многое скрыл, еще больше придумал. Дело было

так: они с Сильвестром за чашечкой кофе («хотя он, как всегда, пил свою любимую простую воду») неспешно беседовали о том, что пора бы влить в труплу свежую кровь. (Наташа смотрит на Александра счастливым взглядом и верит в это мгновение, что Сильвестр действительно обсуждал с ним вопросы такого уровня.)

— И тут, — говорит Саша, — внезапно и закономерно явилась ты!

— Явилась я! — повторила Наташа и засмеялась.

— Ну, не прямо ты, а тема твоего прихода... И если все будет хорошо — а как же иначе? — наша трупла пополнится тобой.

— Пополнится мной, — снова повторила Наташа.

Она повторяла и повторяла — «явилась я», «пополнится мной», и радовалась этим словам, как будто они гарантировали успех.

### *Стало быть, я тоже раб божий*

Нажимая на кнопки клавиатуры двумя пальцами, Иосиф зашел в свою почту. Вид у него был совсем не такой вдохновенный, как в тот час, когда он «творил донос на Сильвестра». У компьютера сидел лишенный энергии толстяк, и его пальцы вяло двигались от одной кнопки к другой. И вдруг... тусклый взгляд озаряется радостью. Печальный палец, который жмет на кнопку «открыть письмо», наливается бодростью.

В почте, среди рекламы и дружеских писем, сияет ответ на донос. Иосиф чувствует: сердце бьется все быстрее, а лоб покрывает испарина. Он достает из кармана рубашки не очень чистый носовой платок, проводит им по лбу, комкает платок и кладет рядом с клавиатурой. Приближает пухлое лицо к экрану:

«Дорогой Иосиф Матвеевич! Я прекрасно помню наши краткие встречи и ваши всегда интересные вопросы на пресс-конференциях. Они всегда были заданы по существу, а не из желания, свойственного большинству журналистов, как можно изощреннее уязвить нашу Церковь. Бог им судья — поверьте, это самое страшное, что можно сказать.

Сердечно рад, что вы поступили на службу в театр, которому столько сил и средств отдает Ипполит Карлович. Это очень важный для Москвы, для России, для русской культуры театр, и я со все возрастающей тревогой слежу за тем, что там происходит. Теперь я с радостью вижу — мы тревожимся вместе».

Иосиф остановился, наслаждаясь тем, как выглядит это благословенное «мы», попробовал, как оно звучит и стал читать далее:

«Я понял, что вы приблизились к крайней степени справедливого гнева. Настоятельно прошу вас — не предпринимайте ничего в состоянии раздражения. Это только обнаружит вас как недруга Сильвестра и не позволит нам («Бог мой — нам!» — прошептал Иосиф) отвести от этого удивительного театра страшный удар, который (вы бы сказали — по иронии судьбы, я скажу — по наущению дьявола) — хочет нанести театру его же создатель, Сильвестр Андреев. Ваша неосторожность сведет на нет тот счастливый случай, что вы оказались в недрах этого театра — сколь замечательного, столь и нуждающегося в исцелении».

Иосиф откинулся в кресле, прошептал хрустальной люстре: «Брависси-

мо!», и продолжил чтение, чувствуя, что слова, написанные отцом Никодимом, возвещают для него начало новой жизни:

«Сильвестр Андреев клеветает на творение, превращая на подмостках девушку в юношу, христианского монаха в буддийского, переворачивая с ног на голову все, что незыблемо, что создано Богом так, а не иначе. А значит, он клеветает на Творца».

Дальше шла, как прошептал Иосиф «философия», и он ее пропустил, задерживаясь только на главном:

«Но я опасюсь, как бы мы не стали пешками в игре Сильвестра. А потому призываю вас: будьте предельно осторожны. Когда Сильвестр кажется взволнованным, когда он совершает поступки импульсивные, когда открывается вам совершенно и безраздельно, именно тогда он ведет самую тонкую, самую изощренную игру. Я знаю, скольким людям он снес головы, прикидываясь растерянным и взволнованным, прикидываясь безопасным.

Иосиф Матвеевич! Вы сами, ваша репутация, ваше доброе имя — в опасности. Ведь сейчас, судя по вашим словам, он искренен с вами и действует как бы в беспамятстве. Это верный признак того, что он плетет интригу, цель которой нам с вами неясна.

Вам нужно насторожиться и понять, как именно Сильвестр вознамерился вас использовать. Ведь скорее горы сдвинутся, чем этот человек начнет действовать без задней мысли. Скорее реки повернутся вспять, чем он станет говорить прямо от сердца».

«Совесть ушей» Иосифа — возможно, единственный из видов совести, который у него остался, — возмущается претенциозной нелепостью Никодимовых фраз. Иосиф шепчет с некоторой даже брезгливостью: «Батюшка, дорогой, да вы какая-то провинциальная поэтесса».

Но больше столь сильными образами отец Никодим не злоупотреблял: «В ближайшее время я переговорю с Ипполитом Карловичем о том, что вы мне рассказали. Уверяю вас, никто не узнает о нашей переписке. Такого же полного молчания я прошу и от вас.

Благослови вас Бог за то, что вы решились написать мне!

Жду от вас новых писем и сдержанности в речах и в поступках.

Храни вас Бог.

Раб Божий Никодим».

Иосиф откинулся на кресле. По телу разлилась истома. Закинув голову, он шепчет белому потолку: «Вот я и завербовался... Теперь, стало быть, я тоже раб божий...» Улыбаясь люстре, он перебирает в уме основные идеи письма — революционные для его жизни идеи. Он решает с большим вниманием прочесть «философию», которую лишь пробежал.

Проповедь Никодима была гневной, но Иосиф стал замечать за ненавистью к режиссеру и театру совсем иное чувство, которому пока не находил названия:

«Я знаю, театр есть театр, и артисты вынуждены представлять тех, кем не являются. Таково их ремесло, самое опасное для души из всех существующих. Но только в театре Андреева доходит до настоящих преступлений против образа Божьего в человеке. Души актеров изгоняются, чтобы вселить в них иные. В Церкви изгоняют бесов, а у Сильвестра изгоняют душу, чтобы бесы могли беспрепятственно войти в оставленный дом. Я понимаю, насколько коробит

ваш интеллигентский слух это слово, но для меня «бесы» — не образ, не символ и не метафора».

«Иначе и не может быть, святой отец, иначе и быть не может», — подбадривает Иосиф батюшку.

«Люди с выжженной душой ждут, когда в них вдохнут жизнь. И кто это должен сделать? Такой же человек, смертный и грешный, хоть и наделенный Господом уникальным даром — даром, над которым он надругался. Тем самым даром, который станет его главным обвинителем в День Суда».

«Как же вам нравится воображать, — думает Иосиф, — как Сильвестр отправится в геенну огненную. Какая все-таки ненависть! Первозданная какая-то. От письма как будто дым идет... А Сильвестр? Как вчера говорил про Никодима, как кричал, как свирепел? Будто один самим фактом своего существования подрывает смысл жизни другого. Неужели они так похожи? Иначе разве бы они так ненавидели друг друга?» Пока Иосиф нашел между ними связь довольно простую: «Оба — артисты, и битва идет — за публику».

Иосифа наполняют мысли о его предстоящей грандиозной роли в жизни театральной Москвы. О том, как он возглавит, отринет, проведет реформы, укажет пути... И вот он уже видит, как Сильвестр Андреев покидает свой кабинет, освобождая место для нового вождя театра.

Портрет Иосифа уже возвышается в фойе над актерскими фотографиями — Отец Никодим благословляет нового отца знаменитого театра. А Ипполит Карлович смотрит на него — покровительственно, не без иронии, но все же с надеждой...

## *Православные котята в хорошие руки*

Оба в черном. На одном — ряса, другой облачен в костюм. По просьбе обладателя черного костюма, Ипполита Карловича, в комнате выключен свет. Не видно обстановки, не видно лиц. Из полутьмы доносится разговор — неспешный, тихий.

— Это очень. Смешно. Очень, — утверждает Ипполит Карлович.

Говорит он степенно, с расстановкой, щедро рассыпая в предложениях точки и многоточия. И это не знаки препинания. Это знаки отличия его стиля речи от всех других.

Паузы, которые он делает в самых неожиданных местах, полны значения. Они заставляют собеседника смиренно ждать следующего слова. Собеседник невольно обращается в слушателя, сколько бы слов он при этом ни произнес.

Точки Ипполита Карловича — многотонные. Обжалованию не подлежат. Вот и сейчас он словно вынес вердикт: смешно (точка). Очень (точка).

— Да-да, я сам хохотал, — говорит отец Никодим голосом бархатным и, дабы подтвердить свои слова, выпускает на волю изящный смешок.

— Как там написано? Повтори. Еще разок.

— Прямо на церковных воротах висит объявление: «Православные котята в хорошие руки».

Отец Никодим робко засмеялся — он не желал производить громких звуков, которые бы дерзостно нарушили покой Ипполита Карловича. Сам Ипполит



Карлович засмеялся глухо, не раскрывая рта, выпуская смех через ноздри и сомкнутые губы.

— Превосходно...

— Ипполит Карлович, — ласково, но настойчиво говорит отец Никодим, — вы как будто не слышите, что я вам говорю про Сильвестра.

— Я тебя услышал.

— Меня волнует, что вы намерены с этим делать.

— Подожду пока. Скажи, а правда, что рясы тоже подвержены. Моде.

— Да, происходят всяческие изменения...

— Не надо так. Недовольно мне отвечать. Я тебе первому расскажу, когда решу, что делать с театром. Не могу же я на глазах всей Москвы. Так резко... Ты ведь понимаешь.

— Да, но долго ждать нельзя! Болезнь зашла слишком глубоко. Из письма Иосифа Флавина это очевидно. Он, кажется, уже и сам заразился — я в самой интонации его почувствовал, в междустрочье его письма прочел. Сильвестр так мутит его разум, что он уже не знает — осуждать ли этот Содом.

— А Гоморру?

— Ипполит Карлович, не понимаю.

— Обычно говорят «Содом и Гоморра». Или не дошло еще. До Гоморры. Выходит, в театре все еще не так уж плохо? Не так, как пишет твой этот... Иосиф. Мне его письмо понравилось. А он нет. Не нужно дел с ним иметь. Никаких.

— Плохо в театре, плохо. Содом и Гоморра.

— А все-таки и Гоморра... А какой город первым был. Уничтожен?

Отец Никодим шумно и даже как-то дерзко вздыхает.

— Не злись, отец Никодим. Что я тему меняю. Мне так удобней. Не могу же я приказывать тебе? Я тактично. Меняю. А ты помоги мне.

— Вы знаете притчу о мощах святого Мартына?

— Нет.

— В средние века в один итальянский город принесли мощи святого Мартына. И все калеки, все хворые бежали от этих мощей в страхе. Они боялись, что святой исцелит их, и они не смогут больше попрошайничать. Не смогут проводить дни в праздности и лени. Страшась возможного чуда, они бежали от святого, как черт от ладана.

— Отец Никодим. Я смертельно устал. Мне даже свет мешает. Я же просил сменить тему. А не заплывать. С другой стороны.

— Как вы догадались?

— А что сложного. Потом ты бы сказал что-то вроде. В театре, который вы опекаете. Гордятся болезнями. Оберегают язвы. Лелеют нарывы. Ну, что еще в таких случаях говорят. Так ты хотел сказать?

— Да.

— А что святой Мартын? Как он поступил?

— Он безжалостно послал им благословение и исцелил всех.

— Вот твой пример. Давай ты безжалостно исцелять будешь. Но потом. Ты же знаешь мой принцип. Я в спектакли не вмешиваюсь. Это Сильвестрова епархия.

— Ах, епархия...

— Ну, прости. Не то слово сказал.

— Я знаю, знаю, что вы не внедряетесь в творчество, и это очень правиль-

но, очень. Но тут случай особый. Мы не можем быть терпимыми к злу. Пока мы будем либеральничать, оно нас опутает, повергнет и над нашей же терпимостью посмеется. Бывают моменты, когда надо действовать жестко. Сейчас такой момент. Пока рак операбельный...

— Не смей.

— Извините.

— Я сегодня как раз увижу всю шайку. Кстати. И твой конфиденгент прибудет. Который тебе доносит. Ты уж мне поверь. Не только тебе он доносит. Будет сегодня и буддист-христианин. И баба-мужик. Все придут.

— Весь бестиарий...

— Как у тебя глаза сверкнули. Я же просил — не надо света. — Ипполит Карлович снова засмеялся через ноздри. — Тебе бы пораньше веков на пять родиться. Когда святой Мартын благословлял насильно. Воображаю, как бы ты. Искоренял. Отец Никодим. Воображаю.

И снова Ипполит Карлович произвел нечто среднее между хохотом и учащенным дыханием. А в голосе отца Никодима зазвучала обида:

— Я бы с удовольствием посмеялся с вами, но не могу разделить вашего веселья.

— Да я тоже не смеюсь. Что ты. Мне не смешно. Вообще ничего не смешно.

— Опять? Та же хандра?

— Как ты ее называешь? Память смертная?

— Это не я так называю. Святые отцы. Это хорошо, что вас Бог таким мучением отметил. Постоянно думать о смерти — это дар. От Господа.

— Я бы его. Передал кому-нибудь.

— Не богохульствуйте, Ипполит Карлович! Иначе я покину комнату.

— Не покидай. И не сердись. Мне тяжело.

— Давайте молиться вместе. Это всегда помогало.

Из темноты послышался шепот. Через минуту молитва стихла, и было слышно только медленное и властное дыхание Ипполита Карловича и почти неслышимое, почти беззвучное дыхание отца Никодима. Одно дыхание господствовало над другим.

— Теперь оставь меня одного.

— Вам стало светлее?

— Нет.

Отец Никодим, тяжело вздохнув, тихими стопами вышел из комнаты и неслышно прикрыл за собою дверь.

Священника не корбило, что его духовное чадо обращается к нему на «ты». Это было нарушением правил общения между духовником и чадом. Но Никодимово чадо было столь уникально, столь богато, что священник прощал ему эту вольность.

Сам Ипполит Карлович понимал, что негоже говорить батюшке «ты», но с многолетней привычкой ничего не мог поделать. Не тыкал он лишь людям, облеченным самой высокой властью и равным в бизнесе партнерам, а таких в России было немного. А простым смертным он начинал «тыкать» сразу, подчеркивая тем самым несокращаемую дистанцию между ними и Собой. И никто не решался вернуть Ипполиту Карловичу его «ты». Ни разу за всю многолетнюю историю «тыканий». Отец Никодим исключением не стал. Он помнил, как при первой же встрече Ипполит Карлович дал проверочный залп, твердым полуше-

потом произнес «ты, отец». Потом громче. И уже без стеснения — «ты, отец», «ты, батюшка», «ты, святейший». Тут он был остановлен. «Не мне, грешному, такие слова о себе слушать». — Отец Никодим запротестовал против «святейшего». В ту памятную обоим первую встречу Ипполит Карлович задал прямой вопрос:

— А вы не смущаетесь, отец Никодим, что я вам «ты» говорю? Или мне, отец Никодим, тебе «вы» говорить надо?

— К Богу на «ты» обращаемся. Решайте сами.

Ипполит Карлович оценил крутой замес гордости и смирения в ответе отца Никодима. Этот разговор положил начало союзу, который в Москве называли «позором священника и капризом богача».

Священника завораживал покой, в котором пребывал Ипполит Карлович. В состоянии покоя он заключал сделки, увольнял сотрудников и даже закатывал истерики. Он наполнял покоем фразы и восклицания, которые, казалось, не дают права выбора интонации: их можно только выкрикивать. Например, фразу «я вас в порошок сотру!» Ипполит Карлович произносил тоном благодетельным, как будто сообщал: «вечереет, пора пить чай». Кто это слышал — верил без сомнения, что Ипполит Карлович перетрет в порошок всех, кто ему мешает жить. И после действительно спокойно сядет чай пить. Собеседников и слушателей безнадежно запутывали медленно и величаво исходящие из его уст ругательства. Истерия, покрытая цементом спокойствия. Лава под корой безмятежности.

Такой стиль поведения и речи Ипполит Карлович начал практиковать давно, еще до того, как стал одним из самых богатых людей страны. В глубине души он потешался над теми, кто никак не мог пробиться к его подлинным чувствам и мыслям.

Когда слова и интонации ведут нас по ложному пути, на что остается надеяться? Только на зеркало души. Но и оно в случае Ипполита Карловича проясняло мало. Его глаза — непроницаемо серые. Какие страсти бушуют за этой серой пеленой, собеседник не понимал, сколько бы ни вглядывался.

В высших финансово-политических кругах Ипполита Карловича называли недоолигарх. Это его не смущало. Напротив. Это самое «недо» спасало его, когда начинались войны государства с самыми богатыми и влиятельными. Когда от них требовали делиться деньгами и властью, об Ипполите Карловиче забывали.

Он занял позицию человека с огромным богатством, но абсолютно чуждого политике, и даже не желающего приумножать свой капитал. Только сохранить. Он остановился вовремя; круг его заводов и пароходов очертился и застыл. Из общественно значимых заведений он владел лишь театром. Конечно, только де-факто. Театр числился государственным, но меценат обладал там огромной властью, которой в полной мере ни разу не воспользовался.

Андреев далеко не сразу догадался (прошел почти год!), что его спектаклей Ипполит Карлович не понимает. В тот день, когда они пожали друг другу руки при первой встрече, он услышал в свой адрес столько сдержанных, полных достоинства комплиментов, что ему и в голову не могло прийти, что спонсор берет знаменитый театр под свою опеку только для освежения имиджа. План сработал: «в кругах» стали говорить, что недоолигарх безумно увлекся театром. Союз с отцом Никодимом укрепил этот имидж: «в кругах» над Ипполитом Карловичем стали немного посмеиваться и называть блаженненьким. А самые ум-

ные ждали с опаской — к чему приведет это увлечение искусством и религией? Куда недоолигарх метит? Ипполит Карлович не показывал своих дальних целей, но иногда намекал, что они имеются.

Двойственность положения ему нравилась: можно было сказать, что он устремился в возвышенные сферы и там сошел с ума, а можно — что все это неспроста и, спустившись с горних высей, он с собой принесет такое, что всем придется потесниться и поделиться.

Сильвестр Андреев не знал об этих имиджевых войнах. А когда стали пополняться счета театра и личный счет самого Андреева, то он окончательно уверился, что Ипполит Карлович — его поклонник.

Вообще-то Андреев понимал, что в случае с «Ромео и Джульеттой» он перешел грань. Режиссер предполагал, что вызовет осуждение со стороны Ипполита Карловича, ныне православного, или, как говорил Андреев «лицемерно православного». Но своим спектаклем он вмешивался не только в православные порывы Ипполита Карловича; он ставил под удар тщательно создаваемый образ покровителя высоких, безусловно нравственных искусств.

Чиновники из Министерства культуры смирились, что в этом театре полновластным хозяином стал спонсор. Смирились, конечно, не из высокохудожественных соображений. Точную цену чиновничьего смирения знал только сам Ипполит Карлович. Смирение чиновников было необходимо еще и потому, что некоторую плату он с театра все-таки взимал.

Семь лет в театре подчинялись негласному, но нерушиму правилу: Ипполит Карлович имел право выбрать себе на ночь актрису — как первого, так и сто первого плана, молодую или не очень. Любую.

знаком выбора был букет из сорока семи роз. Почему именно это число стало знаком приглашения в постель, не знал даже сам Ипполит Карлович. Но так повелось сразу после того, как театр стал хорошеть под воздействием его даров.

Обескураженная (или обрадованная, или огорченная, или обрадованно-огорченная) обладательница букета знала: сегодняшняя ночь пройдет совсем иначе, чем она планировала.

Случались и скандалы. Порой их устраивали мужья артисток, иногда — сами актрисы. Мужей быстро успокаивали, оставляя их на одну ночь без жен, зато с горькими мыслями о всевластии денег.

Актрисы, которые предпочитали не понимать значения букета и решительно уезжали после спектакля домой, не могли больше претендовать на главные роли. Этот пункт сексуально-финансового договора между недоолигархом и режиссером никогда не оговаривался, но исполнялся безукоризненно.

Знал ли отец Никодим о том, что его духовное чадо так искренне, так нежно любит театр? Знал, безусловно, знал. И скорбел об этом. Налагал на недоолигарха епитимьи. Порой даже отказывался отпускать очередной грех. Угрожал покинуть Ипполита Карловича. Но по разным причинам этого не делал. Причины были как самого прагматического, так и самого возвышенного свойства. Но одна из них отличалась особой оригинальностью: отец Никодим мечтал стать кормчим театра Ипполита Карловича.

Сам ставить и играть он конечно же и не думал. Он представлял себя в мечтах великим реформатором: под его мощным крылом должны сойтись великая русская театральная и религиозная традиции. Православие и театр. Дей-

ствие и действо. Его воображение прельщали образы спектаклей, завершающихся молебнами. Толпы зрителей, превращающихся в прихожан. Десять заповедей, звучащих со сцены, как с амвона.

Порой, отходя ко сну после вечерних молитв, отец Никодим шептал о своем желании «стать в театре хозяином, естественно, после Господа и с его высочайшего соизволения». Мечты его были крепкими (он был упрям и честолюбив), но смутными (путей их воплощения он не ведал). А потому он искал союзников в выполнении первой части плана: устранения Сильвестра Андреева. И вот союзник явился сам, и страстный отец Никодим, читая письмо Иосифа в своей оснащенной вай-фаем келье, ликовал безмерно.

Отец Никодим и Сильвестр Андреев невзлюбили друг друга с первой же встречи. Мощный театральный инстинкт подсказал обоим, что они конкуренты в самом высоком смысле слова. Отец Никодим сразу же благословил Сильвестра: «Благое дело делаете, но опасное для души, причащайтесь почаще, в церковь ходите почаще». — «И вы к нам почаще заходите, — отвечал Сильвестр. — Я как раз «Божественную комедию» ставить собираюсь. Для сцен в аду у меня есть решение, даже слишком много решений. Сами понимаете, прямо из жизни беру примеры и образы. А вот сцены в раю... Тут мне для консультаций понадобятся профессионалы. Люди, вхожие в райские кущи».

С этой дерзости и началась история ненависти священника и режиссера. Андреев понимал, что битву он рано или поздно проиграет хотя бы потому, что у него не было времени на интриги, на то, чтобы вливать в уши Ипполита Карловича ядовитые речи про отца Никодима. Отец же Никодим лил яд из медовых своих уст неустанно. Он был ослеплен мечтой, и знал за собой этот грех, как знал и грех честолюбия. С честолюбием он пробовал бороться очень давно, еще когда учился в семинарии. Но почувствовал, что в этой борьбе подрывает основы своей личности. Он понял: стремление отличиться, быть лучшим, хоть и перед Богом, помогает ему служить, исповедовать, причащать. А посему он принял этот грех как неизгонимый. Грех, на основе которого он хотел воздвигнуть все свои добродетели.

Сразу после окончания семинарии он был рукоположен и стал священником в одном из малозаметных московских храмов. Он исполнял священнические обязанности с почти отчаянным фанатизмом. Его рвение было замечено и поощрено. Если перевести церковные дела на светский язык, он стал делать замечательную церковную карьеру. Вместе с тем он сделался любимым священником московской интеллигенции, но ровно до той поры, пока не стал духовником Ипполита Карловича.

### *«Неближний Восток»*

Андреев въехал на Тверской бульвар на своем «Вольво» и притормозил у ресторана «Неближний Восток». Он припарковал машину между высокомерным «бентли» и неизвестно как сюда затесавшимся «жигуленком», который будто извинялся — я, ребята, ненадолго тут с вами, дождусь хозяина и тут же отъеду.

Едва Андреев захлопнул дверь машины, как вдруг кто-то схватил его за обе

руки и закричал снизу, жаром волнения согревая холодный воздух: «Я должен! Должен рассказать!»

Сознание Сильвестра поначалу отказывалось признавать в этом дерзком человеке господина Ганеля. Настолько невероятное, неподобающее действие совершил карлик, что режиссер в первую секунду смотрел на него, как на незнакомца. Видимо, господин Ганель и сам был потрясен. Но деваться уже было некуда: он держал в руках режиссерские ладони, со страхом глядел в лицо, и теперь просто обязан был сообщить что-то экстраординарное.

— У меня дар, — начал господин Ганель, и понял, что это худшее начало из возможных — говорить режиссеру о своем даре, держа его за руки и взволнованно глядя в глаза.

— Я знаю, что у вас дар, — не холодно, но достаточно прохладно ответил режиссер. — На моей сцене нет артистов без дара.

— Другой дар, другой дар... — залепетал господин Ганель и снова осекся. Сильвестр хотел было спросить, сколько еще даров припасено у господина, но отвлекся, заметив переходящего дорогу Иосифа. Тот окончательно запутался в борьбе своих противоречивых желаний: «Какой бес заселил в меня такую причудливую мечту? Руководство театром! Ну а почему нет-то? Почему нет?»

Господин Ганель закричал:

— Вас предает Иосиф! Он доносит на вас!

Сильвестр посмотрел на него с мрачным любопытством. Он пытался дать моментальную оценку и поступившей информации и состоянию информатора. Он принимал решение: можно ли приводить столь взнервленного господина к Ипполиту Карловичу?

Иосиф же, услышав взметнувшееся над Тверским бульваром обвинение, вместе с испугом почувствовал облегчение. Он должен защищаться. А значит, наконец-то сомненья прочь. Совладав с волнением, Иосиф сумел-таки добродушно-весело крикнуть издали:

— Клеветник!

И устремился к режиссеру и карлику. Быстро (началась одышка), еще быстрее (ботинок угодил в лужу из талого снега), еще быстрее (нижняя пуговица зимнего пальто распахнулась от резких движений), еще быстрее — и стоп. Вот он уже рядом с ними, смотрит на обоих ласково и иронично. Ганеля не испугало появление Иосифа. Скорее, он был разозлен: ведь теперь открыть правду будет еще сложнее. Сильвестр стоял с лицом непроницаемым. Иосиф взял тон человека несправедливо обиженного:

— Если я вам неприятен, дорогой Ганель, говорите мне об этом прямо в лицо. Я не обижусь. Я сторонник прямоты во всем.

— Вы! — вскричал господин Ганель. — Вы сторонник прямоты! Это просто смешно!

— Ну так смейтесь.

Иосиф видел, что карлик волнуется, и понимал: в этом поединке выиграет тот, кто будет спокойнее.

Сильвестр смотрел на обоих с раздражением.

То ли он не поверил Ганелю, то ли подумал, что эта информация поступила слишком поздно. По его лицу несомненно ясно было только одно: он не собирается выступать арбитром в мышинной возне. Иосиф уловил раздражение режис-

сера, тут же забыл про необходимость иронии и сердито сказал господину Ганелю:

— Вы измышляете какие-то невероятности.

— Тебя с каждым днем все труднее понять, — сказал Сильвестр. — Как же ты писать собираешься о нас?

— Куда писать о вас? — вскричал Иосиф. — На что ты намекаешь?

— Я намекаю, — спокойно ответил Сильвестр, — на обещанные тобой статьи в «Ля Монд» и в «Ди Цайт». А ты на что?

Повисла нехорошая пауза, которую прервал Сильвестр:

— А может, кто-то тебя наказывает за что-то? Лишает дара речи.

При слове «дар» режиссер лукаво глянул на господина Ганеля. Иосиф побагровел. Он снова почувствовал себя оскорбленным, и гораздо глубже, чем пару минут назад, когда его обвинил карлик. Та часть Иосифа, которая противилась предательству и осуждала его, была возмущена.

— И ты! И ты, Сильвестр!

— Я просто делаю наблюдение. Тебе в последнее время как будто язык подменили. Но сейчас совсем не время и не место.

— Хорошо! — Голос Иосифа возвысился до пафоса поруганной невинности. — Я полагал, мы вместе посмеемся! Но раз и ты подозреваешь меня... Это даже в шутку обидно! Даже в шутку оскорбительно! Пусть он скажет, почему он так думает! Почему!

— Я читаю мысли! — подхватил Ганель крик Иосифа, пугая прохожих. Два сизых голубя, сидящих на бордюре, насторожились и приготовились вспорхнуть.

Иосиф, Ганель и Сильвестр являли собой причудливую троицу. Особенно когда господин Ганель оповестил Тверской бульвар о своей телепатии, не расплетая рук с Сильвестром, а Иосиф гневно вскричал на столь же высокой ноте:

— Что, что вы читаете?

— Мысли! Я был в ваших мыслях!

— Где вы были?

— Я знаю ваши планы!

— Мои планы!

— Вы мечтаете занять режиссерское кресло!

— Кресло!

Голуби не выдержали этой перепалки и вспорхнули. Покружив немного над театральной троицей, они, видимо, решили полетать над людьми менее нервных профессий.

— Вы переписываетесь с отцом Никодимом! — услышали улетающие птицы.

Этого имени Иосиф повторять не стал.

— Вы пишете ему доносы! Вы хотите разрушить все! Наш спектакль! Нас! Дело Сильвестра! Андреевича!

Иосиф захохотал. Это был хохот победителя. Ему даже не пришлось наигрывать: правда, услышанная им от господина Ганеля, показалась ему самому настолько неправдоподобной, что он осмелел ее без всяких усилий, как полнейшую нелепицу.

— Тема закрыта, — сказал Сильвестр.

Господин Ганель, все еще державший режиссерские руки, отпустил их.



Мечты о спасении Сильвестра таяли. Место у режиссерского трона так и осталось недостижимым. Иосиф, отхохотав свое, причем так, что на глазах выступили крохотные слезинки, которые он смахнул скрюченным указательным пальцем, выдохнул облегченно-утомленно и сказал:

— Вот фантазер! На такое я даже обижаться не стану. Ну, мир?

Он протянул господину Ганелю пухлую, влажную от слез ручку. У карлика не было времени на размышления: Сильвестр вытащил Ганелеву руку из кармана, соединил с рукой Иосифа и потребовал:

— Все. Забыли об этом.

Господин Ганель почувствовал, как елозит своим большим пальцем по его ладони Иосиф, и в этом поглаживании ему почудилось такое унижение, такое издевательство, что он брезгливо выдернул руку. Но, увидев взгляд-приказ режиссера, пробормотал:

— Забыли.

У ресторана остановилось такси. Дверь с треском распахнулась, и на грязный снег опустились ноги в черных зимних ботинках. Они принадлежали Александру. Раздался знакомый всем троим голос: «Вот вам сотня на чай!», и глухое «спасибо» шофера.

Из машины медленно начала выкарабкиваться их Джульетта.

Сто рублей на чай — нетипичный для Александра поступок, но глинтвейн, который он выпил для храбрости, активировал щедрость. По пути в ресторан, пока горячее вино владело им, он представлял, как бросит в лицо Сильвестру и Ипполиту Карловичу освободительный, проливающий свет истины ответ на вопрос, кого он играет. Он покрикивал в такси, несколько пугая шофера: «Я дочь Капулетти! Дочь!» Он понимал, что стал пешкой в чужой игре, и когда все раскроется, его просто вышвырнут. И хотел взять свою судьбу в свои руки.

Первый его шаг из машины был решителен и смел, но едва он увидел троих — Сильвестра, Иосифа и господина Ганеля, то пришел в себя в полном смысле этого слова. Лица Иосифа, Сильвестра и господина Ганеля вернули Александра в собственные пределы, обозначили магический круг, за который он заступить не сможет. Он снова стал человеком, неспособным на поступки, которые изменят его жизнь. А уж тем более жизнь окружающих.

Глинтвейн покидал Александра. Бунта не будет, он сделает все, как велел Сильвестр. Едва он принял это решение, как ему стало хорошо. Спокойно.

Александр почувствовал, что, вероятно, в воздухе только что витал конфуз, который он своим появлением разогнал. Глядя на пунцовое лицо Иосифа, на прячущего глаза господина Ганеля, он понял, что произошло. «Ах дурашка! — с жалостью подумал он. — Рассказал-таки про свои дары».

— Нам пора, — сказал Сильвестр и открыл дверь ресторана.

Верхняя одежда осталась в гардеробе, и четверо направились в ВИП-зал.

Сильвестр не впервые проходил в этот роскошно-скромный зал. А Иосиф и актеры были сначала оглушены немосковской тишиной, а потом — ослеплены помпезно-сдержанным великолепием.

За огромным сервированным столом сидел Ипполит Карлович: черный костюм, непроницаемые глаза, приветливая улыбка.

За спиной мецената была слегка приоткрыта серая дверь — в соседнем помещении молился и подслушивал отец Никодим. Все, кроме Сильвестра, впали в легкое оцепенение, посещавшее каждого, кто впервые входил к Иппо-

литу Карловичу. Свечение, исходившее от миллионов, озаряло его самого. Нимб сказочного богатства видели все. И сейчас зачарованные артисты и журналист остановились на пороге. Иосиф поймал себя на желании снять шапку, как при входе в церковь. Но шапки на нем не было, это была не церковь, да и сам Иосиф не был христианином.

— О! — воскликнул Ипполит Карлович, едва увидел актерскую процессию во главе с Сильвестром. — Вот он. Вот он идет. Станиславский нашего времени. Он только идет. А я ему. Уже верю.

Сильвестр, чтобы порадовать Ипполита Карловича, брезгливо поморщился при упоминании Станиславского. Ведь недоолигарх прекрасно знал, как относится Андреев к Станиславскому. Но Ипполит Карлович неуклонно называл Сильвестра Станиславским, желая одновременно и польстить и покуражиться.

Все четверо встали у стола. Ипполит Карлович не пригласил их сесть.

— Вот никак не могу понять. Почему мне так противно стало. Когда я вчера по телевизору услышал. Что сейчас на земле живет людей больше. Чем во все времена. За всю историю человечества. Нет. Не противно даже. А тоскливо. Вот ты художник. Объясни почему.

Сильвестр совсем не удивился неуместности вопроса и ответил спокойно, словно сам не раз об этом думал:

— А если бы сейчас жило меньше людей, чем за всю историю человечества? Если бы они вымирали?

— Вот как ты. Повернул. Так тоже тоска. И много людей плохо. И мало людей плохо. Как быть?

— Не знаю, Ипполит Карлович.

— А ты заметил. Что про людей «они» сказал?

Александра смутило такое начало встречи. Раньше он думал, что только Сильвестр имеет право вдруг огоршить пришедшего к нему человека вопросом, не имеющим никаких оснований, кроме каприза спрашивающего. И вальяжно ждать ответа, заранее снисходительно относясь к тому, что «ответчик» готовится сказать. Сейчас Александр увидел, что к Сильвестру могут быть обращены и столь же внезапный вопрос, и столь же ироничная улыбка. В этом зале Александр встретился с хозяином хозяина. Хоть и маленькая, но мистерия, испытание для шаткой души.

— Ну знакомь, знакомь меня с новобранцами. — Ипполит Карлович перевел серые, будто лишенные зрачков глаза на Александра, потом на господина Ганеля и спросил у него: — Ты на кого нацелился?

— Это брат Лоренцо! — ответил Сильвестр.

— Мона-ах... — с уважением произнес Ипполит Карлович. — В наше время играть монаха! Ответственно! А ты? — обратился он к Александру. — Ты кто?

— Тибальт, — сказал Александр и почувствовал, как в пятках бьется его душа.

Ипполит Карлович повертел в уме имя «Тибальт». Оно не вызвало никаких ассоциаций. Повисла пауза. Вошедшим давно уже пора было сесть даже по самым суровым законам гостеприимства. Официант ловко подлил Ипполиту Карловичу виски, бросил в бокал кусочек льда в виде крошечного лебедя. Ледяная птица начала медленно растворяться в коричневатой воде.

— Вы садитесь. Что вы, как на приеме... И руки по швам держать не надо, — вдруг обратился Ипполит Карлович к Александру. И хотя тот и не думал держать

руки по швам, он как-то неловко поднес ладони к груди, чтобы показать, что ничего подобного у него и в мыслях не было. Но все, кто посмотрел на Александра в этот момент, подумали, что он, и правда, стоял по стойке смирно.

Они сели — Сильвестр напротив Ипполита Карловича, рядом, на краешке стула настороженный и сосредоточенный господин Ганель, левее — растерянный Александр, еще левее — насмерть перепуганный Иосиф. Иосиф стал посылать Ипполиту Карловичу флюиды-телеграммы: «Я тот, кто писал вашему другу... Я тот, кто заботится о вашем театре... Я тот, кто любит вас...»

— А он кого играет? — спросил Ипполит Карлович, бокалом указывая на Иосифа. Хвост лебедя, его лапки и голова уже начали таять.

— Он переписывает некоторые сцены. Для современного слуха, — снова выручил Сильвестр теперь уже Иосифа, который еще не полностью вышел из оцепенения.

Ипполит Карлович оживился.

— Любопытно. Значит, Шекспир как-то не очень. Слабоват. Я так и думал: — Ипполит Карлович улыбнулся, и Александр с Иосифом дуэтом захохотали громко и немножко нервно. Смех помог Иосифу вступить в разговор:

— Мы видоизменили идею моего участия... немножечко... — начал Иосиф. — Я сейчас не переписываю, а добавляю, и даже не добавляю, а прибавляю...

— А с твоим творчеством я и так знаком. Очень знаком...

Иосиф возвел глаза к полотку и стал его исследовать.

— Творцы! — ласково улыбнулся Ипполит Карлович. — Вот смотрю я на вас и завидую. Всю жизнь на таких вершинах проводите. Вы ешьте. Ешьте. Видите, сколько всего.

Ипполит Карлович не без удовольствия посматривал на артистов, которых охватил легонький паралич. Беспокоил его только взгляд господина Ганеля. Карлик с непочтительным вниманием его изучал. Недоолигарх подумал, что надо бы чуть погодя сбить спесь с этого исследователя.

Застучали о тарелки вилки и ножи — сначала робко, потом все уверенней.

— Вот и молодцы. Вот эта музыка мне по душе. Виски? Коньяк? Водку?

Иосиф попросил коньяк. Остальные от спиртного отказались.

— Ничего, скоро, я думаю, возжелаете, как бы сказал один мой близкий друг. Пить это хорошо. Если бы Бог был против спиртного, он бы не воду превратил в вино. А наоборот... — сказав это, Ипполит Карлович придвинул ближе тарелку со стерлядью, украшенной зеленым и репчатым луком и вонзил вилку в один из рыбных кусочков.

— Сильвестр. А правда. Что ты, когда студентом был. Какому-то вралю поверил. Что Мейерхольда не расстреляли. А отпустили. И он работает где-то в Сибири лодочником. И ты, Сильвестр, поехал его искать в какое-то село. Было такое? В юности?

Андреев смутился.

— Да. Я его искал. Не думал, что об этом кто-то помнить может, тем более вам рассказать... Я молодой совсем был, не верил, что его могли расстрелять.

— Могли, могли. И расстреляли. Несмотря на гениальность.

Андреев, привыкший видеть за всеми словами двойной и тройной смысл, подумал, что в этих словах заключена прямая угроза.

Александр заметил, что Ипполит Карлович «тыкает» режиссеру, а тот отвечает ему подчеркнуто вежливым, намеренно официальным «вы». Но сколько бы

Андреев ни старался дать понять, что он тем самым обозначает дистанцию, каждое «ты», брошенное в ответ на «вы», звучало как легкая пощечина.

— Боишься провала, Тибальт? — неожиданно спросил Ипполит Карлович у Александра, прервав его размышления о «ты» и «вы».

— Боюсь, — не раздумывая ответил он.

— Это хорошо. Я думаю. Грандиозные неудачи — хороший признак. Вот у посредственных бизнесменов. Не бывает больших неудач. Они много никогда не заработают. Но и всего никогда не потеряют. Так и у вас. Провал — это значит, что ты чувствовал в себе силы. Взлетел. Но не рассчитал чего-то. Столкнулся с чем-то... И рухнул.

Официант, на груди которого висела табличка, извещающая, что ее обладателя зовут Мориц, изящным жестом наполнил рюмку виски. Ипполит Карлович неожиданно шумно отхлебнул, как будто пил горячий чай, а не горячительный напиток.

— Да, провал. Провал, — продолжил мысль недоолигарх. — Вот скажите, что такое деньги? По какому признаку мы можем понять, что имеем дело именно с деньгами, а ни с чем иным?

— Никогда об этом не думал! — с восхищением сказал Иосиф. Фраза далась ему нелегко, но успеха не имела: Ипполит Карлович в его сторону даже не посмотрел и величаво продолжил:

— Основной их признак — инфляция. Виски всегда виски, картошка всегда картошка, стерлядь всегда стерлядь. А за бумажки можно приобрести остров, где будет расти картошка и плавать стерлядь. А пройдет год и за те же бумажки. Ты и рюмки виски не купишь. Понимаете, к чему я? Инфляция — признак денег. Провалы — признак таланта. А у меня есть слабость. Я люблю. Талантливых людей. Они украшают жизнь. Они мне напоминают. Что, возможно, у нас всех есть создатель. Раз существуют такие изделия. Как ты, Сильвестр.

Подобных высказываний от Ипполита Карловича Сильвестр никогда не слышал. Александр понял это сразу и гадал, что же явилось причиной таких речей. Опьянение? Какая-то неизвестная пока новость из недоолигарховой жизни? Или же эти внезапные потоки откровенности значат, что в отношениях Сильвестра и Ипполита Карловича наступил перелом? И перелом этот к худшему?

Пока Александр пытался дешифровать послания Ипполита Карловича, тот осушил рюмку и протянул уже винный бокал стоящему в почтительном отдалении официанту. Тот мгновенно подошел и наполнил стеклянную емкость. Хотел бросить туда новую ледяную птицу, но Ипполит Карлович закрыл бокал рукой:

— Нет. Лебедей туда больше не кидай. Они тонут.

И снова Александр с Иосифом засмеялись. Официант глянул на них с тончайшим, едва заметным выражением презрения.

— Отец Никодим! — обратился Ипполит Карлович к полузакрытой двери. — Отец Никодим! Гости у нас. Вы же хотели пожелать пришедшим доброго здоровья!

И отец Никодим вошел, улыбнулся всем с одинаковой любезностью и простотой, и молитвенно сложил руки. Ипполит Карлович поднялся, толерантно не пригласив никого молиться с ними вместе. Отец Никодим начал протяжно и солидно:

— Христе Боже, благослови ястие и питие рабом твоим, яко Свят еси всегда, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

— Батюшка, — спросил Сильвестр, — а разве можно благословлять стол, ломящийся от спиртного?

— Не вам судить и не вам осуждать, — кротко ответил отец Никодим. — И не мне. Скажу лишь, что Господь является нам в этом мире через абсолютно земное, а порой и через низменное.

— Так подойдите ко мне поближе, и я вам шепну, где вы, следуя вашей логике, несомненно Бога отыщете. Я такие места знаю.

Священник кротко взглянул на режиссера и изобразил на лице своем покорность заповеди «прощайте ненавидящих вас» и сказал Андрееву:

— Я молюсь о вас.

И вышел. Он не солгал. Прикрыв серую дверь — не до конца, чтобы быть в курсе происходящего, он оказался в небольшом, уютно обставленном помещении. Встал на колени перед иконой Спасителя, которую принес с собой, и прошептал со всей искренностью, на которую был способен сейчас:

«Господи, вразуми их обоих. И Сильвестр, и Ипполит могут принести столько добра, а творят лишь зло. Почему? Там, за дверью, встретились нищее богатство и бесславная слава. Видишь Ты, Господи, из какой бездны взываю к Тебе. Лишь на Тебя уповаю. Лишь ты можешь, соединив тьму с тьмою, произвести свет».

Ипполит Карлович долго смотрел вслед отцу Никодиму.

— Святейший человек! Не стесняюсь говорить это всякий раз, как он уйдет.

— Он нас слышит, — сказал Андреев бесцветным, абсолютно лишенным эмоций голосом. — Он же сразу вошел, едва вы попросили его «пожелать пришедшим доброго здоровья». Вы при этом не повысили голоса ни на децибел.

— От тебя не скроешь ничего! Талант!

Ипполит Карлович, соорудив невероятный бутерброд из хлеба, черничного джема и стерляди, показал на дверь:

— Молится. И я уверен. Он молится о нас.

Подслащенная стерлядь покинула этот мир. Ипполит Карлович медленно облизал губы, прислушиваясь к своим ощущениям.

— Вот какая раньше у меня была молитва? До встречи со святейшим какая у меня была молитва? — спросил он у господина Ганеля. — Ага — не знает! А делает вид. Что все знает. А вот какая: нет отношений, кроме товарно-денежных, нет отношений, кроме товарно-денежных. Это я повторял себе денно и ночью, зарабатывая свой первый миллион... Вот что я вам, как творцам, скажу. А вы это сложите в свой багаж. Творческий. Интересная у меня внутренняя история. Я с детства смерти боюсь. Меня даже к психологу водили — мальчик семи лет, а небытия боится. Каково? Каков? Психолог тааа-аакой урод попался! Я ему ничего говорить не стал. Ну, он и успокоил родителей. Сказал, нет отклонений. Все у мальчонки в норме. Хех, — скорбно усмехнулся Ипполит Карлович. — Я понял, что лучше мне с ними о смерти больше не говорить. А они подумали, что у меня прошло. А не прошло. Я просто спрятал от них. А когда я свой первый миллиард заработал — я так ярко, так горько понял: умру раньше, чем потрачу... Так меня эта мысль и раздавила. И снова я стал в таком же ужасе. Как тогда, в детстве.

Мориц внес огромную дымящуюся тарелку и поставил перед Ипполитом Карловичем, шепнув нежно «царская уха, как вы просили». Недоолигарх зачерпнул ложку, с удовольствием проглотил и сказал официанту:

— Ты же помнишь... Я и грибного хочу.

Мориц изобразил на лице: «Как я могу забыть!»

Ипполит Карлович обратился к Сильвестру:

— Вот ты как, Сия, полагаешь — искусство вечно, жизнь коротка? Да? Ну, кивни хоть. Ага. Но ты же на этом искусстве имя свое выцарапал. Тебе только в радость, что оно вечно. А мне? Финансы вечны, жизнь коротка. Но у меня-то наоборот, не так как у тебя с искусством. Чем их больше, тем несомненно для меня моя, как говорит отец Никодим, бренность... — Слово «бренность» Ипполит Карлович произнес растянуто («брээнность»). — Вот так, творцы. Богатство мое мне о смерти все время напоминает. Парадокс, да? Вот что я записал однажды ночью про смерть и деньги. Слушайте. — Ипполит Карлович стал приподнимать одну тарелку за другой, отыскивая свои записи. — А. Вот она, моя бумажка, — под тарелкой со стерлядью с луком лежал большой лист. — Нет. Это не моя бумажка. А где моя? — Он с подозрением посмотрел на Морица, тот побледнел. — Ладно. Найдется еще. Но тут что-то тоже любопытное. Накалякано.

Ипполит Карлович утер губы белоснежной салфеткой, оставив на ней пятна жира и капли виски. И прочел:

«Спешу уведомить вас, что, если спектакль, который сейчас репетирует Сильвестр Андреев, дойдет до премьеры, все будут говорить об Ипполите Карловиче как о меценате, поощряющем мужеложство».

Все, кто сидел за столом, поняли: это конец. Отец Никодим замер в соседней комнате. Ипполит Карлович секунд пятнадцать смаковал тишину. Насладившись отчаянием своих гостей, он принялся сосредоточенно поглощать царскую уху. Ел он отвратительно, прихлебывая и причмокивая, и Сильвестр вспомнил, что во время их предыдущих совместных ужинов и обедов Ипполит Карлович себя вел исключительно пристойно. Нынешнее чавканье шло из того же источника, что и внезапная откровенность. Ипполит Карлович вел себя так, словно он за столом один. Как будто его гостей не было на свете.

— А где же моя-то записка? Я же ее специально принес, для вас. — Он снова стал поднимать тарелку за тарелкой, пока не обнаружил клочок разлинованной бумаги, на которой что-то было написано размашистым, не знающим сомнений почерком. — Вот она! «И сотворил Бог Италию, и увидел, что это хорошо...» Не. Это другое. Это я написал после Пизы. У этой башни. Что целые века падает и падает. Падает и падает. — Передвигая тарелки с места на место, Ипполит Карлович сосредоточенно искал какую-то важную для него записку. Наконец под полупустой салатницей обнаружился клочок потускневшей от времени бумаги. — Ура. Вот я. Ночью встал и записал. Кому же еще доверить такое, как не вам. «Господи, зачем же ты слил неслиянное? Почему я чувствую, как одним путем движутся ко мне — смерть и деньги? Чем полнее счета мои, тем ближе смерть моя. Забери у меня этот страшный дар»... Каково? Хорошо сказано?

— Богато сказано, Ипполит Карлович, — сказал Сильвестр Андреев, и голос его звучал спокойно, как всегда. Эта железная невозмутимость чрезвычайно понравилась недоолигарху.

— Очень рад. Что ты одобрил. Мне это важно. Тогда и дальше расскажу. Эй! — обратился он к официанту. — Давай виски с птицей. Что ее жалеть-то? Будто у нас этих лебедей мало.

Приказ был исполнен мгновенно: бокал заполнен, лебедь запущен.

— В больших деньгах большая печаль. Они бесконечны, а ты конечен. Твои,



лично твои средства — конечны. А средства вообще, мировые деньги — им нет конца. Ты такой махонький. А они подавляют. Владеют. Приказывают. Запрещают. Тот, кто этого вечного зова не слышит, просто дурак. Или бедняк. — Он снова испортил еще одну белоснежную салфетку, вытерев ею губы, и продолжил речь: — Деньги обладают всеми признаками абсолюта. Не смотрите на меня так вытаращено — я заканчивал философский факультет. Могу я хотя бы в вашем высоком присутствии. Об этом вспомнить?

— Можете, конечно, можете, — сказал Иосиф, едва не плача.

— Какой ты отвратительный человек. Я ведь так и знал. Еще до того, как ты вошел сюда. Я это знал, — сказал Ипполит Карлович и как ни в чем не бывало продолжил: — Если вы стремитесь понять, что такое бесконечность. Подумайте о деньгах. Они помогут вам постичь идею бесконечности. Если вы задумались над тем, что такое судьба. Ее капризы. Внезапные повороты. Подумайте о деньгах. Они помогут вам понять, что такое судьба. Почему к кому-то деньги идут сами? Почему кто-то вечно без них? Вслушайтесь: приток капитала. Отток капитала. Как приливы и отливы. Почему однажды ты чувствуешь — вот сегодня особый день. Все внутри гудит. Все вокруг звенит. Ты избран! И это оказывается день великой прибыли.

Ипполит Карлович сделал паузу и оглядел тарелку с мидиями. Почему-то решил их даже не пробовать. Отставил в сторону. И продолжил говорить, прекрасно понимая, что меньше всего собравшимся хочется слушать изложение его взглядов на финансовую жизнь.

— Подумайте о вечном круговороте финансов. Не кружится голова? У меня кружится. Прямо сейчас. Поток, потоки, неостановимые, как вращение земли.

Когда Александр услышал «поток, потоки», желание посетить туалет (которое начало мучить его, едва он вошел) достигло наивысшей точки. Но как прервать Ипполита Карловича? Как?

— А мировые кризисы? Мы бессильны перед деньгами. Они неуправляемы. А может, мы их прогневили. И они мстят.

— Ипполит Карлович, — раздался осуждающий возглас отца Никодима.

— Простите, святейший!

Александр понял, что миг позора вот-вот грянет.

— Я на секундочку вас оставляю? — это сказал уже не он, это говорило его неудержимое желание.

— Тогда я на эту секундочку умолкну, — ничуть не смутившись, ответил Ипполит Карлович. — Иди. Около выхода налево. Только в женский не ходи. Тибальт.

Заплетающимися от страха ногами Александр побрел к туалету. В каком-то полутумане он завернул налево, прошел по длинному коридору, потом снова повернул налево и оказался в помещении, где потрясающе вкусно пахло едой. «Мне же не сюда, — подумал Александр. — Мне же надо, чтобы наоборот... Чтобы запах наоборот...» И тут заметил того самого высокомерного Морица, который обслуживал Ипполита Карловича. Он держал в руках тарелку дымящегося грибного супа и разговаривал со своим коллегой, у которого был не столь пафосный вид. Зеленые шкодливые глазки шныряли из стороны в сторону. На лице играла лукавая улыбка.

— Давай, Мориц! Решайся! — подбадривал лукавый важного.

— Нет, я не могу... Это опасно.



— Ты каждый раз, когда мы эту тварь богатую обслуживаем, боишься, а потом говоришь: «Артемий, ты был прав, он еще не того заслуживает!» Давай уже! Не тяни Яшку за хуяшку... Эх! Все. Я сам.

Артемий склонился над тарелкой грибного супа и смачно плюнул в нее. Слюна расплылась по тарелке, окружила кусочки грибных ножек и шляпок, собралась вокруг мелко нарезанного картофеля. В глазах Артемия сверкнуло бесконечное презрение к Морицу, и Александр без труда прочел в них: «Слабак».

Артемий удалился. Александру показалось, что даже официантский фартук гордится своим хозяином.

Незамеченный никем Александр медленно и тихо отплыл обратно по коридору. Для его переполненной впечатлениями души эта сцена была лишней. Наконец он нашел туалет. Сделав все, что хотел, он долго стоял у зеркала, не желая выходить из сверкающего мрамором убежища. Но делать нечего — он снова отправился на горький пир, зная, что все кончено, что его мечты съедены этим неправдоподобным человеком, съедены вместе со стерлядью. На мгновение Александр захотел выслужиться перед Ипполитом Карловичем и рассказать о том, что видел официантские проказы. Но быстро смекнул, что ничего хорошего из этого лично для него не выйдет.

Когда он пришел, Ипполит Карлович уже поглотил полпорции грибного супа. Слюна официанта Артемия гуляла по недоолигарховым недрам.

— Заплывай, заплывай в наш аквариум, — подбодрил Александра Ипполит Карлович. — Извини, я тут без тебя говорить продолжил. Больно долго ты. Расставался. Так вот. В наших отношениях с тобой, Сильвестр. Я, как бывший студент философского факультета. Отмечаю диалектический момент. Я делаю капиталовложения, а ты у меня — капиталовынимание. И мое капиталовложение и является твоим капиталовыниманием. Что ты смотришь? Все люди искусства таковы, все. Презирают нас, у кого деньги берут. Берут и презирают. Презирают и берут. Они ведь все как думают? — обратился Ипполит Карлович почему-то к Александру, как будто не считал его «человеком искусства». — Они так думают: у вас, богатенькие дяденьки, есть деньги. Значит, вы нам должны. На святое искусство! Искусство-то может и святое. А вот те, кто ко мне за деньгами ходит, они-то святые ли? Не про тебя, Сильвестр, не про тебя говорю. Ты — масштаб. Ты — талант. Тебе — плачу с наслаждением. — Ипполит Карлович зачерпнул ложкой увесистый кусок гриба, подул на него, и с каким-то даже сладострастием отправил в рот. — Суп изумительный. Только здесь такие супы. Всем рекомендую, всех угощаю... — и снова обратился к Сильвестру: — Но ты, Сильвестр, слишком ты самоуверен. Ты чудо хотел совершить. Ты шило в мешке хотел утаить. Ибо что это такое, как не шило? — Ипполит Карлович снова поднял тарелку, скрывавшую донос Иосифа. — Вот как здесь сказано: ты стал «христианские ценности наизнанку выворачивать». Зачем, Сильвестр. Зачем наизнанку. И вообще. Что у них. За изнанка. Какой дурак это написал.

Дурак, который это написал, сидел напротив и молился. Молился, поскольку понимал, что сейчас его может спасти только чудо.

— А вот еще какие кошмары сообщены: «Что же будет проповедано со сцены нашего театра с помощью отца Лоренцо, кощунственно преображенного в буддийского монаха? Что нет добра и нет зла. Нет правого и неправого. Все едино». Отец Лоренцо! — обратился Ипполит Карлович к господину Ганелю. — Кощунственно преображенный! Как тебе мои пончики?

— Я не ел ваши пончики, — ответил господин Ганель.

— А. Еще же не было десерта. Как долго мы сидим. Хорошо сидим. Но долго.

— Если вы позвали меня для того, чтобы прочесть этот нелепый текст, — заметил Сильвестр, — то правильнее было сделать это без моих артистов.

Ипполит Карлович задумался.

— Да, вот тут ты прав. Не подумал я об этом. Тогда под спуд.

С этими словами Ипполит Карлович накрыл донос Иосифа тарелкой.

— А что ты хочешь сказать, Сильвестр?

— В каком смысле?

— Назначив карлика на роль монаха. Что ты этим хочешь сказать? Что религия в наше время занимает столь же мало места в пространстве духовном, как он в пространстве физическом? — Ипполит Карлович указал на господина Ганеля рукой, в которой держал бокал с умирающим лебедем. — Прошу у тебя прощения, но ты ведь не скрываешь, что ты карлик? Нет? Значит, я тебя не обидел? Я бы, наверное, обидел тебя. Если бы делал вид, что ты совсем даже не карлик, а наоборот.

— Вы бы меня не обидели ни в том, ни в другом случае.

— Сильвестр, а он с норовом. Должно быть, хороший артист. Они все с норовом.

Ипполит Карлович задумался, глядя в грибной суп.

— Утомился я... Меценат. Поощряющий мужеложство. Вот кто я теперь. Да, Станиславский?

— Я снова не понимаю, о чем вы.

— Выходит, дым без огня? Говорят, такое иногда бывает... Кто же этого дыму напустил? Не продохнуть. Давайте тогда без десерта закончим. Устал я очень. Лживые доносчики — это двойная гадость. Отец Никодим. Помолитесь с нами? А ты, Тибальт? Ты атеист? Нет? Так давай с нами.

Из-за занавесок вышел отец Никодим. Александр поднялся и приготовился креститься и молиться.

— А ты? — спросил Ипполит Карлович у Иосифа. — Ты не нашей веры?

— Как вам сказать... Наполовину... — залепетал Иосиф.

— Иудей?

— По матери, — с отчаянием ответил Иосиф.

— Обидел я тебя. Свинину подал тебе. Обидел.

— Нет, почему же... Я люблю свинину. Хотя вы мне не подавали... А я бы съел... Я с удовольствием...

— Так ты обиделся, что я тебе свинину не подал?

— Нет... Все так вкусно, — едва не возрыдал Иосиф.

— Тогда молись с нами, Иосиф Флавин. Или не будешь? Иосиф Флавин.

— Я с радостью...

— Знаю твои дела — ни холоден, ни горяч, — громко и грозно даже не сказал, а почти пропел Ипполит Карлович. — О, если бы ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих.

Услышав цитату из Апокалипсиса, Иосиф ощутил в душе такой ужас, что неожиданно поднялся со стула и попытался молитвенно сложить руки. Почувствовал, как веки наполняются влагой. Всклипнув, посмотрел на Сильвестра и Ипполита Карловича взглядом, молящим о пощаде. Но лица обоих ничего

хорошего не предвещали. Перевел взгляд на отца Никодима. Тот смотрел ласково.

— Ты за минуту христианином стал? — поинтересовался Ипполит Карлович. — Мы знаем из священной истории о таких случаях. Может, мы сейчас к Богу заблудшую душу привели? Здравствуй, брат! — радостно обратился Ипполит Карлович к Иосифу, как будто впервые его увидел. — Ну что, давай обнимемся? Иди сюда. Так сказать, прах к праху.

Иосиф, хоть и был на самом пике волнения, смекнул, что лучше ему в объятия Ипполита Карловича не идти. Дрожащим голосом он сказал:

— Мои христианские и семитские корни так разветвились...

— Корни. Не ветвятся, — с внезапной злобой заметил Ипполит Карлович. — Ты кого, Сильвестр, взял Шекспира поправлять? Как он писать для тебя будет?

— Да никак. Он уволен.

— Ишь ты, — изумился Ипполит Карлович. — Прямо тут? В ресторации? Не только новую веру обрел. Но и работы лишился?

— А что тянуть. — Сильвестр задумчиво смотрел прямо перед собой. — Он как в театр поступил, так дар речи у него пропал.

— Как в театр попал, так дар речи и пропал! — захохотал Ипполит Карлович.

— Ну да. Надо ему вернуть талант. Это мой долг.

— Талант это тяжелая ноша, — неожиданно вставил отец Никодим. — Будьте к нему добрее. Он, как и вы, творение Божье.

Трепещущее творение Божье с благодарностью взглянуло на отца Никодима.

— И не говорите, батюшка, талант — тяжелая ноша, — сказал Сильвестр, не глядя на отца Никодима. — Вы это знаете как никто другой. Я все гадаю, куда вас-то заведет ваш актерский дар?

— Сила! Хватит! — приказал Ипполит Карлович. — Молиться пора, да, Иосиф? Флавин. Новая жизнь для тебя начинается. Увольнение. Жизнь во Христе. Иосиф. Флавин. Я тебе хорошее выходное пособие дам, Иосиф. Флавин. Тридцать тысяч... Серебренников... А неужели отец Лоренцо не помолится с нами?

Господин Ганель почувствовал, что в нем больше нет злобы на Иосифа, зато закипает ненависть к недоолигарху. Как будто он не мог ненавидеть сразу двоих, как многие не могут сразу двоих любить.

— Я католический монах, — ответил господин Ганель.

— Ну так, слава тебе господи, не буддийский. Становись с нами.

— Я не хочу.

— Господин карлик, ты в свободной стране.

Отец Никодим затянул отрешенным голосом:

— Благодарим тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных твоих благ, не лиши нас и небеснаго твоего царствия...

Молитва закончилась. Отец Никодим бесшумно покинул он помещение.

— Ну, прощайте. Я должен один быть. Если не доели еду. Вам с собой дадут.

Александр подумал, что эту еду он выбросит в помойку перед домом. Или даже раньше.

Все поднялись одновременно. Через минуту ВИП-зал содержал лишь того, для кого и был предназначен. Из укрытия снова вышел отец Никодим. Недоолигарх предупредил его возмущение:

— Сильвестр имеет право на ошибку. Он даже имеет право не любить меня, — сказал Ипполит Карлович, не открывая глаз.

— И вы думаете...

— Я думаю, что в ближайшее время. Ничего худого в театре не случится. Мне нужно время. А потом я. Или другой театр найду. Или другого режиссера в этот посажу. Если несуразица продлится.

— Мы с Иосифом могли бы навести там порядок, если несуразица продлится, как вы говорите. И зачем вы так с Иосифом? Он хотел все изменить в своей жизни, хотел иначе предстать перед Господом. И потому написал мне письмо.

— У всякого предательства, если разобраться. Такие прекрасные причины.

— А я не знал, что вы философский факультет заканчивали.

— А я и не заканчивал. Это я так. Увлёкся. С кем еще могу так. От души. Только с тобой еще. Садись, отец Никодим.

Сильвестр сел в машину и включил зажигание. Около режиссерского «вольво» стояли трое — господин Ганель, Александр и Иосиф.

— Саша, не забудь: в пятницу в пять я жду твою подругу.

Александр с тяжелым изумлением посмотрел на режиссера: неужели что-то еще может продолжаться после такого разгрома? Вдруг заговорил — сбивчиво, быстро — Иосиф:

— Скажи только — ты знал, что я это делаю?

Сильвестр усмехнулся.

— Тогда ты еще хуже, чем я, — сказал Иосиф.

Сильвестр нажал на газ, машину слегка затрясло. Перед тем как уехать, режиссер сказал артистам:

— А вас я завтра утром жду на репетицию.

Машина Сильвестра, встроившись в поток своих сестер и братьев, скрылась из вида. Иосиф, не прощаясь, побрел по темному Тверскому бульвару. Господин Ганель и Александр остались стоять около ресторана.

## Небо и нёбо

Робкий, еле заметный снег, падал на землю. Лужи принимали и снег, и мусор, щедро бросаемый прохожими. Господин Ганель и Александр шли в одном ритме — раз-два-левой-левой: солдаты, оставшиеся без командира.

Александр заметил, что они с карликом приблизились к метро «Пушкинская». Господин Ганель жил неподалеку. Почему-то виновато улыбнувшись, он подал Александру руку, надолго задержал ее в своей и спросил:

— Как вы думаете, чем все это кончится?

— Вы же умеете проникать в мысли. — Эту фразу, как и последующую, надо было произнести с иронией, но на это сил не было. — Что затеял наш Сильвестр? Вы не поняли? Не пронзили его?

— В него я не могу проникнуть.

— Умереть с музыкой? Этого он хочет?

— Может, и так. Но я чувствую, что все будет хорошо.

— Так вы не только телепат, но и прорицатель, — так же блекло, не тратя сил

на интонирование, проговорил Александр. Господин Ганель улыбнулся и повторил:

— Я чувствую, все будет хорошо.

Улица ответила на пророчество карлика воем автомобилей, злыми лицами прохожих и агрессивным мерцанием рекламных огней. Проходящая мимо грузная женщина грубо толкнула Александра плечом и столь же грубо обругала. Тяжелыми шагами спустилась в метро. Почему-то именно это происшествие наполнило Александра тяжелой тоской. Слезные железы начали предательскую работу, и, запрокинув голову, он стал смотреть в ночное небо. Оно было черным. Александр вглядывался в небо неприлично долго, словно что-то искал. Господин Ганель не проявлял ни малейшего нетерпения. Наконец слезы отхлынули, и Александр, с некоторой опаской наклонив голову, наскоро попрощался с господином Ганелем:

— Я, наверное, еще чуть-чуть постою тут.

Карлик понимающе и грустно улыбнулся, еще раз пожал ему руку и медленно зашагал в сторону дома.

— Эй! — крикнул Александр бодро. Но лишь ярче ощутил контраст веселого окрика и овладевшей им тоски. Тем не менее крикнул снова, так же бодро, звонко. — Эй! До завтра!

Господин Ганель повернулся, поднял руки над головой, сложил их вместе и потряс. Наверное, это должно было означать, что все будет хорошо. Ведь он так чувствует. И тут господин Ганель явил городу и миру еще больший оптимизм: выставил вверх два пальца правой руки — Виктория, мол, Победа! «Ах ты маленький победоносец!» — с нежностью подумал Александр.

Карлик стоял с поднятой рукой, являя собой живую иллюстрацию высказывания Тертуллиана «верую, ибо абсурдно». Он упрямо верил вопреки всему — безликому небу и безликим прохожим, вопреки тотальным разрушениям Ипполита Карловича и высокомерной загадочности Сильвестра Андреева. Этот мир категорически не учитывал его, Ганелева, существования. А он стоял посреди Тверского и верил.

Наконец господин Ганель опустил победоносную длань и отвесил Александру вычурный театральный поклон, вызвав приступ хохота у двух девушек, проходящих мимо. Но господин Ганель не смутился — помахал им ручкой вполне себе франтовато. И слился с толпой. Исчез.

Мобильный Александра напомнил о себе. На экране засверкало имя «СЕРГЕЙ». Александр почему-то сразу догадался, что звонящий ему абонент пьян.

— Саша, привет! — Голос был таким довольным, что Александр сразу начал улыбаться. — Слушай, я понял, почему в момент поцелуя, ну, когда Джульетта целует Ромео... Слушай, ты меня не слушаешь! Ты даже не дышишь.

— Я дышу. И слышу.

— Дышишь? А ну дыхни! — захохотала трубка.

— Сам дыхни, — улыбнулся Александр. — Ты тоже пьян.

— Тоже? А кто еще?

— Ипполит Карлович.

Сергей вдруг заговорил голосом человека из простонародья (он это называл «дать сантехника»):

— От этта чилавек! Уважайу.

Александр сразу решил, что не будет огорчать его — пьяного и счастливого.

— Я по делу позвонил! — насколько мог быстро заговорил Сергей. — По делу! Я понял, почему в момент нашего поцелуя я себя дискомфортно чувствую. Все из-за твоих рук! Ты берешь меня за лицо обеими руками, приближаешь, приближаешься, а руки все на месте и на месте.

— А куда мне их девать?

— Саша, это твои руки. Твое решение — куда их девать. Только не надо так долго закрывать мое лицо от зрителей.

Александр засмеялся, Сергей подхватил его смех.

Александр понимал, что никогда не будет больше стоять на одной сцене с мужчиной, который сейчас звонит — счастливый и пьяный, самовосхищенный и смеющийся над собой. И такой близкий. Никогда. Это мгновение — свою печаль, свою любовь (которую он черпал в любви героини, а героиня — в его любви), — это мгновение он запомнил навсегда. Так, как запоминают самые важные секунды, когда память навсегда фиксирует все, что вокруг, все декорации природы: бездонное черное небо, погибающий в лужах снег; машины — грязные-застенчивые-отечественные и блестящие-гордые-иностранные; злобных, уставших, лениво идущих, быстро мчащихся мужчин и женщин.

Александр долго еще будет пытаться понять: почему он вдруг, вопреки всему, почувствовал себя счастливым? Он будет много раз возвращаться к мгновению, когда простился с господином Ганелем и заговорил с Сергеем. Ему будет казаться, что это мгновение повлекло за собой вереницу других, внешне никак с ним не связанных. Что оно было гораздо более важным, чем все предшествующие мгновения сегодняшнего дня.

— Ну! — прокричал Сергей. — Ты уснул? Не будешь лицо мое руками закрывать? Я им не только для тебя играю. Не будь эгоистом... Да что случилось у вас там? — Даже пьяный, Сергей почувствовал неладное.

— Ничего не случилось.

— Врешь ты.

— Вру я.

— Завтра встретимся в театре. Дотянешь без глупостей?

— Поторопись.

— Саня, я тебя только об одном прошу... Саня! Не пей!

И трубка засмеялась, и гудки прервали смех. Александр почувствовал, что счастлив. И спустился в метро...

...А вышел он из метро через десять дней. По крайней мере, так ему сейчас казалось. Ведь лишь сейчас он смог опомниться. Отдышаться. Вспомнить, что случилось с ним и с Наташей. С ним и театром. При воспоминании о Наташе он чувствовал боль в левой стороне тела: плечо, грудь, рука. «Так болит мое большое сердце», — подумал Александр и через силу улыбнулся. Увидел свое отражение в стекле газетного киоска: улыбка была странной. Как будто он собирался сказать важные, горькие слова, но кто-то залепил ему рот вот этой — чужой — улыбкой.

Он купил мороженое. Пусть холодно. Пусть он только недавно оправился от болезни. И чувствовал, что вот-вот заболит вновь. Пусть. Он ел мороженое и вспоминал выступление Сильвестра Андреева перед трупной. Это была речь развенчанного монарха — лишь несколько человек это понимали. Но Сильвестр был великолепен: предельно сосредоточен, суров и точен в формулировках.

Это выступление произвело на Александра неотразимое впечатление, и сейчас все события десяти дней-вихрей он видел сквозь него.

Андреев объявил, что по причинам, которые «всем известны, и потому я не стану их называть», в спектакле произойдут важные перемены. Александр лишится роли Джульетты. Он будет играть Тибальта. Господин Ганель меняет концепцию роли брата Лоренцо: буддизм изгнан, пришло христианство. На роль Джульетты претендент ищется. «Не претендент конечно же, — без улыбки поправил себя режиссер в полной тишине, — а претендентша. Все изменилось. Все».

...Мороженое обжигало губы, леденило язык, сладким холодом растекалось по небу. «Вот для Наташи было бы раздолье, — подумал Александр, — посочинять, почему небо и нёбо — такие похожие слова... Наверняка сказала бы какую-нибудь нелепость вроде «каждый носит с собой нёбо... Зев небесный...»

Александр подумал о том дне, когда привел Наташу в театр.

Долгожданное «в пятницу в пять». Помнил, как смотрел в ее глаза (испуганные), сжимал ее пальцы (дрожащие). Помнил, как подумал — а стоит ли театр со всем его возвышенным мусором таких страданий? Женщина, которую он так любит, сейчас мучается от одной мысли, что кто-то ей совсем незнакомый может ее отвергнуть. Страдает от предчувствия, что придется ему не по вкусу. И насколько этот экзамен ей важнее, чем то, что он, Александр, ведет ее за руку. Что он с нею нежен. «Мы разрываем свои души из-за миражей», — сказал он, закрывая дверь на ключ. И крепче сжал ее руку.

Но Наташа совершенно не была готова к философствованию. Выходя из подъезда, она проворчала:

— Почему это именно в пятницу в пять? Что за дата такая стихотворная? Смехотворная?

— ...Даты премьеры не изменим. — Голос Сильвестра был крепок, как всегда, и слышали его даже актеры, сидящие в почтении и страхе на самых последних рядах зала. — Мы станем, если нужно, репетировать и по ночам, но премьеру не отложим. Так не было ни разу за двадцать лет, что я руковожу театром, и так не будет. Пока я здесь.

Что за спектакль мы сделаем по «Ромео и Джульетте», пьесе о вечной любви? Спектакль о вечной ненависти. Чтобы с первой же сцены было кристально ясно: насилие — естественно, любовь — противоестественна. Поцелуй здесь — исключение, удар — норма. Герои валяются в пыли, как злые насекомые, рычат друг на друга, как звери. Дерутся у дверей церкви, как у кабака. Важной фигурой, прямым представителем ненависти, ее воплощением становится Тибальт. Я верю, что Александр сможет сыграть брата Джульетты — полузверя, жаждущего крови. Тибальт исчерпывается автохарактеристикой: «Мне ненавистен мир и слово мир».

...Наташа стояла перед дверью театра. Вдруг перекрестилась и резко вошла. Они поднимались по лестнице — один пролет, второй, третий, четвертый — она отказалась подниматься на лифте («Он обязательно застрянет, с моим-то везением»). Александр не отпускал ее руку («Пусть смеются, если увидят», — решил он).



Они поднимались по ступеням.

Легкость: Александр знает, что Наташа актриса невеликая, и, скорее всего, они через минут десять выйдут из кабинета Сильвестра, понунив головы. Тяжесть: Наташа знает, что она актриса невеликая, и, скорее всего, они через минут десять выйдут из кабинета Сильвестра, понунив головы. Легкость: «Мы выйдем из театра, и все будет как раньше», — думает Александр. Тяжесть: «Мы выйдем из театра, и все будет как раньше», — думает Наташа.

Пролеты преодолены. Вот и Сцилла Харибдовна — кивает любезно, одета помпезно. Но Наташа не заметила всесильную Сильвестрову помощницу. Она, как когда-то Александр, ослепла от черного цвета режиссерской двери. А потом, когда они вошли, и от лица Сильвестра.

Для них был подан чай. Режиссер пил из бокала воду, исследуя лицо Наташи. Присматривался к ее страху, вглядывался в робость. Взглядом привыкшего к подбострастию человека впитывал ее почти рабское желание понравиться. «Не нервничайте, пожалуйста. К вам здесь заранее хорошо настроены», — сказал Андреев.

Сейчас Александру кажется, что уже тогда в этой ласке он почувствовал угрозу. Но память льстит. Кажется, что ты все предчувствовал и знал заранее, но что-то помешало принять предчувствия всерьез. А сейчас память снова возвращает Александра к речи Сильвестра.

— Мы забудем о романтическом влюбленном Ромео. Если мы прочтем пьесу внимательно, то поймем, что Ромео — плоть от плоти Вероны, где кровь проливали так же легко... Так же легко, как проливают сейчас. Послушайте, что Ромео говорит своему другу, Бенволио: «И ненависть, и нежность тот же пыл слепых, из ничего возникших сил». Он уравнивает ненависть и любовь. Он подавлен своим чувством. Он «пригибается под бременем любви». Дальше происходит нечто, выходящее за рамки жизни Вероны. Встреча на балу. Сцена на балконе. Любовь Ромео и Джульетты — это вызов городу. И дело вовсе не в том, что они — дети двух враждующих семейств. Просто здесь так не любят.

Вот один из самых важных моментов будущего спектакля: влюбленный Ромео приходит к отцу Лоренцо и говорит: «Как заповедь твоя мне дорога! Я зла не помню и простил врага». Он полюбил Джульетту — непозволительной для этой жизни, непростительной для Вероны любовью.

Я найду решение, чтобы зритель сразу же вспомнил слова Тибальта: «Мне ненавистен мир и слово мир». Это два прямо противоположных, как любовь и ненависть, взгляда на жизнь. Полюбив Джульетту, Ромео победил свой род и свой город.

Таким образом, напряжение между Ромео и Тибальтом — основной конфликт спектакля. Их отношения не менее важны, чем отношения Ромео и Джульетты. Потому что мы...

— Делаем спектакль о ненависти, — громко отозвался Семен Балабанов.

...Наташа неожиданно начала читать монолог Джульетты — любимый монолог Александра. Вдруг, даже не вставая со стула, она заговорила-запела: «Ночь кроткая, о, ласковая ночь! Ночь темноокая, дай мне Ромео!..»

Андреев слушал благосклонно, но без восторга. Тогда Наташа, словно почувствовав, что режиссер хочет услышать монолог яростный, почти закричала,

наполнив голос отчаянием: «О сердце змея, скрытого в цветах! Так жил дракон в пещере этой дивной!» Джульетта, клянущая Ромео, пришлось Сильвестру по вкусу.

Она никогда так хорошо не играла. Александр подумал о том, какой оплодотворяющей мощью обладает талант Андреева. Даже маленькие талантики на время обретают мощный голос. Пока Он на них смотрит.

Наташа читала и читала монолог Джульетты — восторженно, забыв, что ее могут, как выстрелом, сбить одним лишь «спасибо». Она не думала, что Александр, возможно, больно слышать, как подруга властно присваивает его недавнюю роль. До подобных ли рассуждений в такой момент? Поэзия Шекспира захватывает. Взгляд режиссера гипнотизирует. И ей самой нравится, как она владеет своим голосом — то снижая его до отчаяния, то возвышая до надежды.

Она закончила монолог, ни разу не прерванная, не оставленная вниманием. Андреев молчал. Смотрел то на нее, то на Александра. «Вам повезло. Ваша подруга изумительна. — Сильвестр сделал паузу, потянулся к бокалу с водой, передумал пить и добавил: — Но не это главное. Она хорошая актриса». Наташа ждала, как приговора, слов, которые должны последовать, и они явились: «Вы приняты в труппу». — «Я не верю», — вдруг ответила Наташа. Андреев засмеялся: «Не верите мне, поверьте тогда отделу кадров. Завтра придете туда и оформитесь. А начнем мы с ролей немногословных, но важных».

И потом они спускались по лестнице. Наташа снова отказалась ехать на лифте. «Вот теперь уже точно застряну, а я хочу танцевать, танцевать, танцевать», — шепнула она ему, проходя мимо стола Сциллы Харибдовны. Наташа была потрясена своим успехом. Не думала, что может ранить Александра, причем не только своим легкомысленным отношением к его переживаниям по поводу роли Джульетты. Он заметил и почти эротическое наполнение ее желания войти в круг тех, кого ценит Сильвестр Андреев.

И снова кинолента памяти показывала режиссера.

— ...И что происходит дальше? Ромео, «который не помнит зла», убивает того, «кому ненавистен мир». Ромео убивает Тибальта. Не наоборот. Оказывается, ненависть продолжала жить и в полном любви Ромео. А его новый взгляд на мир жил в нем лишь несколько часов. Помните, как он говорит: «Любовь страшнее ненависти...»

И что же в конце? Ромео и Джульетте устанавливают памятник. И наступает мир — мрачный, тяжелый, мир, готовый в любой момент взорваться насилием. Ему не будет конца, пока не погибнет сама Верона. Я уверяю вас, нам будет легко создать на сцене такой мир, поскольку мы понимаем и чувствуем, о чем идет речь, мы сами плоть от плоти вечной Вероны. Простите уж за пафос. Хотя можете не прощать.

...Выйдя из театра, Наташа ощутила-вспомнила, что Александр рядом. Они остановились у того же фонтана, который был свидетелем их первой встречи, когда Наташа так легко презрела свое замужество. Проклиная свой эгоизм, Наташа бросилась благодарить-целовать его.

«Мы делаем спектакль о ненависти».

«Боже мой, как я счастлива. Я не могу поверить! Если бы не ты, разве я бы могла? Даже мечтать! Спасибо!»

«Мы делаем спектакль о ненависти».

«Неужели сейчас зима? Мне так жарко! Хочу раздеться!» — Она посмотрела на него лукаво, он обнял ее, что-то шепнул на ухо, она ухмыльнулась, вдруг вырвалась, слепила снежок (о, грязный снег!), и запустила им в живот Александра. Снежок разбился насмерть.

«Мы делаем спектакль о ненависти».

И наступили дни знакомства Наташи с труппой, а труппы — с Наташей. Господин Ганель с подчеркнутой учтивостью подал руку Наташе и больше ее судьбой не интересовался. Преображенский рассматривал Наташу с каким-то веселым, почти неприличным интересом и слово в слово повторил фразу Сильвестра: «Твоя подруга изумительна».

Что за странный блеск в его глазах? Или болезнь снова искажает прошлое?

Александр чувствовал, как его обжигают взгляды многоглазого чудовища — труппы. Ревность, недоумение, зависть, насмешки... Чудовище было и многоголовым — со всех сторон, исподтишка, его обдавали шепотом, как кипятком. Шепотом, несущимся со всех углов. Вероятно, он уже тогда начал болеть. Ему стало казаться, что все что-то знают о нем, что-то нестерпимо позорное...

«Мы делаем спектакль о ненависти».

Александр вспомнил, как Иосиф вышел из кабинета Сильвестра печальный и просветленный. Подошел к Александру и Наташе. Голос его дрожал, лицо сияло:

— Я не верил, что он простит меня. А он! Он даже оставил меня в театре! Большое, большое сердце! А, это ваша дама?! Наташа? Изумительна! Позвольте ручку. Не приревнуете? Конечно, нет, что я спрашиваю, самонадеянный. — Он поцеловал Наташе руку. — Но каков Сильвестр? Великий человек! Огромное, космическое сердце!

Господин Ганель становился все загадочнее и загадочнее. Стал сторониться Александра и Сергея. По вечерам заходил в кабинет Сильвестра. Они вместе внезапно начинали хохотать и так же внезапно прекращали. Раскаты хохота тревожили труппу. Ревновал даже Сергей Преображенский. Что уж говорить о простых, а тем более о простейших смертных, которыми переполнен театр. Ревновал и Александр. Он успел почувствовать и это, хотя, казалось бы, до ревности ли к режиссеру ему было? Вот у кого большое сердце. И на этом моменте воспоминаний оно начинает лихорадочно биться.

Александр вспоминает внезапный приезд Ипполита Карловича с отцом Никодимом на репетицию. Отеческую заботу первого. Почтительное благодушие второго.

И тут память отказывалась исполнять свои обязанности. Кинолента прерывалась. Память-монтажер старалась изъять отрывки, которые нанесли бы удар по психике единственного зрителя. Но этот зритель делает усилие, и видит —

тьму. Он не смиряется, и тогда из этой тьмы проступают — о пошлость! — ярко-красные цветы. Александру кажется, что это похоже на какой-то давний и страшный сон. Или — на нечто скомпонованное из сна и яви. И вот он, силясь одновременно вспомнить и забыть, видит цветы. Но и этого красного сигнала достаточно. Ему ли, столько лет прослужившему в театре, не знать романтической обходительности Ипполита Карловича?

В голове вспыхнули и уже не погасли слова Андреева: «Ваша подруга изумительна».

Вдруг он почувствовал, как на лицо ложатся холодные капли. «Дождь? — удивился он. — Дождь в феврале?»

В мозгу стучало «ваша подруга изумительна», в мозгу плясало «ваша подруга изумительна», мозг разрывало «ваша подруга изумительна».

Вот-вот, вот-вот, вот-вот: стучало сердце. Оно вспомнило. Что сейчас. Он должен идти к Наташе. Ноги идти отказывались. А идти было надо. «Не капитулировать же перед этим огромным букетом? Размером с презрение Ипполита Карловича к людям? А если не капитулировать, то что делать... Бороться? Господи, какая же смешная предстоит сцена. Я буду упрашивать Наташу не идти... не идти в особняк... Ну разве можно об этом упрашивать? А что — прийти и молчать? Господи, какая смешная предстоит сцена... Вот сняли меня с роли. Дали второстепенную. Теперь приказывают: будешь второстепенным во всем. Тень, знай свое место! Да я знаю, знаю, и без вас знаю, господа командиры, господа распорядители... Как же я не хочу идти к ней! Спрятаться. Вот чего я хочу».

Но Александр понимал, что это не вполне правда. Потому что он испытывал чудовищную ревность. Он представлял Наташу, входящую в особняк, улыбающуюся, легкомысленную, изящным жестом сбрасывающую туфли — она же наденет туфли, ведь в машине, которая ее привезет, будет совсем не холодно... И в первые же минуты оцепенеет перед нимбом сказочного богатства, мерцающим над Ипполитом Карловичем.

...Как же все это стало возможным? Не подтасовка ли это? Не сон? Не бред? «Вон как тяжело двигаться — как сквозь вату — может, и сон». И он произнес слова из своей единственной крупной роли, которую ему так и не дали сыграть: «Зачем судьба кует такие ковы столь беззащитным существам, как я?»

Ему никто не ответил. А ковы, и правда, ковались: Ипполит Карлович уже выслал за Наташей машину. И она мчалась по вечерней Москве, притормаживала на красном, вежливо пропуская пешеходов. Светофоров, отделяющих машину от цели, оставалось все меньше. Александр словно почувствовал это и зашагал настолько быстро, насколько мог.

А Ипполит Карлович чинно беседовал с отцом Никодимом. Он потрясал священника похабнейшими историями из своей жизни, а тот не смел уйти: этот эксгибиционистский балаган недоолигарх именовал исповедью.

Пока Александр шел, он заболел — текли слезы, сопли, дождь. Зима глубокая, беспросветная, всеохватная. Разве можно не заболеть в такую погоду? Да еще и когда мысли твои сродни зиме, из них струится холод, они рожают насморк, они слезят глаза.

Если бы Александр увидел себя со стороны, то отметил бы, что ведет себя весьма нетривиально. Он остановился на углу потемневшего от времени и от того, что уже наступил вечер, дома. Прислонился к трубе. Лбом. Слушал, как мелко и быстро тарабанит мелкий и быстрый дождь. Дождь был почти незаметен, и оттого казалось, что ему не будет конца. Вода лениво капала из трубы, образовывая, как потом сформулировал это в дневнике Александр «небольшую, но надолго прибывшую на эту землю лужу».

Александр собрал ладонью воду, промочил ею лоб, глаза, и, помедлив немного — шею. Охладил себя и снова пошел, медленно и неровно.

Он шел, чувствуя холод снаружи и жар внутри. Верный признак болезни. Верный признак боли.

Он долго стоял у двери в свою квартиру. Стоял почти вплотную. Всматривался. Прикасался. Отдергивал руку. Наконец распахнул — нешироко. И протиснулся в проем — робко. С мокрой от дождя одеждой и от слез лицом, он вошел прямо в комнату. Наташа сидела на диване. Не повернулась в его сторону. Он спросил:

— Наташа, я правильно понимаю?

— Надеюсь.

— Зачем тебе это?

— А зачем мне вообще все?

Она внезапно вскочила с дивана. «Боже, да она в ярости», — с изумлением подумал Александр. Этого он никак не ожидал. Дождь тарабанил — мелко, быстро — в голову. Он все сильнее погружался в болезнь, слушая, как Наташа кричит, не замечая ни темнеющих кругов под его глазами, ни его пылающих щек.

— А зачем мне вообще все? В целом? Частями? Чем это хуже?

— Хуже чего?

— Того, что есть.

— Лучше бы лучше.

— Лучше бы — да. Но — но.

— А я?

— А я? — спросила она и усмехнулась. — Вот так вот мы и живем. Ты говоришь «А я?», я отвечаю «А я?» И чему ты удивляешься?

Александр сел на диван, который мгновенно стал впитывать его влагу.

— Я не понимаю тебя.

Она заговорила столь же резко, как раньше, но уже тише:

— Я в этом не нуждаюсь.

— А я? — беспомощно отозвался Александр и облизал губы.

Наташа захохотала.

— Ты все время будешь повторять?

— А ты?

— Мне нужно уехать.

— В куда?

— В тебе-то что?

— Я люблю.

— Помню, когда ты сох по Сергею, я тебя поняла.

— Сох!!! — Он повторил это слово, не веря, что услышал его. — Сох? — повторил он снова, изумляясь внезапной жестокости своей подруги. Дождь

усилился, застучал сильнее. Александр закрыл уши, но тут же отнял руки. — «Нелепый жест. Дождь же внутри», — подумал он, и частью пока еще не тронутого болезнью сознания понял, что мысль еще нелепее жеста.

— Но это было другое, — не глядя на Наташу, едва слышно, сказал он. — И это другое.

— Мы пожалеем.

— Мы?

— Ты. Я. Мы.

— Ты — возможно.

— Зачем так? Жестоко зачем?

— Смешно по-другому. Нежно сейчас — смешно.

— А я и смеюсь, Наташа.

— Мне кажется, совсем наоборот.

— Зачем ты меня мучаешь? Если бы понять — зачем? Мне стало бы легче.

— А ты?

— Я?

— Ты.

— Мучаю тебя?

— А что ты сейчас делаешь?

И навсегда в памяти остались ее глаза: невыносимо зеленые.

Когда Наташа ушла, он продолжал слышать «а ты, а я, а ты, а я, ты пойми, ты пойми», и надо всем царственно возвышалось: «ваша подруга изумительна».

## *Провал самоанализа*

Ипполит Карлович прощался с Наташей намерено сухо: словно провожал горничную, исполнившую немного больше обязанностей, чем оговорено в контракте. Сказал, что ее ждет машина и пожелал «всех благ». Наташа была потрясена этим словосочетанием. Ничего не ответила. Ипполита Карловича совершенно не изумила невежливость гостьи. Пожелав ей «всех благ», он удалился. Неспешно.

Выйдя из дома, Наташа увидела в огороженном высоким каменным забором дворе машину, которая должна была увезти ее. Неподалеку стоял отец Никодим и тихо что-то втолковывал незнакомому ей молодому человеку. Священник отчаянно старался сделать вид, что не замечает ночную гостью недоолигарха. Заметив, что отец Никодим прячет взгляд, Наташа подошла к нему почти вплотную. Тот встрепенулся, словно вор, застигнутый врасплох.

— Не бойтесь, я не благословения подошла просить, а успеха во всех делах вам пожелать. — Наташу саму изумила дерзость, с которой она обратилась к священнику. Видимо, после высокомерного прощания Ипполита Карловича ее ранило любое проявление неблагосклонности. Отец Никодим с кротостью ответил:

— Я буду молиться о вас и о нем.

Наташа отшатнулась от черного цвета его рясы, от его сострадательного взгляда. Быстро зашагала к машине. Села, громко хлопнула дверью, открыла окно и крикнула, заставив шофера вздрогнуть:

— Вашими молитвами! Что бы мы без них делали этой ночью!

Отец Никодим глубоко вздохнул, перекрестил Наташу и машину и вошел в особняк. «Я больше не могу находиться в этом доме. Мое присутствие помогает дьяволу смешивать зло с добром, делать их неразличимыми, — горестно восклицал он про себя. — Сейчас я скажу Ипполиту Карловичу, что это был последний раз... — Он остановился, и, слегка презирая себя, добавил: — Скажу, что следующий раз будет последним».

Встреча со священником оказалась самым мерзким впечатлением Наташи от посещения особняка. Ей даже стало легко оттого, что мутный поток ее чувств и мыслей хоть на время обрел очертания: ненависть к отцу Никодиму. Она возненавидела батюшку так сильно, словно он был виноват во всем. «А в чем это, собственно, во всем?» — спросила себя Наташа. И не смогла ответить. И услышала другой вопрос — от водителя: «Куда вас отвезти?». С растерянной улыбкой проговорила «Куда угодно». Но, заметив, как в зеркале нахмурились шоферские брови, сообразила, что обладатель бровей понял ее превратно. «Шучу, — сказала она. — Везите на угол Тверского и Тверской» — «В смысле бульвара и улицы?» — «Именно!» — Наташа захохотала: ответ шофера показался ей хамски-остроумным. «Бульварно-уличные ассоциации я вызываю у этого... рулевого», — подумала она, глядя, как в зеркале заднего вида исчезает особняк Ипполита Карловича. Ей показалось, что очень неприлично звучит «зеркало заднего вида», и она принялась сочинять варианты переименований, но уже через минуту забыла об этой затее.

Она оказалась на перекрестке. Слегка заиндевелившие уличные часы показывали девять. Москва была окутана зимним туманом-смогом, и прохожие казались почти нереальными в светло-сизом утреннем цвете. Улыбаясь (мужчины думали — очаровательно, женщины — глупо), Наташа занялась самым трудным и малоприятным для нее делом — самоанализом.

Вчера она не заглядывала в будущее дальше этого утра. Это нелепо, почти невероятно для взрослой женщины. Но это правда. Она принялась мерить шагами расстояние от светофора до магазина «Армения». «Один... Два... Три...» Странному занятию она отдалась с неожиданным энтузиазмом. Как будто самое правильное, что может делать женщина в ее ситуации — измерять расстояние от магазина до светофора.

Количество шагов от светофора до магазина «Армения» неизменно оказывалось разным. Наташу это развлекло. Она нарекла свое занятие «метафизической математикой». Ведь если даже в таком вопросе, как расстояние от «Армении» до светофора, нельзя установить истину, то можно ли ответить на вопросы более сложные: каких выгод она ждала от посещения особняка и куда ей теперь идти?

«Двенадцать... Тринадцать... Четырнадцать... Саша... Саша... Саша... Он наверняка... Себя обвинять начнет... Прощения станет просить... Что довел меня до такого... Какая гигантская пошлость... Пятнадцать, семнадцать... Вот черт, снова! Снова шестнадцатый шаг пропал...»

Она помнила, что к Саше ее вело чувство, будто он владеет ключами от ее блистательного будущего. И вот оно, это будущее, которое она получила через Сашу: Тверской бульвар, холод, светофор, «Армения».

Наташа захохотала, вспомнив, как перед сближением Ипполит Карлович степенно проговорил: «Теперь я пойду в кабину. Душевую». Он произнес это так торжественно, словно оповещал о передвижении войск.



«Он не может не понимать, что смешон в постели. Именно смешон. Он исполнял роль... Вот кто он был? Совокупляющийся небожитель. — Наташа была рада, что нашла точную формулировку. — Что-то древнегреческое было в нашей близости... Секс бога и смертной женщины... Кто же родится от нашего союза?»

Странно, что Ипполит Карлович не пожелал предохраняться. Хотя оба рисковали в равной степени, Наташа была изумлена именно его решением. Словно столь богатый человек имел гораздо меньше прав рисковать собой. А ее возможная беременность? Почему он об этом не подумал? Ведь если небожитель сделал ей сына, она получит божественные алименты...

Совершающей светофорно-магазинную прогулку Наташе было ни грустно, ни весело, ни хорошо, ни плохо. Ее нынешнее состояние можно назвать бесчувствием. В общем-то, и с мыслями было не густо. Прогнозы последствий поступков, анализы их причин — все это не давалось ей раньше, не далось и сейчас.

Обычно она с удовольствием выслушивала мужчин, которые объясняли ее часто нелогичное поведение. Но Наташе просто льстило, что они так внимательны к ней. В их словах она находила мало смысла. Их объяснения были очень мужскими и основывались на ошибочном посыле: Наташа, как все простые смертные, что бы ни делала, стремилась улучшить свое положение. Но как она могла его улучшить, если не знала, где для нее находится это лучшее?

Наташа вспомнила, как несколько лет назад на вечеринке человек, который знал ее лучше всех — ее муж — сказал своему другу в припадке пьяной откровенности, не стесняясь ее присутствия: «Не надо видеть загадки там, где ее нет. Наташа гораздо проще своих поступков». Эти слова она запомнила. Ей показалось, в них больше правды, чем в каких-то уж очень художественных интерпретациях ее, в общем-то, незатейливого пути. Но сейчас желания Наташи не были совсем бесформенными. Сейчас ей хотелось быть уверенной, что вечером она не останется одна. О том, чтобы идти к Саше, не могло быть и речи.

В душе ее снова мелькнул образ мужа.

Наташа взглянула на часы (инея на них уже не было) — без пятнадцати одиннадцать. Значит, она почти два часа безуспешно пыталась понять себя и измерить это чертово расстояние. Раз попытка самоанализа снова провалилась, она решила упорствовать в другом деле и довести до победного конца хотя бы расчет шагов. Тем более что до репетиции, а значит, и до встречи с Сашей, оставался целый час. И Наташа, глубоко вдохнув холодный воздух и выдохнув теплый, снова пошла в математическую атаку. «Один, два, три...»

## *Алкогольные облака*

Господин Ганель шел из дома в кафе «Пушкин» — то есть примерно к тому месту, где предавалась метафизической математике Наташа. Он хотел за чашечкой эспрессо привести мысли и чувства в порядок.

Карлик был бледен. Он плохо спал этой ночью. Переживал за друга, боялся даже представить, что перенес Александр. Но мысль упорно, всю ночь — во сне и наяву — возвращала его к Саше. Господин Ганель засыпал, и ему снилось, что над Александром глумятся две пожилые тетки. И Ганель просыпался, хотел

звонить Александру, но хорошее воспитание оказывалось сильнее желания безотлагательно помочь другу. И засыпал снова.

Карлик почувствовал, что не в силах дождаться, когда увидит Сашу в театре. Он остановился у огромного тополя, повернулся так, чтобы ветер дул в спину, а не в лицо, и набрал номер. Сквозь негромкое завывание ветра он услышал слабое Сашино «Как же я рад вам, господин Ганель».

— Я тоже очень рад, как вы?

— Хотите спросить, как я перенес случку Наташи и нашего спонсора?

Александр почему-то сделал ударение на последнем слого, а господин Ганель не нашел ничего лучше, чем поправить его:

— СпОнсора.

— Да, вы правы, спОнсора... Отвратительно перенес я их случку. — Александр говорил каким-то пустым голосом. — Но живой я, живой. Может, даже в театр приду.

— Саша, я прошу, возьмите отпуск на время, на долгое время. По состоянию здоровья. Сильвестр поймет, я обещаю, я все сделаю, чтобы он понял вас...

Александра кольнуло, что господин Ганель обещает повлиять на позицию и даже на чувства режиссера. Но гораздо сильнее его кольнуло другое — что ему советуют самоустраниться, исчезнуть.

— Я привел ее в театр, секс со Скруджем ей устроил, а теперь мне что? Катиться колбаской по Малой Спасской? Представляете себе, как я качусь колбаской? Ха! Это зрелище. Знать бы хоть, где эта Малая Спасская. Вы знаете?

— Я не знаю, где Спасская. — Господин Ганель страдал. — С каким Скруджем вы ей устроили, я не понимаю... — растерянно спросил он.

— Со Скруджем Мак Даком! — крикнул Александр и нажал на сброс.

Господин Ганель заметил Наташу, совершающую паломничества от светфора к магазину «Армения» и обратно. Карлик решил свернуть в ближайший переулок. Но подумал, что Наташа уже его, скорее всего, заметила, а потому изменение маршрута будет выглядеть нелепо. И он направил шаги навстречу той линии, которую упорно прочерчивала Наташа.

— Добрый день, — сказал он, едва заметно улыбнувшись.

Наташа невероятно обрадовалась господину Ганелю.

— Добрый! Какими судьбами?

— Я живу недалеко.

— В самом центре! Вы состоятельный человек!

На секунду господин Ганель почувствовал жалость к ней, но тут же его настигло воспоминание о недавнем разговоре с Сашей. И он нахмурился, мгновенно напомнив Наташе, как сдвинул брови шофер Ипполита Карловича. «У всех теперь при виде меня брови срastaются», — подумала она и задорно спросила:

— Могу я вам составить компанию?

Господин Ганель подумал: «А ей идет мороз, в театре она не такая привлекательная. А может быть, ей идет несчастье? Бывает такое?»

— Ну же? — слегка капризно настаивала Наташа. — Могу составить компанию? Нам же по пути?

— Конечно по пути, конечно, можете, — даже как-то излишне поспешно ответил господин Ганель. И они зашагали к театру.

— У Ипполита Карловича великолепный особняк, — вдруг бросила Наташа, как бы между делом, не поворачивая головы.

— Вы уверены, что об этом нужно говорить? — робко спросил карлик.

— Ведь вы только об этом и думаете. Почему бы и не поговорить?

Господин Ганель заметил, как от ее лица отлетело облачко пара. Его дыхание не порождало таких явлений в атмосфере. Он даже специально мощно выдохнул, чтобы проверить, каким будет атмосферный результат. Из его губ вырвалась едва заметная малопривлекательная струя. Облачка возле губ разгоряченной Наташи были гораздо плотнее и изящнее. Карлик вдруг подумал, что в такую женщину можно влюбиться. «Даже воздух, который она возвращает Тверскому бульвару, соблазнителен!» — подумал господин Ганель. И даже — грешным делом — запомнил момент, когда на Наташином лице отразился сплав отчаяния, дерзости и растерянности. Это мгновение показалось ему весьма эротичным. Он нередко фиксировал в сознании — до черточки — женские лица. Господин Ганель называл это «сделать эротическое фото на память». Лица ему было достаточно. Увидеть большее он не рассчитывал. Вернее, большее он видел, но уже в своих фантазиях.

Женщины были бы потрясены, узнав, в каких дерзких грезах они принимают участие. Эротический фотоальбом господина Ганеля был, надо признаться, подростковым. Он спасал женщин от злодеев и одновременно сам был злодеем. Похищал их, заковывал, наслаждался ими, потом снова спасал, вызывая у них невыносимые перепады эмоций — от благодарности до ужаса. Коварный ли маньяк, благородный ли спаситель — повелителем в этой эротической вселенной был он, господин Ганель.

— Так почему бы не поговорить? — повторила вопрос Наташа, зашла чуть вперед и посмотрела на него в упор: пронзительные глаза глядели с вызовом, но на дне их таилась мольба, которую господин Ганель то ли действительно увидел, то ли придумал. К этим молящим глазам он тут же добавил две, нет, три слезы. Разорвал на ней одежду, что было непросто — шубка, потом кофточка, а он все-таки не силач. Но воображение справилось с задачей. На прекрасные запястья надеты кандалы. Покоренная Наталья спросила снова — тихо, обреченно:

— Так почему бы нам не поговорить? Вы же все время об этом думаете?

— Я не люблю выяснять отношений, — сказал господин Ганель, любуясь облачками воздуха, вылетающими из ее губ. — Тем более чужих отношений. Простите меня, я вижу, вам плохо, но помочь не смогу.

— Мне плохо? — Наташу оскорбила жалость карлика. К презрению она была готова, к жалости — нет.

— Вот видите, Наташа, — начал карлик, и она отметила, что господин Ганель впервые за все время знакомства назвал ее по имени. — Видите, я только одно лишь слово о вас сказал, а вы уже обижаетесь.

— А вам разве не интересно, почему у нас с Сашей все так получилось?

Ветер донес до господина Ганеля запах алкоголя. Очаровательные облачка, которые порождала Наташа, были высокоградусными.

— Наташа, если вы явитесь в театр пьяной, — она посмотрела на него с «очаровательным гневом» (именно так он подумал), и господин Ганель сформулировал иначе, — не совсем трезвой, то это будет последний день вашей службы у нас.

Чувствовалось, что ему при любых обстоятельствах нравится говорить про знаменитый театр — «у нас».

— Я не думаю, что меня могут уволить. Теперь. ...Я, может, сама кого-нибудь уволю.

Наташа смотрела на господина Ганеля с каким-то отчаянным вызовом.

— Наташа, вы не сможете быть стервой. Даже не пытайтесь.

— Почему вы так говорите со мной? — Облако Наташи. Восторг Ганеля. — И с чего это у меня не получится стервой быть?

Снова облако. Снова восторг.

— Сил у вас на это не хватит. Простите за прямоту.

Дальнейший путь к театру они преодолевали молча. Когда вдали показались афиши и засияла надпись «Художественный руководитель театра лауреат Государственной премии России Сильвестр Андреев», Наташа спросила:

— А почему вас все называют господин? Почему не просто Ганель?

— Началось все с издевательского прозвища. Мол, такой крошечный, а господин, — охотно объяснил карлик, не удивляясь неуместности вопроса. Он говорил, любясь ее профилем. — А потом меня стали так называть уже не в насмешку. Я и не заметил, как смешное превратилось в уважительное... Мне кажется, что в уважительное. Не противиться же мне этому имени?

— Что вы! Господин Ганель! Только так вас и надо называть! Даже если бы вы сменили имя, я бы упорно называла вас господин Ганель! Вы, наверное, единственный из моих знакомых, у кого имя так подходит к облику. Как влитое, — улыбнулась Наташа, и карлик подумал, что на месте Саши он простил бы ее. За несколько вдохов и выдохов.

— Я слышал, что вы как-то особенно внимательны к словам. Для актеров это такая редкость сейчас, — вдруг похвалил ее господин Ганель. Сострадание и вождение были соавторами этого комплимента.

Наташа уловила совершенно неожиданную интонацию, с интересом глянула на господина Ганеля и мгновенно угадала, что с ним происходит. Она решила отложить до лучших времен свое наблюдение: о воспламенившемся карлике она если и подумает, то не сейчас.

Господин же Ганель с удовольствием втягивал аромат порождаемых ею алкогольных облачков и думал: «Удивительная женщина! Даже перегар от нее какой-то шанельный».

Когда они подходили к театру, из машины, что стояла у служебного входа, вышел Александр. Был он небрит и еле волочил ноги. Черная неуклюжая шапка, потертая коричневая дубленка, грубые оранжевые рукавицы: эти вещи Наташа давно забрала. Настаивала, чтобы Александр их выбросил. Но он их хранил, и вот их час пробил: они стали символом его бунта. И вместе с тем — трауром. Его комическим трауром.

Господин Ганель, с таким вниманием относящийся к внешнему виду, был поражен чучелообразным обликом своего друга. А первое, что подумала Наташа, увидев Александра: «Он же последние деньги потратил на такси». Второе: «Он стал призраком блошиного рынка». Наташа невольно улыбнулась. И снова ощутила бесчувствие.

Господин Ганель хотел было проскользнуть в служебный вход, но почувствовал, как рука Наташи крепко сжала его руку. Он остановился. Бесформенной громадой подошел к ним Александр.

— Приветствую, — мрачно и гордо произнес он и медленно прошествовал в театр.

Румянец заполыхал на щеках Наташи. Глаза смотрели вниз — на смешанный с грязью снег. «Фотоаппарат» господина Ганеля защелкал с удвоенной силой. И только когда Наташа отпустила его руку, и, не говоря ни слова, пошла в свою гримерную, он осознал, сколько боли было в глазах его друга. Господину Ганелю стало стыдно.

### *Джульетта сама нас нашла*

...Зрительный зал был полон актерами. Сильвестр оглядел свою паству и потребовал:

— Внимание.

Паства притихла мгновенно.

Наташа выбрала место отдельно от всех во втором ряду. Через два ряда от нее — Сергей Преображенский.

— Сегодня мы наконец-то обрели Джульетту, — намеренно будничным голосом произнес Сильвестр. — На роль юной Капулетти назначается Наталья...

Паства охнула и замерла.

— Как ваша фамилия, Наталья?

Наташа обернулась, ожидая, что увидит тезку-счастливцу, с которой Сильвестр решил поиграть в игру «я забыл вашу фамилию». Наташа приготовилась ревновать, ведь втайне, совсем втайне, она мечтала об этой роли. Внезапно она почувствовала, что именно ее со всех сторон прожигают ревнивыми взглядами.

— Наталья, вы свою фамилию забыли?

Сомнений не было: Сильвестр обращается к ней. И часы бесчувствия для Наташи закончились. Из глубин ее существа поднялось ликование, его срубил страх, мелькнула надежда, взмыла вина, явилось самооправдание... Да. Ее путь к роли был сложен. Но когда она, впервые придя к Саше, подумала: «это мой год», — она не ошиблась. Получается, что таким причудливым, таким почти непристойным путем Саша привел ее к роли.

— Вы должны простить, что я не помню вашей фамилии, — сказал Сильвестр. — Вы ведь так недавно в театре. Вы покорили меня исполнением роли Джульетты в моем кабинете.

Кто-то тихо и гнусно хохотнул в полутьме зала. Господину Ганелю показалось, что Сильвестр говорит намерено двусмысленно. И вместе с тем открыто дает понять, что назначает на главную роль актрису, практически ему не известную. Режиссер говорил как бы не с Наташей, а поверх нее.

— Когда вы исполняли роль Джульетты в моем кабинете, я подумал — зачем искать уже найденное? Джульетта сама нас нашла. Сергей Преображенский сегодня останется до полуночи. Мы вместе пройдем все парные сцены, все сцены Ромео и Джульетты. А через десять минут начнем репетиции массовых сцен. Пока можете подготовиться. Я скоро вернусь.

И Сильвестр вышел из зала.

Труппа загудела, зажужжала, всеми жалами впилась в новость. Наташу никто не стеснялся. Никто не поздравлял. Она слышала намеренно громкие фразы: «Чему удивляться? Она сегодня ночью доказала право быть Джульеттой», «Ой, прекрати, как будто она первая это доказала. Другие вот доказывали-доказывали, и ничего», «А вы ее видели в каких-то ролях?», «Да ее никто на сцене

не видел», «Как? А Сильвестр?», «Так то в кабинете!», «А, ну да, ну да!», «Прекратите, она прелестная девочка», «Прекрасный повод для такой роли», «А Саша-то, Саша, смотрите, не пошевелился даже, бедный...», «Да, может, он богатый. Теперь-то», «Нет, это совсем низость», «А сидеть здесь и бледнеть перед всеми — это не низость!», «Это высость», «Ой, не мелите вздор», «Я мелю?», «Вы мелите», «Хорошо, пусть так, пусть я мелю, а у вас голос писклявый», «Пискляваяяый?», «А какой же? Это все знают. Я вас от лица всей труппы вас прошу — хотя бы в сцене бала не надо попискивать! Зачем, ну зачем вы пищете, когда танцуете, дорогой мой? Это нас всех сбивает с ритма», «Да он нарочно пищит», «Я не нарочно! Да я вообще не пишу!», «А вот сейчас, по-вашему, что вы делаете? Вы что, у мышей уроки мастерства брали?», «Господа, вы с ума сошли, опомнитесь, вы же в театре!», «Действительно, стыдно. Спасибо, что вы нас осадили. Теперь вы наша совесть. Назначаем вас. Раз других ролей для вас не нашлось...»

Самые умные смекнули, что назначение Наташи — вызов недоолигарху. Сильвестр доводит ситуацию до абсурда: ночью особнячок, а наутро — Натали, получи главную роль! Скорее всего, это очередной ход в битве с Ипполитом Карловичем, о которой знал уже не только весь театр, но и вся Москва. Только в чем смысл этого хода? Какова цель? Никто понять не мог.

Наташа, пунцовая от позора и успеха, подошла к Сергею, который конечно же не участвовал в жужжании. Он читал газету. Не демонстративно. Просто читал. Наташа, не здороваясь, стала что-то сбивчиво говорить ему. Положила руку на плечо. Сергей отложил газету в сторону и еще вальяжнее раскинулся в кресле. Улыбнулся ей одной из самых обворожительных своих улыбок.

«Хорошо бы сейчас умереть», — закрыв глаза, подумал Александр. Но не умер.

## *Растерянная судьба*

Когда мы говорим — «это судьба», то всегда имеем в виду что-то величественное. А судьба супруга Наташи Дениса Михайловича имела облик растерянной женщины. Он всегда это знал. И знал, что дверь за Наташей захлопнулась не навсегда.

И в этот вечер она раскрылась — робко. В тишину проник стук двери, «звук открывающихся сапог», легкое, смущенное дыхание. Денис Михайлович не решился выйти из спальни, где сидел в полутьме. Наконец, почувствовав, как Наташе сейчас неловко, резко вскочил на ноги и быстрым, неуместно решительным шагом вышел в прихожую.

Да. Это она.

Не говоря ни слова, он помог Наташе снять шубку, наклонился, чтобы самому подать тапочки, которые до сих пор держал около двери. Она жестом остановила его порыв. Прошла на кухню — «здесь ничто не изменилось!» — и поставила чайник. И когда тот начал отчаянно взвизгивать, первым разрушив молчание, Наташа наконец сказала, глядя в темное окно:

— Я теперь Джульетта.

Денис Михайлович страшился подойти к ней. Он наблюдал на кухонном пороге, как растерянная женщина оглядывает их общее жилище. Общее? Снова общее? С осторожностью он вступил на территорию кухни, чувствуя, что в этом

пространстве надо двигаться так, словно в любой момент оно может исчезнуть. Даже не решился сесть на стул. Ему показалось, что слишком реалистичный скрип разрушит то, что волшебным образом возникает сейчас.

— Я хочу посмотреть фотографии, — вдруг сказала Наташа.

— Фотографии? — тихо переспросил он.

— Да, где я в роли Джульетты, в том спектакле, в том, студенческом.

Денис Михайлович вышел тихим, мелким шагом. Не зажигая света в спальне, нащупал альбом и понес его обратно, с ужасом — «начинается у меня шизофрения!» — чувствуя, что боится увидеть пустую кухню. Он остановился в прихожей. Прислушался. Легкий стук чашки о блюдце. Неглубокий вздох.

И уже смелее вошел, увидел Наташу, протянул ей альбом. Она конечно же заметила, как неловко муж подает ей альбом — не решаясь приблизиться, издалека. Этот жест окончательно убедил Наташу, что она принята обратно, принята без сомнений. Более того — с благоговением.

Она раскрыла альбом и увидела себя, двадцатидвухлетнюю, счастливую, на авансцене, с букетом цветов, с горящими от зрительского восторга глазами. Вспомнила счастье всеобщей любви к ней. Снова почувствовала те мгновения, когда столько людей — одновременно! — восхищенными взглядами, аплодисментами и криками «браво» уверяли, что ее жизнь приносит им радость. Чтобы снова это испытать, можно прожить безрадостную жизнь.

Наташа закрыла альбом и с нежностью посмотрела на мужа.

*(Окончание следует)*



Григорий Кружков

## Vita nuova

### Ни-то-ни-сё

Украли зиму — и весны убавили —  
Сегодняшних прогнозов заправили.  
И с голодухи блеют овцы Авеля,  
И шторм летит куда-то на Курилы.

Вот так и лето, может быть, заныкают.  
Но осень нас, конечно, не минует —  
И снова слякоть разведет, захныкает  
И нашу обувь проэкзаменует.

Как у того, кто расстается с Настей,  
Останется нам в мире лишь ненастье.  
*Ни-то-ни-сё* склонит нас к соучастию  
В своем умеренном японском счастье.

Все это усреднится, переменится  
В единую, без крайностей, погоду...  
Так я мелю, пока мне льет на мельницу  
Старик Январь свою сырую воду.

### Vita nuova

Эпоха вертухавых детей  
закончилась. Гнуснейшая настала —  
эпоха вертухавых внучат.  
У тех еще сомненья копошились,  
опаска — ненависть — иль просто злоба,  
как перхоть, не откашлянная в горле.  
У этих — ничего. Лишь вкус клубничин  
с той дачки, где дедуся их учил  
панамкой накрывать и прижимать  
вредительниц лимонных и капустных.

Нет, эти дедушек не отдадут  
и никогда ни в чем не усомнятся.

---

*Кружков Григорий Михайлович* — поэт, переводчик, эссеист. Родился в 1945 г. Автор пяти книг стихов, в том числе «На берегах реки Увы» (М., 2002) и «Гостя» (М., 2004), книги эссе «Ностальгия обелисков» (2001), антологии английской абсурдной поэзии «Книга NONсенса» (2001) и др. Отдельными изданиями выходили его переводы стихов Донна, Китса, Кэрролла, Йейтса, Фроста, Стивенса, Джойса. Лауреат Государственной премии РФ (2003). Преподает в РГГУ. Живет в Москве.

А те, кому положен был по норме  
конвой, кайло да ковш гнилой баланды,  
те, перемолотые поэтапно,  
чтоб даже семени их не осталось,  
изведены — но все же не под корень.  
Какие-то остались корешки,  
какая-то пыльца с наколкой генной,  
из дебрей выбравшаяся на волчьем  
хвосте или на крыльях дикой утки.  
И снова высеялись их глаза,  
как сорняки, меж плотными рядами  
зеленых толстокожих огурцов  
и крепких красномордых помидоров.

...Что ж, выполнят и этих?

### *Сон, приснившийся в гостинице после длинного рейса с пересадкой*

Я заснул как мертвый  
и мне приснилось,  
что я снова прохожу  
паспортный контроль в аэропорту.

— Бизнес?

Отдых?

— Точно, что не бизнес...

Вряд ли отдых.

Учеба?

Наука?

Скорее, наука —  
в некотором смысле.

— Вы здесь в первый раз?

— Думаю, да.

— Место предполагаемого проживания?

— Видите ли, — говорю, —  
это зависит от того, как я прожил ту свою жизнь.

Служащий хладнокровно  
выслушивает мой бред  
и задает следующий вопрос:

— Срок вашего пребывания?

## Ответы невтопад

Философия спрашивает:

— *Познал ли ты себя самого?*

— Ах, как вы хороши сегодня,  
    госпожа Философия!

Дозвольте ручку.

Время спрашивает:

— *Сделал ли ты всё, что мог?*

— Опоздаю, непременно опоздаю! —  
    спохватываюсь я и бегу.

Бог спрашивает:

— *Ты готов?*

— Грызу ноготь, сэр, грызу ноготь.

## После войны

Ибо слава — штабная шалава,  
А любимая девушка — смерть.  
Эту пьесу второго состава  
Я отказываюсь смотреть.

*Из допотопного*

Послевоенная

    пьеса второго состава.

Музыка в клубе

    кондитерской фабрики «Слава».

Слава — живущим.

    Мертвые славы не имут.

— Вы разрешите?..

    Какой ваш умеренный климат!

Нет их, и баста.

    Над ними упала завеса...

Что говорю!

    Ведь и сам я — того же замеса.

*Андрей Волос*

## Рассказы

### *Мираж*

Я сделала это... от отчаяния?

Да, пожалуй что от отчаяния. Отчаяние, вот именно. Вот что меня охватило — отчаяние.

Впрочем, была и неприязнь.

Не так уж много, однако вообще без нее в такой ситуации... трудно представить. Пусть малая толика — но присутствовала, разумеется.

На фоне отчаяния — совсем немного неприязни. Самая чуточка. Зато неожиданно острая. Ледяная.

Такая непроглядная неприязнь, что, пожалуй, лучше называть ее ненавистью.

У меня перехватило горло от темноты и пронзительного холода. К тому же она ударила острием по глазам. Черным лезвием, будто бритвой: р-р-р-раз!

Я ослепла от боли и ужаса. Я видела только свою ненависть.

Она выросла океанской волной. И закрыла все. Застила мир. Нахлынула, понесла, швырнула будто клок пены.

И тогда вместо ужаса и боли я почувствовала ярость и восторг.

Но и это ненадолго.

Она бросила меня как щепку — и я еще до конца не осознала это, а все мои чувства уже поблекли: восторг погас, боль унялась.

Может быть, они просто потеряли значение.

К тому же и время остановилось. Или почти остановилось. Все сделалось очень медленным. Я оказалась как бы рядом с самой собой. Мне это было легко: возле самой себя. В шаге. В полуметре. Время едва ползло, а мысли скользили.

И мне сразу пришло в голову насчет козырька.

Наверное, это было бы лучше всего — жестяной козырек над полуподвальным окном. Кажется, я слышала о подобном.

Я невольно вспомнила, что в старом дворе жестяной козырек закрывал не окно, а провал уходящей вниз лестницы. Лестница кончалась дверью в подвальное помещение котельной. Летом в ее стальных проушинах висел ржавый

---

*Андрей Германович Волос* родился в г. Душанбе (1955). Окончил Московский ин-т нефтехимической и газовой промышленности. Работал в Москве как геофизик и программист (до 1994), занимался риэлтерской деятельностью. Дебютировал как поэт в ж-ле «Памир» (1979). Автор книг рассказов и повестей «Команда 22/19», «Муптооп», «Таджикские игры», романов «Хуррамабад» (Государственная премия РФ (2000).; «Недвижимость», «Маскавская Мекка», «Аниматор» (финалист премии «Большая книга», 2006), «Победитель» (2008).

замок. Зимой за ней что-то грозно шумело — как будто день ото дня там крепчала буря. Время от времени грузовик привозил со швейной фабрики ворох тряпичных обрезков. Гора ветоши дня три валялась у двери котельной, и все это время смелые мальчишки беспрестанно сигали в нее сверху, будто зайцы в сугроб.

У меня была кепка с большой коричневой пуговицей. Один схватил — и прыгнул.

«Отдай!» — «Отними!..»

Я боялась. Понятно, что пока сбегала по ступеням, он закинул кепку своему дружку. Я — наверх, чтобы отобрать. Этот тоже прыгнул...

Вот я и носилась туда-сюда за своей кепкой как собачонка. Наверное, они хотели, чтобы я все-таки решилась. Но мне было страшно. Может быть, если бы меня охватила такая же ледяная ненависть, я бы прыгнула. Но мне было всего семь, я не умела ненавидеть. Я думала о другом: в полете задерется платице, и когда я шлепнусь в кучу ветоши, все увидят мои трусики.

Это и остановило.

Теперь препятствие кажется смешным. Я давно выросла. Показать трусики! Господи, кто только на них не глазел. Разве в этом дело? Что трусики. Когда возникает мираж, готова на все.

Ведь вот он, вот — видите, там, на горизонте: прелестное, загадочное, манящее. (Пусть никто не замечает, главное, что видишь ты сама.)

Ради его сияния — на что угодно.

Милый, ты этого хочешь? Или того? Тебе нравится, когда я у тебя служанкой? Изволь. По вкусу, если выкручиваюсь хуже уличной девки? Пожалуйста. Желаеть? — я буду собакой. Только прикажи.

Но только пусть всегда — все это — будет счастье.

А если нет, то зачем?

Мираж...

Он появляется когда хочет. У него своя воля. Свои сроки. Можешь ждать годами — а небо темно и тускло. А подчас думаешь о совсем иных вещах, все забыла, вовсе не помнишь, что миражи случаются... потом случайно кинешь взгляд — а он, оказывается, уже раскинул радугу в полнеба.

Мне не исполнилось пятнадцати, когда бабушка пустила в сарай художника. Ему было лет двадцать пять, но борода делала старше. Ночевал на сене, днем бродил с этюдником. Если не уходил со двора, я стояла рядом. Мне нравилось смотреть, как из ничего возникает колодец, плетень, облака над лесом, старая береза, даже скворечник, когда-то приколоченный отцом. То, что возникало на его картоне, почему-то казалось дороже того, что на самом деле.

Потом он сказал, что напишет мой портрет. Два дня я сидела на скамье, стараясь не двигаться. С каждым часом томление нарастало — такое, будто всю меня то и дело ласково трогали чьи-то пальцы: нежно пробегались по шее, по груди, по спине, по бедрам, щекотно касались босых подошв.

Он не говорил со мной — только сосредоточенно вглядывался, отнеся кисть, и возвращался к холсту.

Да и что толку было со мной говорить, я все равно не смогла бы ответить: горло сводило мятным трепетанием, я боялась шевельнуть даже языком, чтобы не разрушить мираж.

И когда этот парень сказал, чтобы я вошла в сарай, потому что ему надо...

не знаю, что ему было надо: ни тогда не поняла, ни сейчас, разумеется, не помню. Я просто встала, оправила платье и пошла за ним как сомнамбула.

Когда он начал целовать, я удивилась, но скоро поняла, что так и должно быть. И уже не отдавала себе отчета в том, что происходит. Только увидев кровь, похолодела с ног до головы и вскрикнула: решила, что он меня зачем-то зарезал, что я умираю. Но страх рассеялся, когда он нашептал какие-то слова.

Мы провели с ним весь день. Пошли в лес. Он снова стоял за этюдником, щурился, относя кисть, а между делом рассказывал, что будет с нами завтра, что послезавтра и через неделю.

Но когда я спозаранок прибежала в сарай, вообще ничего уже не было, только белая панама — смываясь ночью, он забыл ее на гвозде.

Как сказать? Я не расстроилась. Нет, я расстроилась, конечно. До конца лета была сама не своя. Ждала, что вернется, часто ходила на дорогу. Перед тем как спрятаться за лесом, дорога взбегала на холм. Оттуда виднелась соседняя деревня — Вознесенское. Белела разрушенная церковь, темнели коробочки брошенных изб. Возле двух жилых подчас можно было разглядеть двух согбённых муравеек. Баба Клава всегда в красном платке — яркая точка, а баба Маша в синем: издалека он становился черным и терялся в других крапинках. Река выглядывала самой кромкой: туманно синело, мерцающе серебрилось вытянутое пятно ее излуины.

Но он не вернулся, и когда каникулы кончились, я поняла, что все исчезло. Мираж рассеялся — его словно раздуло ветром. Так разносит облака: совсем недавно они пышно громоздили замки, надували великанские щеки, топырили губы, еще час назад из мешанины округлостей высывались добрые морды небывалых животных — а вот уже ничего, только самый край бледно-синей пустыни стянут самолетным бинтом.

Я давно забыла, как его зовут. Обида таяла, таяла — и растаяла. Но оказалось, что в самую середку этой льдины был вморожен острый камушек — маленький, как родинка, и такой же непреходящий.

Я видела потом, как девчонки сходят с ума. И сама сходила. Когда я была на третьем курсе, один вытатуировал мой номер телефона: на тыльной стороне руки ближе к сгибу локтя. Какие еще нужны были доказательства? А потом поехал на практику. И когда вернулся, оказалось, что ничего нет — ничего, кроме этой дурацкой наколки. Не знаю, что он с ней потом сделал. По мне — так хоть бы руку отрубил, идиот.

Не все, конечно, сходят с ума. Некоторым все равно. Должно быть, они ничего не чувствуют. Иначе как объяснить? Ты в раю, рай должен быть вечен — но вместо того, чтобы длить твой покой и счастье, тебя погружают в ад.

Не помню, где я читала: мальчику проверили зрение. Прежде он был уверен, что вокруг полно радуг, бликов и туманностей. Но как только надел очки, мир обрушился на него, какой он есть, и бедняга едва не сошел с ума.

Правда, бывает и другое. Ты оказываешься не в аду и даже не в чистилище. Что-то вроде лимба, куда католики помещают души некрещеных младенцев. Сырое, вязкое место. Тусклый свет, тепловатый воздух, никакого движения. Все ясно, скучно, и ничего хорошего уже не может случиться.

Обычно ничто не предвещает катастрофы. Ты наслаждаешься колдовством миража. Ты просыпаешься с ним рядом. Все замечательно. Никаких сомнений,

что завтрашнее утро придет к тебе здесь же. Неделя минет или год — все будет точно так же.

Но не через год, не через неделю и даже не на завтра — а всего через какие-то жалкие полчаса ты заходишь в ванную. И видишь на боковине раковины большую плюху бритвенной пены — серой, с черным крапом щетины. И эта пена действует на тебя точно как очки на того мальчика.

Почему? Ведь это его пена — а он твой, значит, и пена в каком-то смысле твоя... но уже поздно рассуждать: очки надеты, мир страшно прояснился. На завтра ты встречаешься с явью в другой постели, а он все звонит и грозит приехать. Как ему объяснить? Он прав, наверное, но жемчужный туман рассеялся навсегда, оставив только грязную пену и немытую раковину.

Наверное, когда я ушла, ему было больно. Не знаю. Если так, то, конечно, в этом виновата я. Но, может быть, он ничего не почувствовал. Или почти ничего. Все-таки они — не в такой степени они, в какой мы — это мы. Они всегда больше самих себя: то, что кажется им самими собой, это на самом деле только то, с чем они себя отождествляют. Они вкладывают себя во все то, чем владеют. Каждому из них может принадлежать множество всякой всячины: с одной стороны, всякая всячина является их неотделимым продолжением; с другой — это все же не их собственная плоть.

А мы — мы в точности то, что есть: куда ни колыни, достигнешь крови, куда ни ужаль, попадешь в живое.

Вот и сейчас.

Как ни мало прошло времени — всего несколько секунд, а мне уже почти ничего не вспомнить.

Что было утром? Кажется, утром не было ничего, кроме переливчатой радости. Счастье миража: покой и ощущение надежности. Непреложная вечность твоего существования.

Что мы делали? Да ничего... проснулись... поднялись. Все шло само собой. Часам к двенадцати собирались выйти из дома. Пройтись парком. Если неторопливым шагом и без остановок — это час. Но, наверное, мы посидели бы где-нибудь на влажной скамье. Молча или время от времени лениво перебрасываясь мало что значащими словами. Тогда, допустим, полтора. Потом двадцать минут подземки. Десять пешком и еще сорок или пятьдесят в залах фотовыставки.

Через несколько дней экспозиция закрывается, ажиотаж давно прошел. Да и был ли? Но, говорят, открывал министр культуры, а при входе висело поздравление президента в золотой рамке — подумать только, в золотой рамке, ого, ничего себе, что же такого наснимал этот фотограф?... Наверняка было что-то в газетах. Почему мы сами собрались? Не важно. Кто-нибудь посоветовал... или прочли что-то хвалебное на художественном сайте. Как-то само собой. Пошаркивающая тишина немногочисленности, сложное сочетание парфюмов — в каждом зале свое. Мертвые отпечатки жизни на стенах. Кое-какие пугающе оживают при твоём приближении: вода рябит и мерцает, серьезные пожарники ухмыляются, облака цепляют колокольню, кортеж летит по площади, вихря воздух и шипя резиной.

Потом бы, например, оказалось, что свет почти не режет глаз, привыкших к полумрачной неясности искусства: солнце спряталось за облаком, тени размазались по отсыревшему асфальту расхоженными пятнами не то жирного, не



то сладкого. Какой-нибудь ресторанчик из не очень дорогих... ага, найди-ка в центре из не очень дорогих: он всегда беззаботно отмахивается, а мне откровенно жаль бросать несуразные деньги, и хорошо, что не вижу счетов, ну их, вообще не люблю этих листочков, где расписана цена минутной беззаботности.

Ну и, конечно, неперменная цветочница бесшумно обходит зал, чтобы предложить свою проверенную услугу: прячет деньги куда-то под праздничный аляповатый фартук, а взамен ставит в середину стола небольшую фарфоровую вазу, из которой удивленно выглядывают три свежие розы.

И все: ни лишний звук, ни даже никчемный свет не могут пробиться сквозь полупрозрачное, томительное, разливающее немоту мерцание...

Но все это только должно было быть, а когда зазвонил телефон, мы еще даже не допили кофе.

Он задержал глоток, удивленно подняв брови и, остановив движение чашки, целившей к блюдцу, взглянул на меня. Почему-то я была уверена, что звонят не мне. Улыбнувшись, я только пожала плечами. Он со вздохом поставил чашку, поднялся и пошел в комнату.

Я услышала «Алло!» — и паузу.

А затем неожиданную перемену тона.

Нет, неверно. Это был все тот же ровный, доброжелательный тон его родного и любимого голоса. Но по каким-то самой мне неясным признакам я с содроганием и совершенно точно поняла, что от первого до последнего звука его голос напоен ложью и предательством. И произнесенное сейчас «Добрый день!» — это вовсе не «Добрый день!», а тупой нож, безжалостно вонзаемый мне в спину.

Но за что?

«Но за что?!» — если бы горло не свело болью, я бы и на самом деле крикнула.

Снова недолгая пауза. Я замерла в ожидании следующего удара.

«Еще бы!» — сказал он с коротким смешком.

Меня с ног до головы обдало кипятком, я скорчилась и замычала.

Все окончательно прояснилось.

Я почувствовала... как бы объяснить? Ну, скажем, как будто внезапно исчезают декорации. Костюмы тоже растворяются. Был пышный театр. Миг — ничего нет, лишь пустая грязная сцена. И на ней в жалком свете аварийной лампочки испуганно жмутся друг к другу голые актеры.

Но нет, это совсем не похоже.

Все-таки был мираж — а мираж больше театра. И правдивее. Да что там: мираж — он и есть правда. Нет никакой разницы, стоят дворцы на самом деле или всего лишь линзы горячего воздуха причудливо слоятся, чтобы явить тебе правду. Если ты веришь — оно так и есть.

В том-то дело: я была бесконечно уверена.

Но подул ветер и перемешал воздух. Иллюзия пропала. Все оказалось обманом. А правдой — только этот лживый голос, с усмешкой сказавший «Еще бы!».

Опять, да.

С каждым разом все труднее смириться. Я почувствовала, что не смогу оставить это безнаказанным.

Чего он ждал? На что рассчитывал? Он думал, я не замечу? Или замечу, но смолчу, — и на этом все кончится?

Нет, ему придется ответить: ведь он разрушил все. Секунду назад у меня была жизнь и счастье, а теперь нет ни счастья, ни жизни, и я корчусь на раскаленном песке пустыни.

Кажется, мы что-то кричали.

Вернее, я кричала: рвала шнур, бросала аппарат, швыряла в него чем-то со стола... Он только отступал. Ненавистная жабя физиономия становилась все блее и плоче, он закрывался руками, отталкивал меня.

Но я уже поняла: зачем он мне? Он мне совершенно не нужен.

Я сообразила, чем выбить свою боль, ощущение ожога и гибели. Поняла, что принесет ему квитанцию на расплату.

Ну да. Конечно.

Волна ненависти швырнула меня — взметнула щепкой, клоком водорослей или пены.

И говорю же: в первое мгновение боль сменилась восторгом.

Время почти остановилось, я подумала о жестяном козырьке над подвальным окном. Я слышала о таком. Казалось бы, жесть не должна быть мягкой. Но тем не менее.

Потом пришло в голову, что под балконами не бывает подвальных окон. Значит, не может быть и козырька.

Что же тогда?

Время набирало ход.

По лицу стегнула ветка.

Листва расступалась.

Да, козырька не было.

Листва окончательно раздернулась — и я увидела асфальт.

## *Где тут место Богу*

Без трех минут восемь.

— Войдите... Доброе, доброе, Сергей Михайлович. Какие новости? — привычно спрашивает он.

— Новости? — так же привычно удивляюсь я. — Какие у нас могут быть новости? «Шинник» продул «Горняку» (Учалы). Не то наоборот.

Можно ляпнуть что угодно, он все равно не слушает.

— Иди ты! — говорит Степанов, не отрываясь от бумаг. Потом все-таки поднимает голову: — Неужели продул?

Смотрит на часы и ворчит:

— Три минуты девятого. Не знаешь, где вся эта свора? Сами ведь хотели пораньше.

Я пожимаю плечами. Хотели так хотели. Это совершенно не мое дело. Когда бы они там ни хотели, а врачи каждодневно являются в госпиталь ни свет ни заря. Сегодня не исключение — я приехал без десяти семь.

Кажется, на том, чтобы начать заседание комиссии в восемь, настаивала госпожа Гусарова. Видите ли, ее бизнес не терпит отсутствия владелицы. Она

хочет разделаться со всем этим пораньше и вернуться к работе. Не знаю, как отнесся к этому начальник юридического отдела — он отродясь не показывает-ся раньше одиннадцати.

— Это ведь госпожа Гусарова желала, чтобы мы... — подтверждая мою мысль и постукивая самопиской по столу, довольно угрюмо начинает Степанов.

Физиономия у него делается несколько бульдожьей — но только на мгновение, потому что дверь распаивается.

Первой wpłyвает улыбающаяся госпожа Гусарова. Она в бежевом костюме. Если бы не длина юбки, его можно было бы назвать строгим. Впрочем, при тех формах, что свойственны ногам госпожи Гусаровой, юбки чем меньше, тем лучше. Подмышкой папочка. Тонкие очки — узкие стекла в оправе-невидимке — делают ее красивое лицо строгим и осмысленным.

Следом шагает ее адвокат — большой черноволосый человек с достойной улыбкой на полных губах. Глаза у него навывкате. И какая-то восточная фамилия... сразу не вспомнить.

За ним начальник юридического отдела Фельд. На полшага позади худая секретарша несет стопку бумаг и ноутбук.

Замыкающим — представитель страховой компании. Он толчется в госпитале каждый божий день — не одно так другое. Физиономия примелькалась. То ли Петров, то ли Сидоров. То ли Козлов.

— Прошу вас! — катит Степанов нечто рокошущее, с улыбкой и жестом привставая из кресла.

Рассаживаются, перемежая погромыхивание отодвигаемых стульев с приветственными поклонами и восклицаниями.

Секретарша Фельда тут же раскрывает ноутбук и застывает над ним в позе непоколебимой внимательности.

— Итак, — говорит Степанов, улыбаясь.

Его улыбку никоим образом нельзя было бы назвать веселой или радостной. Но она полна достоинства: довольно печальная улыбка человека, хорошо знающего жизнь. Отдающего себе отчет в том, что есть обстоятельства, в которых любые усилия оказываются напрасными. Почти горестная улыбка. Но и капля иронии в ней тоже присутствует. Под такую улыбку можно подогнать самые разные мысли. Например: «Что вы хотите, все мы гости на этой земле». Или: «Неужели мы будем считать эти вонючие деньги?»

— Итак, — повторяет он. — Мы собрались сегодня, чтобы... гм. Собственно, все знают, зачем мы сегодня собрались. Госпожа Гусарова, вы приняли какое-нибудь решение?

Госпожа Гусарова вскидывает ресницы, и ее взгляд производит несколько голубых вспышек, по очереди и мгновенно озаряя лица присутствующих.

— Я в отчаянии, — говорит она низким голосом, на самом дне которого, кажется, подрагивают поверхности каких-то темных озер. — Я просто в отчаянии.

— Госпожа Гусарова хочет сказать, что... — откашлявшись и тоже очень достойно начинает ее адвокат. Правда, он немного пришлепывает губами. Но все же в отношении достоинства они со Степановым друг друга стоят.

— Подождите, Артур, — мягко останавливает его госпожа Гусарова. — Думаю, все и так поняли, что я хочу сказать.

Вспомнил: Артур Бигзарян, вот как.

— Разумеется, — кивает Степанов, улыбаясь еще достойнее и печальней. — Я вас так понимаю, госпожа Гусарова... Увы, увy. Как бы ни хотелось нам отсрочить события, пришло время на что-то решаться. Наши услуги оплачены до двенадцати часов пополудни. Если в пятнадцать минут первого статус-кво сохранится, госпиталь выставит вам счет за следующий месяц, ибо мы не можем делать это посуточно. Вы меня понимаете?

— Да, да... конечно, — рассеяно отвечает госпожа Гусарова, разглядывая что-то в полировке стола. Может быть, отражение лампы.

— Мы должны планировать свою деятельность, — продолжает Степанов с таким достоинством, будто говорит не о счетах, а о жизни и смерти. — Это серьезный процесс, требующий участия многих специалистов. Нам приходится заранее подбирать их, заключать контракты... эти контракты не на один день, вы понимаете. И все в целом — дело совсем не одного дня.

— Конечно, — повторяет она.

Повисает пауза.

Адвокат госпожи Гусаровой мягко откашливается. По-видимому, пришла его очередь вступить в разговор. Он переводит серьезный взгляд на представителя страховой компании. Представитель страховой компании кивает, показывая, что он полон внимания.

— Верно ли я понимаю, господин Кабанов, — веско начинает Артур Бигзарян. Да, именно: Кабанов, а не Козлов. — Верно ли я понимаю, что страховая компания имеет основания не восполнять своей клиентке даже десяти процентов стоимости услуг госпиталя?

Не совсем понятно, какой именно ответ хочет получить этот полный достоинства человек на свой бессмысленный вопрос. Госпожа Гусарова его не прерывает. Кажется, она просто не слышит — напряженно думает о чем-то другом. Вообще-то все ясно как божий день. Первые полгода страховка окупала все. Еще три месяца — половину. Следующие — тридцать процентов. Последние три — десять.

Миновал год.

Дальше и навсегда — ноль.

— Совершенно верно, — с достоинством кивает господин Кабанов. — Именно так.

С двенадцати часов пополудни госпоже Гусаровой придется платить все.

Если, конечно, она на это решится.

Мне кажется, сейчас она вскинет голубые глаза. И, может быть, неспешно снимет очки-невидимки. Бизнесмены умеют считать деньги. Пожмет плечами и скажет: «Ну что ж...»

Однако госпожа Гусарова ничего не говорит.

— Простите, Валентин Николаевич, я еще нужен? — спрашиваю я.

— Возможно, госпожа Гусарова хочет знать состояние дел на сегодня, — полувопросительно говорит Степанов.

Госпожа Гусарова переводит на меня синий взгляд. Он влажен.

— Состояние не изменилось, — любезно разъясняю я. — Такое же, как на начало прошлого месяца. Равно как и позапрошлого.

Она кивает. И снова смотрит на отражение лампы в полировке стола.

\* \* \*

На столе справа от койки что-то вроде научно-исследовательского центра. Во всяком случае, хватило бы на оснащение серьезной лаборатории. Мониторы, какие-то сцепленные между собой блоки. Даже миниатюрный принтер. Время от времени там что-то попискивает, помаргивает.

Именно туда тянутся провода от его затылка.

Они привязывают его к столу, примерно как барашка к колышку. Если бы господин Гусаров надумал подняться, ему пришлось бы сперва пораскинуть мозгами насчет этих проводов.

Но господин Гусаров давно не встает.

В оба локтевых сгиба введены капельницы. Поблескивая, тонкие змейки тянутся к стойкам. Искусственное питание, витамины, полезные растворы, то-се. Тоже какая-никакая привязь.

Не знаю, думает ли он о своей несвободе.

Все мышцы лица расслаблены, поэтому оно выглядит безжизненным. Жизнь есть напряжение отдельных мышц. Можно ведь и так сказать? Я уже думал об этом.

Когда щеки и подбородок господина Гусарова обрастают седой щетиной, она несколько скрадывает мертвую расслабленность лица. Легко вообразить, что он просто спит. Тогда медсестра приносит электробритву. После бритья господин Гусаров выглядит значительно приличней. И значительно мертвее.

Брили вчера. Сегодня вторник, в четверг медсестра снова придет с машинкой. Если, конечно, к тому времени его не...

Негромкий гудок зуммера обрывает мои никчемные, остающиеся незамеченными размышления. Так скользят дальние пейзажи, когда ты сосредоточенно следишь за пируэтами порхающей бабочки.

— Здравствуйте, господин Гусаров, — приветливо говорю я в ответ на сигнал. — Вы проснулись?

— Здравствуйте, — нерешительно отвечает мне электронный голос от одного из устройств. — Наверное.

Разумеется, сам господин Гусаров не шевелит губами.

Я осторожно поднимаю правое веко. Потом левое. Разницы нет — и в том, и в другом случае взгляд отсутствующий. Все как всегда. Веки должны быть опущены, иначе сохнет глазное яблоко.

— Это ты, Сережа? — спрашивает между тем господин Гусаров.

Обращение не вполне обычное. Врачи даже к коллегам обращаются исключительно по имени-отчеству и на «вы». У нас так принято: врачебная этика плюс способ поставить себя чуть выше прочих. Вы, простак, кличьте друг друга хоть ваньками-машками, а нам уж позвольте по старинке, как повелось со времен Федора Петровича и Николая Ивановича. Даже в застолье. Даже на рыбалке. И даже если перед тобой совсем пигалица, первый год ординатуры, все равно будешь ломать язык, выговаривая что-нибудь заковыристое. «Климентина Климентестровна, позвольте клистир».

Пациентам подобные вольности и вовсе непозволительны.

Но так пошло с первого дня. В ту пору господин Гусаров был слишком слаб, чтобы грузить его мозг формалистикой этикета. А сейчас уж сколько времени прошло: было бы странно заводить разговор.

Возможно, он думает, что с ним имеет дело совсем молодой человек. Господин Гусаров не знает, что мы почти ровесники: ему — за пятьдесят, мне — под пятьдесят. Взглянув хоть краешком глаза, он бы, возможно, перешел на «вы». Но он меня не видит. Он вообще ничего не видит. До зрения наука еще не дошла.

А речь звучит довольно живенько. Модуляции, интонации, пятое-десятое. Электроды вживлены в мозг, проводки тянутся к приборам. Лично я в них ни черта не смыслю. Я врач, а проводки и прочая машинерия — забота инженеров. Суть в том, что благодаря загадочной для меня игре электронов импульсы мозга господина Гусарова превращаются в его голос. Как бы его. А моя собственная речь, воспринятая запрятанным где-то микрофоном, — в импульсы его мозга.

Трудно вообразить, что именно он слышит. Я спрашивал — он сказал, что не знает. Вернее, что ему трудно описать. Слышит — и все. Я поинтересовался, каким ему кажется мой голос. Быть может, грубым, хриплым? Или, наоборот, мелодичным? Он надолго задумался. И опять сказал, что не знает.

Так или иначе, мы разговариваем.

— Так точно, — отвечаю я. — Как спали?

Если в мой мозг сунуть соответствующие провода, мы бы беседовали еще проще.

Не помню, откуда это. Человек был потрясен, увидев, как другой молча сидит над свитком папируса: сам он халдейской грамоты не разбирал и был уверен, что читать можно только громко и нараспев.

Интересно, какие чувства испытал бы этот чужак при взгляде на два мертвых тела, связанных проводками, — пришло бы ему в голову, что они ведут оживленную беседу?

— Как я спал? — переспрашивает господин Гусаров.

Лицо остается неподвижным. Но голос меняется, как будто его сопровождает улыбка. Да, господин Гусаров улыбается.

— Хотелось бы прежде быть уверенным, что я именно спал. Понимаешь? Мне трудно отличить сон от яви.

— Понимаю, — говорю я.

На самом деле, конечно, понять это мне трудно. Нормальные люди не испытывают проблем с подобным определением. Во всяком случае, что касается меня, то предметы и явления вокруг непреклонно настаивают, что я бодрствую. И побуждают к действию. Если спозаранку хлопнуть по кнопке будильника, чтобы еще пару минут понежиться в постели, то на исходе третьей Вика непременно ткнет локтем в бок: пора. Надо завезти детей, потом ехать в госпиталь...

А у господина Гусарова есть только мозг. Мозг не оснащен будильником.

Но даже если бы он был оснащен, как знать точно, не во сне ли будильник поднимает тревогу?

— Нынче десятое ноября? Правильно я помню?

— Правильно. Десятое, вторник.

— Если б не ты, счет дням был бы давно потерян, — с усмешкой говорит он. — Спасибо.

— Не за что. Мне не трудно.

— То есть ровно год, — говорит он с затаенным сожалением. Готов покля-

стись, что, если бы электроника была еще совершенней, она донесла бы до меня его вздох. — И сегодня комиссия...

— Сегодня, — киваю я.

Помолчав, он говорит:

— Вчера она была завтра. Сегодня — сегодня. Завтра будет вчера.

Мне сказать нечего.

— Знаешь, Сережа, время — это единственное, о чем не нужно беспокоиться. Оно и так идет.

И опять я молчу. А что сказать в ответ на подобную сентенцию? Я замечал: со временем господин Гусаров становится все более философичен. Поначалу меня это даже беспокоило. Прежде у него было очень конкретное мышление. Мне стало казаться, что появление кое-каких абстракций свидетельствуют о некоем распаде личности: о распаде воли, может быть.

Позже я пришел к заключению, что это не так.

В мои обязанности входит следить за состоянием его мозга. Точнее — сознания. Но что за ним следить? — я и так понимаю, что оно практически не повреждено: примерно такое же, каким было до того, как господин Гусаров впал в кому. Разумеется, с поправкой на многочисленные шоки, что пришлось ему пережить. Чудо, что он вообще выжил. Хорошенькое дело. Утром шофер отворяет дверь, чтобы ты сел в машину, вечером твое бесчувственное тело, собранное после взрыва по кусочкам, подключают к проводам. И ты с помощью речевого синтезатора приветствуешь лечащего врача. Если, конечно, на это хватает чувства юмора.

Ему хватило.

Я не имел чести общаться с господином Гусаровым при жизни... то есть, хочу сказать, до того, как он попал в больницу. Однако, судя по свидетельствам родных, господин Гусаров и прежде был доброжелательным и разумным человеком. А судя по той лавине сплетен, что просыпалась в газеты, он был жесток и безжалостен. И даже его многократно прославленный благотворительный фонд — это, по утверждениям борзописцев, всего лишь большая прачечная: машина для отмывания денег.

— Сережа? — говорит он. — Ты еще здесь?

— Здесь, господин Гусаров.

— Представляешь, я полночи думал про Большой взрыв.

Вот тебе раз. Про такое мы еще не разговаривали.

— Неужели? — вежливо удивляюсь я. — Я обычно считаю баранов.

— Если ты насчет бессонницы, — оживляется он, — то не в этом дело. Я же говорю: иногда мне трудно понять, я уже в жизни или еще вижу сон. Знаешь, что это такое?

— Сон?

— Нет, взрыв. Большой взрыв.

С ним интересно разговаривать. Мне, как психологу, не нужно прикладывать усилий, чтобы оценить состояние его разума. Но дело, вероятно, все-таки не в разуме.

В соседней палате лежал примерно такой же — господин Похлопников.

Что касается сознания, то господин Похлопников тоже был совершенно нормален. Во всяком случае, он помнил неохватное множество всякой всячины,



составлявшей содержание его прошлой жизни. Верно связывал причины и следствия. То есть в целом вел себя как разумный взрослый.

Но если я интересовался, например, хорошо ли помнит он свои школьные годы, то перед тем как рассказать об одноклассниках, господин Похлопников непременно заводил заунывную песню насчет того, как ему не повезло в жизни. Когда же я спрашивал, сколько будет семью восемь, он для начала заново рассказывал об ужасных свойствах человеческой жестокости. Дескать, я уже сто раз задавал ему этот вопрос: он уверен, что я сам знаю ответ и обойдусь без его помощи. Он не видит смысла насиловать свой несчастный мозг в поисках никому не нужного ответа, мое же настырное стремление воспринимает как неслыханный садизм. И вообще, говорил он, я не на допросе: вы бы лучше меня пожалели, ведь мне скоро умирать.

Я так и не смог добиться, какой именно смысл он вкладывает в слово «скоро». И в слово «умирать».

Не было минуты, когда бы он не высказывал опасений насчет своего будущего. Его одолевали страхи. Главным из них был страх смерти. Может быть, мои слова показались бы ему обидными, но все-таки если ты лежишь в коме, то страх смерти — вещь довольно своеобразная.

В общем, он беспрестанно жаловался и ныл. Я хотел научить его молиться — он отказался. Я врач, я жалел это несчастное существо, и все-таки испытал невольное облегчение, когда его наконец-то выключили.

— Приблизительно, — говорю я. Хотя, конечно, если быть честным, то совсем нет. — Что-то из области физики?

— Ну да. Не может быть, чтобы не знал.

Ему хочется рассказать.

— Напомните.

— Да ведь я тоже довольно приблизительно... Я ведь не физик.

Это правда. Он не физик. Я слышал, он начинал каким-то там тренером. Судьба — загадочная штука.

— Говорят, Вселенная возникла в результате взрыва. Потом обломки слетелись, сжались. Бац! — опять взрыв. Снова образовались галактики, звезды, планеты...

— Те же?

Он отвечает после некоторой паузы, во время которой я успеваю осознать нелепость своего вопроса.

— Не сразу въезжаешь, верно? Хочешь не хочешь, набредешь на заковырки, — ободряюще говорит он и спрашивает вперебив самому себе: — Тебе еще не нужно идти?

— Еще нет. Я с вами. Продолжайте.

— В двенадцать комиссия, — говорит он.

Трудно понять, вопрос это или утверждение.

На самом деле он не совсем прав. Комиссия началась в восемь. Двенадцать — это, как верно отметил Степанов, контрольный срок.

Но стоит ли сейчас вдаваться в детали? Тем более что он, похоже, не ждет ответа.

Господин Гусаров спрашивает:

— Задумывался над этим?

Вероятно, он снова о взрыве. Если да, то, честно сказать, я не задумывался

над этим. Не знаю, удивится ли он, если я сообщу, что меня больше волнует, смогу ли вовремя выплатить кредит за новую машину. Учитывая, что одновременно приходится платить проценты по ипотеке.

Скорее всего, когда он возглавлял корпорацию «Стифф», ему тоже было не до Большого взрыва.

— Пожалуй что нет, — признаюсь я. — А вас давно все это занимает?

— Услышал давно, — отвечает он. — И как-то засело в голове. Время от времени всплывало... но подумать толком не находилось времени.

— А здесь, значит... — говорю я.

— Ну да, — отвечает он. И смеется: — Нет, пойми правильно: если бы у меня раньше появилась возможность проваляться целый год в каком-нибудь бунгало на берегу океана!.. Я имею в виду: до того как все это случилось.

Хорошенькое ему здесь бунгало, думаю я. Но вслух соглашаюсь:

— Ну да. Проклятая работа.

— Между прочим, если бы в тот раз пронесло, я бы не стал искать концов, — замечает он. — Я ведь уже чувствовал, откуда копают. С самого верха, можешь мне поверить. Они ведь у меня все вот тут были, понял? Они струхнули, другого пути не видели. Думали, я такой уж упертый. Нет, я бы просто отошел в сторону, и точка. У меня чутье было. Я бы не сел в ту машину. Я бы за границу смылся. Пусть бы без меня взрывали. А я типа ни о чем не знаю. Взрыв? — какой взрыв? Шофера вдребезги? Да не может быть, почему же я не слышал. Как жаль, что я уже в отъезде, а то бы, конечно, разобрался... Понимаешь?

Господин Гусаров замолкает, и в наступившей тишине мне слышится гаснущий звон разочарования. Это он о другом взрыве — о своем. Ему жаль, что не пронесло. Ну что ж... Я бы тоже жалел. Вот только не верится, что, если бы и в самом деле пронесло, он смог бы уйти в сторону. Такие не уходят.

— В самом деле странно. Тут ведь что важно. Взрыв — самое ее начало, — говорит он. Видимо, опять о Вселенной. Похоже, с толку его не сбить: столько взрывов, а не путается. — Бац! И она разлетается. Но все как на резинках — представляешь? Улетели все куски, сколько им резинки позволяют. И тут же начинают съезжаться. Съехались, слетелись — и снова в комок. И так плотно слепились, так нечеловечески сжались, что опять взрыв. Бац! — поехали с начала. Вторая серия. Или двадцать вторая. Как будто на гармошке. Туда-сюда, туда-сюда. Тебя не удивляет, что замерзшая вода легче жидкой?

— Вода? — переспрашиваю я. Меня он точно сбил. — Что вы имеете в виду?

— Лед легче воды, он всплывает. Я теперь все время об этом думаю.

— При чем тут лед?

Уж не перехвалил ли я его? Вот тебе раз. Вот тебе и прежнее сознание. Что за перескоки? Бредит?

— Как же! Если бы лед не становился легче воды, водоемы промерзли бы до самого дна. В таких условиях человек не смог бы выжить. Что там: ему и появиться бы не удалось.

Смотрю на экран монитора. Температура нормальная.

— Вы считаете, он появился? — рассеянно уточняю я.

Другие параметры тоже в пределах... все более или менее в порядке.

— Появился, а не был создан? — уточняет он.

— Ну да, — киваю я, возвращаясь к нашей беседе.

— А сам-то как думаешь?

— Я не знаю.

И в самом деле, откуда мне знать.

— В конце концов это не имеет значения, — говорит он. — Дело не в этом.

Я смотрю на часы. Без десяти. Неужели госпожа Гусарова еще не решилась? Или решилась на нечто иное? Не очень верится.

— Действительно, — говорю я. — В чем же?

Уже полгода Ирина Гусарова не заходит в палату. Первое время навещала, они разговаривали. А потом ей пришлось уехать в Индию по делам бизнеса. Я случайно оказался при их последнем разговоре. Иногда на врачей не обращают внимания. Господин Гусаров немного огорчился. Однако виду не подал. «Дело есть дело», — сказал он. «Ну да, милый, — согласилась она. — Так и есть».

Она изменила график посещений: стала являться раз в неделю. Последние месяцы приходила с каким-то солидным мужчиной гораздо старше нее. Кажется, он нежен к ней. Он тоже не заходит в палату. Они смотрят отчеты, счета, говорят со Степановым, с большим достоинством рассказывающим о наметившихся тенденциях. Потом уезжают.

После полудня страховка перестанет действовать. Чтобы он мог и дальше размышлять о Большом взрыве, ей придется платить за все. Это очень дорого. Очень. Надеюсь, сам я никогда не впаду в кому. Может быть, если бы она приходила каждый день и сама разговаривала с мужем, ей было бы легче на это решиться. На продление оплаты, я имею в виду.

— Я почему спрашиваю вас про лед, — мне кажется, что он немного торопится. — Вода — она всегда такая?

— Что значит — всегда? — спрашиваю я. Без семи.

— Одинаковая в каждом из этих циклов? — уточняет он. — После двадцать пятого Большого взрыва такая же, как после первого? Замерзшая легче жидкой?

Вот в чем дело, понимаю я. То есть я не понимаю, в чем дело. Я просто понимаю, что мысль он держит цепко. Зря я волновался насчет температуры.

— Ну вы спросили, — говорю я, невольно усмехаясь. — Откуда мне знать. А какая разница?

— Но ведь тогда и жизнь, понимаешь? — спешит он. — Тогда и жизнь всякий раз разная?

— Силикатная, — тупо произношу я.

Откуда это? Что-то где-то читал.

— Кремниевая, ты хочешь сказать, — уточняет он. — Ну да, например. Но если так, то где тут место Богу?

Прямо слова глотает от спешки. Получается что-то вроде «Гдетумесбогу?»

Но меня наконец-то озаряет.

Вот в чем дело!

Если комиссия решит дело не в его пользу... ну да, ему остается надеяться только на Бога. А если Богу здесь нет даже места, то какой смысл питать эти надежды?

Вот он и пытается понять. Напоследок пытается понять. Есть ли тут место Богу? Если, предположим, Богу все-таки есть место, тогда, рассуждая далее, можно предположить, что...

Стоп, это не для меня. Я никогда не был силен ни в логике, ни в метафизике.

— Господин Гусаров, — говорю я. — Это очень интересно. Но мне пора.

Мне на самом деле пора. Время идет к двенадцати, и моя подпись тоже должна стоять на акте. В чем бы этот акт ни состоял.

— На комиссию? — со вздохом спрашивает он.

— На комиссию.

— Надо — значит, надо. Что ж... до свидания, Сережа.

— До свидания.

— То есть прощай.

— Лучше все же «до свидания».

— Ты прав: не надо прощаться, — говорит он, усмехаясь. — До свидания. Больше он ничего не говорит.

Может быть, решил, что я уже ушел.

Напоследок снова поднимаю веки. Левый глаз. На место. Теперь правый. То же самое. Все мертво. Ни проблеска жизни.

Что делать. Кома. Его машина взорвалась, только выехав за ворота.

Дверь мягко щелкает за спиной. Лифт за углом.

Невыносимо хочется курить. Машинально шарю по карманам. Пусто.

И вдруг вспоминаю, что никогда не курил. Только однажды: в шестом классе поднял брошенный кем-то дымящийся окурочок. И так кашлял, что этого раза мне хватило.

Интересно. Интересно, повторяю я.

Лифт шуршит, глотая этажи.

Да, совсем ни о чем: мысли скользят сами по себе.

Так же скользят в мозгу отражения дальних гор, когда ты поворачиваешь голову, провожая взглядом несущуюся по шоссе машину.

Трудно примерить к себе.

Но все-таки интересно... да, это очень интересно.

Лифт останавливается и раскрывает двери.

## Орден пламеносцев

В начале ноября, одевшись в ресторанном гардеробе, я обнаружил в кармане клочок бумаги. Надпись состояла из одного слова — SuperCargo — и восьмизначного числа.

Насчет букв сомнений не было: всем известное название большого торгового центра на северной окраине.

Что касается цифр, проще всего было предположить, что ими означен телефонный номер.

Однако я знал, что, несмотря на тут и там разделявшие их для отвода глаз дефисы, первые четыре указывают время свидания (нынче этот час миновал, следовательно, речь шла о завтра), две следующие — этаж. Там мне предстояло встретить человека, особыми приметам которого, как ни трудно это вообразить, являлись две последние — «12».

Вообще говоря, я уже думал, что про меня забыли. Очень просто — не выдержал испытания, и кандидатуру отвергли. Даже не узнаешь, на чем именно срезался. Да и в чем состоял экзамен, тоже неведомо. Позвонил человек, предложил повидаться... сидели в кафе, говорили о музыке... потом почему-то, например, об Уильяме Блейке или прерафаэлитах... вот, собственно, и все.

А это была очередная проверка.

Я понимал, что меня серьезно изучают: те, в чьи ряды я желал влиться, хотели увериться в моей надежности. И, следовательно, в собственной безопасности: что я, проникнув в какие-то их тайны, не побегу рассказывать о них в ФАБО. А поскольку никогда нельзя точно знать, что твой собеседник или даже друг не состоит в этой лавочке, они хотели убедиться, по крайней мере, что я, так сказать, свой: дышу одним с ними воздухом и смотрю на те же звезды. И тогда вопрос снимается, потому что такие, как они, в ФАБО не работают. (С этим можно было бы поспорить, ну да ладно.)

Вот я сказал «влиться в ряды». Вообще-то в данном случае этот оборот не очень пригоден. Наличие «рядов» предполагает некую более или менее жесткую структуру. А «Орден пламеносцев» представляет собой удивительно аморфное образование. Его даже организацией не назовешь. Какой-нибудь клуб по интересам — и тот выглядит определенной. И ведет себя выразительней. Марки так марки. Кактусы так кактусы. Чтобы поделиться своими никому не нужными секретами, люди собираются в определенном месте по определенным дням. Нужно снимать помещение и платить по счетам. Раз так, непременно возникает какое-никакое руководство: директор, бухгалтер. Банковские реквизиты.

А тут — ничего. Или нечто, но так глубоко закопано, что снаружи ровно.

Вообще, трудно понять, на самом ли деле громкое словосочетание скрывает под собой какую-то реальность? Или просто пустышка, дурацкая выдумка?

Начнешь выпрашивать — невнятица и мрак.

Слышал ли я?... ну как же, об этом все знают!.. а почему, собственно, вы ко мне?... А вы слышали?... Я-то?... да как сказать... смутно вспоминается... да-да, что-то похожее... да-да, звучало, а иначе откуда мне... подождите-подождите, как же там было?... Как вы сказали? Вот-вот, совершенно верно, именно так: «Орден племесосцев»... хотя нет... боюсь ввести вас в заблуждение... вы уверены, что именно «Орден», а не «Лига»? «Лига стременосцев» — вот это точно где-то звучало!.. Я вас уверяю, что... стоп-стоп, вы меня не путайте... это совсем из другой оперы... погодите... Дайте минутку подумать... а не «Клика» ли это «кривоносцев»?

В общем, ясно, что ничего не ясно.

Во всем этом один плюс: меня проверяли и испытывали — но ведь всякий, кто испытывает, и сам, того не подозревая, подвергается встречному испытанию.

Складывавшаяся в результате испытаний картина удручала своей неопределенностью. Никто ни за что не отвечает. Если организация существует, она не ставит перед собой конкретных целей. Стратегические задачи тоже неизвестны.

Временами меня охватывало отчаяние: ткань «Ордена пламеносцев» распадалась на отдельные, ничего не значащие нити. Суть уплывала, оставляя ничемную шелуху необязательных разговоров.

\*\*\*

Стоянка, как всегда, оказалась забита, пришлось опуститься на чертову уйму петель под землю. Никогда не мог понять, во сколько являются те, что занимают верхние ярусы, — вероятно, они просто не уезжают. Лифт — битком. Стало просторней, когда пятеро катапультировалось на девятом (в раскрывшу-

юся дверь хлынуло цунами абрикосового аромата), человек десять на четырнадцатом — тут пахло миндалем. Остальные следовали выше.

Выйдя из лифтового кармана, я посмотрел на часы. Оставалось больше двух минут. Сделав несколько шагов, я увидел человека, при взгляде на которого размышления насчет того, где следует искать заветные цифры, решились сами собой.

Полноватый блондин с заметно выпирающим животиком и столь же заметной лысиной, он стоял у перил застекленной пропасти, пронизывающей бесчисленные этажи торгового центра. Мешковатые джинсы, распахнутая куртка-ветровка. На синей футболке под ней большое красное «12» — то же, что и в записке.

— Не подскажите, на двадцать втором этаже продают фруктовое мороженое? — спросил я.

— На двадцать втором этаже только пломбир, — ответил он условленной фразой. — Пойдемте.

Мы двинулись по широкой галерее, окаймлявшей застекленный проем пропасти. Как все пропасти, эта тоже притягивала взгляд. Брошенный в нее, он падал с несметной высоты, чтобы далеко внизу разбиться о веселенький букетик: тот начинался с полуподвала и достигал примерно четвертого этажа. Но если уменьшить примерно в тысячу раз, можно было бы сунуть в напольную вазу.

В глазах рябило от разноцветия одежды и рекламы. На каждом шагу новый экран во всю ширь. Накатывает, скрипя покрывками, последний «Форд-Просперо», за ним гирлянда бесцветных парашютистов перебрасывается в полете алой соковыжималкой «Бруни», веселый хор красоток в узких платьях, кокетливо оттопырив зады, слаженно делает молниями «з-з-з-з!» — и... и мельтешение видео остается за спиной, а на смену ему наплывает новое.

Громкость музыки соответствует времени и месту: не глоснешь сразу, но сразу понимаешь, что попытка разговора обречена на неудачу. Можно только иногда выкрикнуть что-нибудь на пределе возможностей, например «Пошли!». Или «Ну что ты встала?!».

Многие празднично одеты: женщины в вечерних платьях, мужчины тщательно выбриты, в свежих рубашках и добротных двубортных костюмах. Полно и таких, что вроде моего спутника — налегке и по-спортивному, живот вперед, с рюкзачком за плечами и лысиной на затылке.

Заметны влюбленные парочки: парень по-хозяйски обнимает девушку за плечи. Некоторые просто шагают рядом: их близость угадывается по тому, как тесно они держатся друг друга. А то еще юноша кладет руку на ее талию. И плывут, влившись в общий поток, мимо бутиков и прилавков.

Изредка резкий смех или выкрик. Маленьких ведут за руку отцы. Постарше шагают сами: явно увлечены происходящим и чувствуют себя полноценными участниками интересного процесса: идут мимо распахнутых дверей бутиков, в каждом из которых теснятся их близнецы: заглянувшие прежде, чтобы вскоре уступить место следующим.

Лица встречных лучатся довольством, а если попадались хмурые, было ясно, что досада вызвана какими-то мелкими, сиюминутными причинами, не имеющими отношения к происходящему в целом. Например, мальчик просится в туалет: нужно оторваться от дела и тащиться куда-то по его надобности. Или

бремя накопившихся покупок препятствует полноценному шоп-серфингу, а до ближайшей камеры хранения метров двести, на каждом из которых число приобретений может увеличиться.

Большинство неспешно жует на ходу, кусая от аккуратных свертков фастфуда. Пополнение провианта не представляет трудностей: на каждом шагу прилавки кухмистерских маняще выставили яства со всех концов земли. Разнится либо национальная принадлежность — Китай, Япония, Таиланд, Европа в целом, румяная Россия со своей картошкой и блинами, — либо исходные продукты и способ приготовления: сифуд, курица, овощи, гриль. Но пахло от всего примерно одинаково...

Мой спутник молчал и оглядывался, и я понимал, что прогулка затеяна неспроста. Наконец он, вероятно убедившись, что хвоста нет, остановился у рестораника. Турция встречала оглушительными напевами с частыми вскриками «Ай-я! Ай-я!». Взяли по шаурме и сели за игрушечный столик.

— Завтра.

Я кивнул.

— Встретитесь в метро, — назвал станцию и время.

Я повторил одними губами.

Он присунулся, отнесся шаурму в сторону.

— Пятая колонна от эскалатора слева. Вы должны быть в черной куртке и белой бейсболке.

— В белой? — удивился я. — Как-то не по сезону.

— Именно поэтому. Чтобы не ошибиться. Потом можете снять.

— Хорошо.

— Телефон не берите. Уяснили? Это обязательное условие.

— Понял.

«Двенадцатый» откинулся на спинку стула, откусил и некоторое время жевал. Снова наклонился.

— В назначенное время мастер встанет рядом. И похлопает себя по нагрудным карманам. Как будто что-то ищет.

— Ну да. — Я воспроизвел мыслимый жест одной рукой. — Конечно.

— Посмотрит на часы и двинется на выход. Не висните, как клещ на полотенце. Это привлекает внимание. Идите шагах в десяти.

— Там жуткая толчея, — заметил я. — Можно потеряться.

— А вы не теряйтесь, — хмуро сказал он. — Другого шанса не будет.

Снова откусил. Прожевал и вытер губы бумажной салфеткой.

— Возьмете билет. Желательно в другой кассе. Девятая зона. В вагоне не очень близко.

— Конечно.

— Будьте внимательны, засекайте время. Два двадцать. Когда мастер поднимется, идите к противоположным дверям. На перроне не подходите. Следуйте в пределах видимости. Через сорок минут минуете старые коровники. Тогда можете окликнуть. Скажете фразу: «Простите, так я выйду к станции?» Это пароль, не забудьте. Отзыв: «К станции в другую сторону».

— Есть.

— Скажете, что вас зовут Зигфрид.

— Зигфрид, — повторил я. — Еще один пароль?

— Не важно. До свидания.



Он поднялся, поправил лямку рюкзака и пошел дальше. Я смотрел вслед. На ходу «двенадцатый» откусил и бросил недоеденное в урну.

\* \* \*

Выложив телефон, первые несколько минут я чувствовал себя так, будто сначала раздели, а потом оттапали правую руку. Условие, на мой взгляд, совершенно дурацкое, но чтобы все прахом из-за такой мелочи? — нет уж.

Пошел пешком, времени хватало.

Тусклая улица, заставленная многоэтажными облезлыми коробками, щетинистой палкой падала с холма. В конце виднелась станция метрополитена. Точнее, она угадывалась по тому, как сгущался вокруг лес рекламных щитов: загораживая друг друга и норовя оказаться выше других. Все в целом походило то ли на чешую, то ли на груды цветастых картонок.

На конечной было свободно, а уже через станцию гремучий червяк метропоезда набился под завязку. Скрежеща и воя, вагон мотался и швырял. Стеснившаяся толпа отвечала его рывкам, подрагивая свиным студнем, — и я со всеми вместе волоконцем в потном желе.

Большая часть пассажиров, заткнув уши наушниками, гоняла на телефонных экранах какие-то игрушки. Многие угрюмо чиркали самописками в кроссвордах или sudoku. Кое-кто читал с планшетов — на их физиономиях было не больше довольства, чем на других.

У пятой по счету колонны я вынул из кармана белую бейсболку. Со вторника дело повернуло на зиму — то подморозит, то завалит мокрым снегом, — и вид у меня, полагаю, был несуразный.

Сердце стукнуло — почему-то я сразу понял, когда он вынырнул из толпы.

Разумеется, у меня не было мысли, что мастер явится одетым по моде каких-нибудь средневековых тайных обществ — в ботфортах, черной мантии, с факелом и шпагой. Однако внешность человека, который, как я понимал, должен был совершить столь долго ожидаемый мною обряд посвящения, все же оказалась неожиданной.

Сухощавый, даже худой, сутулый, в чем-то вроде выгорелой куртки-штормовки (жеванный капюшон завалился набок), в штанах с пузырями, разбитых туристических ботинках и замызанной лыжной шапке с угловатым орнаментом в виде голубого оленя, влекущего нарты.

В левой руке мастер держал матерчатую котомку вроде вещмешка. Повернулся, и на меня глянуло давно небритое, морщинистое лицо крепко пьющего человека.

Наши взгляды встретились, и было несколько мгновений, когда я, в нарушение всех и всяческих инструкций, едва не кивнул. Он вовремя сморгнул, зажал котомку между коленями и принялся обеими руками неспешно похлопывать себя по карманам.

\* \* \*

Я рассеянно смотрел в окно, размышляя, как все пройдет, удастся ли на этот раз достичь желаемого... от этого многое, очень многое зависело в будущем.

Электричка сонно тащилась между бетонными заборами. Чуть поодаль

тянулись, меняя друг друга, разноцветные корпуса иностранных заводов. «Coca-Cola», «Pepsi», потом что-то по-немецки, потом еще и еще, а потом уж я на них не смотрел.

Близ города на стройках кипела деятельность: елозили краны, трещали механизмы, ковыляли бетоновозы-«миксеры». По мере удаления большая часть серых коробок, зиявших окнами в оперении почернелых заборов, выглядела все более заброшенными.

Снег лежал только в закутках у гаражей и сараев, теснившихся к линии. Но вскоре стал попадаться обширными пятнами... а дальше, к моему удивлению, и вовсе лег, будто не ноябрь, а самая середина зимы.

Мастер сидел через четыре скамьи спиной ко мне, я видел только плечи и шапку с оленем. Шапка клонилась, подрагивая в такт стыкам. Ниже, ниже... вдруг встряхивалась, занимала прежнее положение и некоторое время ехала ровно.

Большинство пассажиров тоже подремывало. На лицах бодрствующих лежала примерно одинаковая печать скуки и отупения. Напротив сидели муж с женой, и если не спали, то изредка перекидывались ворчливыми фразами, смысла которых я не понимал. Только трое невядалеке через проход проводили время с толком: колбасу, хлеб и огурцы смело разложили на газете, а водку наливали из сумки, невинно скукожившейся у окна. Запашок шел будь здоров, но, если честно, его нельзя было назвать неприятным.

Часа через два с половиной мой ведущий потянулся, сложив руки и наклонившись, потом поднялся, снял с крюка свою котомку и, не бросив в мою сторону даже мимолетного взгляда, неспешно направился к выходу.

Городишко встретил ветром и лютым холодом. Я поднял воротник. Еще через минуту снова достал белую бейсболку и нахлобучил по самые уши.

Перрон кончался ступенями разбитой и обледенелой лестницы. На неровной лужистой дороге всякая машина вздымала черные вееры разлетающейся грязи. Мы сошли с проезжего пути и шагали внутри квартала — дворами трехэтажных облезлых домов.

И дома, и дворы производили самое неприятное, если не жуткое впечатление. Кое-где штукатурка отставала от стен целыми пластами. На крышах снег лежал, как на гробах. Проходя мимо подъездов с разбитыми, висевшими на одной петле парными дверями, я видел, как правило, заледеневшую между ними воду, а за порогом, на полу парадного — либо ту же воду, либо слой утоптанного мусора, разнообразившийся только пустыми бутылками. Редкие окна могли похвастаться занавесками. Кое-где в них светили тусклые лампочки на голых шнурах и мелькали чьи-то тени. Не покидало смутное ощущение опасности.

Я вздрогнул, когда на меня выбежал мощный ротвейлер, и оглянулся, надеясь обнаружить хозяина, но увидел только группу парней невядалеке: они только что бросили толкать «Жигули-копейку» (машина еще катилась по инерции) и, замерев, смотрели на меня точно такими, как у ротвейлера, глазами — оценивающе и недобро.

Не успел сделать пяти шагов (пес, слава богу, не бросался), как из проулка между ржавыми гаражами выскочил наперерез широко улыбавшийся щербатым красным ртом парень лет семнадцати — в расстегнутой до пупа рубашке и спортивных штанах, заправленных в дырявые валенки. Круглая голова с одной

стороны была бритой, с другой — облезлой, покрытой где струпиями, где розовой кожей, и в целом выглядела тошнотворно. К счастью, он вовсе не обратил на меня внимание — со всех ног спешил к сломанному автомобилю, предполагая, вероятно, принять деятельное участие в его разгоне, — и только на полпути, заметив напряженные взгляды друзей, уже стоявших возле, стал изумленно оборачиваться и коситься...

Наконец мы вышли из города и теперь снова шагали по обочине. Время от времени проезжал либо богатый джип, либо дребезжащий, перекашивающийся бортами грузовик — и те и другие тащились, переваливаясь в глубоких колдобинах. Черная разъезженная грязь резко контрастировала с тянувшейся до горизонта мертвой белизной.

Впереди виднелись какие-то руины. Должно быть, это и были коровники.

Метров через триста я окликнул его:

— Простите, так я выйду к станции?

Он обернулся, устало снимая с плеча котомку. И сказал с одышкой:

— К станции в другую сторону.

\* \* \*

Мы свернули и двинулись напрямик к рябющему невдалеке лесу. Для ходьбы по глубокому снегу мои новые кроссовки подходили только цветом — они тоже были белыми. Сначала я выгребал комья из-за боковых заушин пальцем. Вскоре ноги промокли и заledenели.

Мастер шел впереди. Я старался попадать в следы.

Время от времени он нарочно оборачивался, чтобы выкрикнуть не то начало, не то завершение фразы. Я почти ни черта не разбирал: скрипучий снег, ветер, оглушительный карк вороньей стаи на ближних березах. Ноги так ныли, что было не до разговоров. Да и судя по тому, что долетало, речь шла о каких-то необязательных вещах.

— Не всякая болезнь лечится, — выкрикивал он, повернувшись.

И, кажется, пускался в описание какого-то недуга, необычность которого состояла в том, что каждый, кто подцепил эту заразу, стремится не как можно скорее выздороветь, для чего употребляет всякого рода вспоможения, а, наоборот, норовит усугубить.

Стариковская мысль блукала, голос пропадал за шумом ветра и вороньим краканьем, речь казалась бессвязной, и я проклинал тот час, когда сунул ноги в свои бесполезные кроссовки.

— Душе это не нужно! — слышал я.

А отвернувшись, он бормотал что-то насчет не то веры, не то доверия.

Когда же мастер оглядывался снова, оказывалось, что уже перескочил на какие-то «чудные сады» — про сады я разбирал совершенно отчетливо, хотя и вообразить не мог, какое завихрение мысли вынесло его на эти чертовы сады.

А в следующий раз, снова на секунду вывернув шею:

— ...заменой однозначности существования!..

В конце концов подошли к заросшей заснеженными кустами ложбине. Тут он, не завершив, как мне показалось, какую-то мысль (ее начало тоже осталось мне неведомым), остановился и сказал:

— Давайте передохнем, Зигфрид.

— Давайте, — согласился я.

— Нам сейчас в овраг, боюсь там и вовсе по пояс.

— Я все равно уже весь мокрый.

— Ну да, — кивнул он, доставая сигареты, и заметил: — Вы маленько не по сезону.

— Меня не предупредили.

— Что они в этом понимают, — сказал мастер, бросив спичку в снег. И, жадно затягиваясь дымом, стал говорить, продолжая, вероятно, то, на чем остановился: — В общем, согласитесь, Зигфрид, это куда хуже платоновской пещеры. Там люди хотя бы смотрят на тени, силясь разобраться в происходящем. А у нас вдобавок и глаза завязаны. Не правда ли?

Трескуче рассмеялся, качая головой и пуская все новые клубы дыма.

— Ага, — сказал я, хотя не имел понятия, о чем он толкует. Никогда прежде не видел человека, который бы так дымил.

— И даже не думайте избавиться от повязки, — посоветовал он. — Тут же получите по голове.

Отбросив окурочек и не дожидаясь ответа (должно быть, сказанное представлялось ему общим местом), он несколько раз топнул, сбивая снег с ботинок. Поправил котомку и двинулся дальше.

Метров через четыреста мы, оскальзываясь и балансируя, кое-как спустились по заснеженной тропинке. Джинсы промокли чуть ли не до колен.

Оказалось, его слова насчет пещеры все же имеют какое-то отношение к делу: овраг вывел к заснеженным буграм, и за одним из них он показал мне черный провал.

А потом, как будто прочитав мои мысли, сказал, копаясь в котомке:

— Возьмите вот. У меня два.

Сразу включил свой фонарик и, нагнувшись, стал пробираться внутрь.

Устье было не шире конуры. Узкий ход вел круто вниз. Потом расширился, чтобы вместить огромную лужу. Кое-как миновав ее чавкающие края, двинулись по галерее. Мокрая глина скользила под ногами. Где-то капало. Пятна света и тьмы летали по неровным, лоснящимся влагой стенам. Все же здесь было чуть теплее, чем снаружи.

— Пригибайтесь, — сказал он. — Тут низковато.

Когда проползли, свод немного поднялся. Еще шагов через двадцать мастер указал лучом фонарика на брошенную у стены лопату.

— Здесь неглубоко, — ободрил он меня. — Едва присыпано.

Я копнул, лопата стукнула. Выглянула крышка небольшого деревянного ящика.

— Хватит.

С кряхтением опустился на колени, разгреб руками.

Я не видел, что он делает. Судя по звуку, открывал.

А когда мастер распрямился, поворачиваясь, оказалось, что в сомкнутых ладонях он, как носят воду, протягивает мне голубое сияние.

Ладони приблизились, и я надел на запястья наручники.

\* \* \*

— Мне не померещилось, — упрямо повторил я. — Я видел своими глазами.

— Своими глазами ты видел, — угрюмо сказал полковник. — Куда ж оно все делось? Три раза обыскали твоего бомжа. В загогулине этой все перерыли — ничего. Пещера, блин. Нора собачья, а не пещера. — Он хмыкнул. — А ты, Каюмов, долболоб, а не оперативник.

Я заскрипел зубами. Если б дело шло на ринге, его пустую тыкву пришлось бы поганой метлой выкатывать из-под скамьи секундентов.

— Свободен! — хрюкнул он. — Завтра ко мне к половине восьмого.

— Есть!

Но не успел сделать и шага.

— Слышь, Каюмов, а ты чо так вырядился? — спросил полковник и заржал. — Типа все в говне, а ты весь в белом?

Я сжал зубы.

Плешков торчал у машины.

— Дай телефон!

— Твой-то где?

— В Караганде. Просил бы я у тебя, жлоба, если б свой был.

Ворча, Плешков полез в карман.

— Только недолго, слышь.

— Да не ссы, не обижу...

Натыкал номер.

— Привет.

— Привет, — как всегда удивленно отозвалась она. — Ты где?

— Тут я... по делам. Какие новости?

— Какие у меня новости, — она рассмеялась. — Ждала звонка. Увидимся?

— Конечно, зайчик. Только домой заеду переодеться. В шесть?

— Хорошо. Где?

Я секунду подумал. Ничего не придумалось.

— Давай где обычно, что ли.

Она обрадовалась.

— В SuperCargo? Давай!

— Тогда до встречи, кисик, — сказал я.

И нажал кнопку отбоя.

## Число

Гууру нравилось наблюдать, как из ничего возникает нечто. Поэтому он любил возжигать светильники.

Сейчас, как обычно, старый раб носил за ним горшок углей, пучок лучин да чашу с водой — для огарков. Гуур вытягивал из его сморщенного кулака новую и совал в тлеющий жар. Лучина воспламенялась. Она трещала и кривилась, сгорая. Гуур подносил ее нечистый огонь к мертвому фитилю.

Черная пакля загадочно оживала, гордо поднимая над собой колеблющийся-

ся язык пламени. Багровый внизу, оранжевый в середине, с маревом голубой шапки на самом верху — он был прекрасен. И даже если немного чадил, то чадил благовонно: ибо светильники заправляли маслом, настоящим на целебных травах и цветах.

Так они шли от светильника к светильнику, и мало-помалу сумрачный зал обретал кое-какие черты обжитого...

Из галереи донесся громкий шарк торопливых шагов.

Гуур усмехнулся.

— О доблестный Маа-Фар, — сказал он, не оборачиваясь. Повернулся, смеясь: — Вот уж правда: слух летит впереди вас! Как всегда, не успели вы миновать стражу, а ваша поступь уже сказала мне, кого ждать.

— А я, как всегда, отмечаю, что некоторым членам Совета не повредила бы знатная выволочка, вот что я скажу, — одышливо сообщил доблестный Начальник воинов, оглядывая зал и с пытением усаживаясь на свое место. Он взял с блюда горсть камейских орехов, высыпал в рот и невнятно продолжил, пережевывая: — Да! взбучка оказала бы на них самое положительное влияние. Если, конечно, вы, добродетельный Гуур, не станете возражать, — и вдруг воспалился: — Что такое, в самом деле! Почему я должен их дожидаться?!

— Как же это не стану, — отозвался Гуур. Он бросил в воду зашипевший огарок и отряс руки. Поклонившись, поняливый раб самостоятельно двинулся к ожидавшему своей очереди светильнику. Гуур запахнул мантию и сел напротив. — Непременно стану. Осмелюсь заметить, вы сегодня пришли раньше. И уже готовы обвинить других в опоздании. А они не опаздывают, они всего лишь собираются прийти вовремя. Что же касается ваших выволочек, о доблестный Маа-Фар, — Гуур поджал губы и скорбно покачал головой, — они не всегда кончаются добром. Поэтому оставьте их для настоящих преступников. Тем более что сегодня нам придется поговорить об одном из них.

Маа-Фар хмыкнул.

— Вот вы говорите: не кончаются добром. А что такое добро? — несколько вызывающе спросил он. — Не есть ли добро всего лишь поддержание порядка? А если так, то не заслуживает ли...

Начальник воинов оборвал себя на полуслове и наклонил голову, прислушиваясь.

Со стороны галереи доносились шаги и голоса, гулко отзывавшиеся под сводами.

\* \* \*

Дело шло к вечеру, но в зале стало светлее. Восточная стена была глухой, и прежде солнце бессильно калило ее снаружи, а теперь, на закате, обежало здание и всунулось в окна западной почти горизонтальными столбами.

Светильники потрескивали неразличимым прозрачным пламенем.

Члены Совета расположились вокруг низкого стола — кто восседал, кто возлегал. Стол уставляли полупустые кувшины с камейской водой, площадки дотаивающего льда, полуразобранные подносы фруктов.

— Друзья, — сказал добродетельный Гуур.

Он чувствовал утомление, не имеющее ничего общего с настоящей усталостью. Вот если целый день провести в саду, рыхля высохший суглинок под виноградником или занимаясь поливом — то есть вдумчиво позволяя быстрой

воде бежать на жаждущую землю то по одной, то по другой системе канавок, — вот тогда приходит настоящая усталость. И удовлетворение.

А шесть часов заседания оставляют в душе только оскомину.

— Друзья, — со вздохом повторил он. — Последний вопрос. И тогда ничто не помешает перебраться в пиршественную залу, чтобы припасть наконец к живительным источникам еды и питья.

— Уж небось все давно простыло, — буркнул Маа-Фар.

— Вы еще скажите, что и вино прокисло, — усмехнулся добродетельный Гуур. — Я разделяю ваше нетерпение, но все же давайте напоследок соберемся с силами. Итак?

Вопросительно улыбаясь, он обвел взглядом членов Совета.

Вообще-то дельце было не из самых простых. Гуур нарочно пустил его последним. Он рассчитывал, что испытываемое им нетелесное утомление в той же мере тяготит и остальных членов Совета. И надеялся, что они не станут выискивать десятки, если не сотни всякого рода закавык, за каждую из которых при желании можно уцепиться: не хотелось лишать задачу присущей ей, если смотреть под определенным углом зрения, ясности.

— Дело сего жалкого Парита. Вы же получили мою записку по нему, — сказал он полувопросительно.

Все закивали, только вечный путаник Гоо-Довор вскинулся, озираясь так, будто сейчас за ним должна была явиться стража, и принялся по-собачьи рыть-ся в своих пожитках, бормоча: «Было же где-то... где-то же я видел... куда же я!..»

— Есть ли у вас, о благородные члены Совета, предложения? — спросил Гуур. — Тогда выскажите их.

Члены Совета стали переглядываться. В конце концов послышался всегда недовольный голос Маа-Фара.

— Какие тут нужны особые предложения, о добродетельный Гуур, — фыркнул он. — С тех пор как Великий Крац перестал вешать звездочетов, судьба стала к ним благосклонней. Что тут рассусоливать? Не так уж много он натворил. Рядовым на Южную границу, и дело с концом.

Маа-Фар откинулся на спинку своего седалища, воинственно озирая остальных членов Совета — должно быть, ждал возражений.

Однако члены Совета мирно закивали, поглядывая друг на друга, — дескать, действительно, отчего бы так не сделать.

«Думать не хотят, — улыбаясь и тоже кивая, с ощущением сухой досады подумал Гуур. — Мозги жиром заплыли».

— Не слишком ли мягкое наказание для сего жалкого Парита? — доброжелательно спросил он. — Не представляется ли уважаемым членам Совета, что сей жалкий Парит посягнул на нечто очень важное? И что его поступок не может остаться без весьма серьезных последствий?

— Ну хорошо, если дело так пошло, я могу этого мерзавца в Шестой отряд, — бранчливо заявил Маа-Фар. — Всегда на передовой. Там быстро разучат глупостями заниматься. Там надолго не загадывают, — добавил он. — Как дело повернется. А то, глядишь, и в первый день без головы останется.

— Как дело повернется, — задумчиво повторил Гуур. — Вот именно. То есть, о доблестный Маа-Фар, вы хотите отдать преступника на откуп случайности. Она им будет управлять. Но нам хотелось бы знать, как именно. Ведь случай может и помиловать.



— Кого? — недоуменно переспросил Мaa-Фар, вероятно, потеряв нить рассуждений.

— Сего жалкого Парита, кого же еще, — сдерживая раздражение, разъяснил глава Совета. — Что за подход? Повезет, не повезет...

— Вот-вот, я же и толкую, — с самодовольным смехом сказал Мaa-Фар. — Если не повезет, стервятники уже к вечеру разберут его на косточки.

Повисло молчание.

Мaa-Фар терпеливо вздохнул.

— Вернемся к сути. Как глава Совета, я настаиваю на том, что нам следует самим распорядиться судьбой сего жалкого Парита. Его преступление в полной мере заслуживает смерти. Если так, зачем нам случайность?

Все молчали.

— Но, добродетельный Гуур, — проблеял наконец Гоо-Довор. — Разве преступление сего несчастного... как его там... требует столь уж?.. Разве мы не могли бы ограничиться?.. Я осмелюсь напомнить, Великий Крац завещал нам более миловать, чем... не правда ли?

Он беспомощно оглянулся. Судя по всему, его блистательно ясная речь не нашла понимания среди членов Совета.

— Мне кажется, вы склонны преуменьшать значение случившегося, — ответил Гуур. — Между прочим, незадолго до вашего прихода, о уважаемые члены Совета, у нас с доблестным Мaa-Фаром речь зашла о порядке. И осмелюсь доложить, по указанному вопросу доблестный Мaa-Фар отстаивал самые крайние позиции.

Мaa-Фар что-то невнятно буркнул.

— Вы знаете мою мягкость, но в данном случае я готов согласиться с доблестным Начальником воинов, — продолжил Гуур, нарочно не замечая его бормотания. — Ведь проступок сего жалкого Парита грозит обрушить не только порядок нашей жизни, но и сами основы мироздания. Нужен ли нам вселенский хаос?

Его голос звучал в совершенной тишине, гулко возносясь к сводам.

— Ну, в общем-то, если вдуматься, то конечно, — промямлил кто-то.

— Да, не стоит легковесно...

— И впрямь, так мы бог весть куда зайдем...

— Но зачем брать на себя лишнюю кровь? — спросил Гоо-Довор. Он тревожно подался вперед. — В конце концов, есть и другие способы избавиться от нежелательного элемента. Время от времени мы посылаем корабли на край земли. Ни один еще не вернулся. Может быть, и его туда? Чего стоит жизнь человека, если он — один из членов такого экипажа?

— В ближайшее время экспедиций не предполагается, — отрезал Гуур.

— Почему?

— Это совершенно иная тема! — повысил голос Гуур и тут же укротил себя: — Но если хотите отнять у всех лишнее время, пожалуйста. Во-первых, экспедиции встают в копеечку. Во-вторых, о мудрый Гоо-Довор, еще Великий Крац сомневался в их разумности. В одном из своих бессмертных писем он высказывает согласие с мнением древних о том, что на краю земли океан оканчивается водопадом.

— Вот именно: водопадом! — воскликнул Гоо-Довор. — Что еще надо, чтобы навсегда исчезнуть?

— О мудрый Гоо-Довор, — устало сказал Гуур.

Вот же проклятый путаник! Запутал-таки. Нет, ну при чем тут корабли? При чем экспедиции?!

Тем не менее ему хотелось по-прежнему оставаться сдержанным и холодным — все тем же добродетельным Гууром, о котором в народе складывают легенды и матери рассказывают детям перед сном.

Он несколько раз молча провел ладонями по щекам, как будто стирая невидимую воду или масло.

— Ведь мы ничего не знаем точно, — продолжил он спокойно и даже ласково. — Мы не знаем точно, оканчивается ли океан водопадом. Не знаем, почему так задерживаются наши корабли. То есть, принимая такое решение, мы снова оказываемся в плену случайности. Что будет, если Великий Крац был не совсем прав? Что, если океан не оканчивается водопадом? Что, если корабли в один прекрасный день вернутся?

Все молчали.

— Нет, нет и нет, — заключил Гуур, используя момент, пока члены Совета невольно отвлеклись на осмысление столь неожиданных перспектив. — Проступок сего жалкого Парита должен быть похоронен надежно и навсегда. Самое ценное, что у нас есть, — знание. Мы не можем им поступиться.

\* \* \*

Хлипкий, всего из нескольких поперечин помост был наколочен между четырех столбов. Под помостом громоздились вязанки дров. На соответствующей высоте к столбам прибиты колодки: веревочные путы могли бы сгореть раньше времени, а эти, дубовые, займутся в последнюю очередь.

Колодки крепко держали запястья, отчего приговоренный стоял крестом, широко раскинув руки.

Гуур опасался, что сей жалкий Парит перед смертью возьмется, чего доброго, за какую-нибудь из своих нелепых проповедей. Оцепление держало толпу на удалении, достаточном, чтобы ничего не расслышать за ветром и вороньим криканьем. Ее же собственный галдеж достигал эшафота, сливаясь по пути во что-то вроде рокота прибоя — столь же ровное и бессмысленное.

— Эй! — негромко сказал Гуур.

Преступник поднял голову и мутно взглянул. Лицо отекавшее, в синяках, правый глаз заплыл.

— Я должен расспросить тебя перед смертью, — пояснил Гуур. — Так велит закон. Может быть, отвечая честно и искренне, ты расскажешься. Тогда твоя черная душа хоть сколько-нибудь очистится. Иначе даже всемогущие боги будут напуганы ее видом. Когда ты родился?

— Я? — тупо переспросил обреченный.

— Давай договоримся, — ласково предложил Гуур. — Я буду спрашивать, ты отвечать. А вовсе не наоборот.

— Хорошо...

— Так когда же?

— В четвертом каппасе коровьего сукора.

— Выглядишь старше, — заметил Гуур. — Кто были твои родители?

— Мать еще жива... отец рано умер. Он был кожевником.

— Как пришла тебе в голову мысль распространять ересь?

— Как вообще в голову приходит мысль? — снова переспросил Парит. Но тут же испуганно добавил, вспомнив, вероятно, о договоренности: — Я не знаю.

— Счастье, что первый, кому ты ее рассказал, тут же поспешил к жрецам, — заметил Гуур, складывая руки в замок и качая головой.

— Так, значит, это был Премен? — удивленно спросил преступник и облизнул губы. — Вот сволочь.

— За что ты бранишь этого честного человека, несчастный, — не в силах побороть брезгливости, спросил Гуур. — Он выполнил долг, заслужил похвалу!..

— Мы выросли в одном дворе, — разъяснил Парит. Он усмехнулся. — Я думал, Премен ни за что не выдаст... а оно вон как: первым побежал.

— Кого бы ты ни посвятил в свою безумную ересь, человек в ужасе примчался бы к нам!

Осужденный скривился.

— Конечно, ведь все верят жрецам, — пробормотал он и вдруг спросил, как будто догадавшись о чем-то важном: — Ведь вы, наверное, добродетельный Гуур? — Он жадно смотрел на стоявшего перед помостом. — Ну конечно! Мне обещали, что провожать меня будет сам добродетельный Гуур. Мое преступление слишком ужасно, и никто другой не справится с черной силой. Вы в алой мантии... это ведь вы, да?

— Это я, — кивнул добродетельный Гуур.

— Я искал способа увидеться с вами. Говорят, вы очень справедливы... и очень умны. Так не губите меня, о добродетельный Гуур! Это просто недоразумение. Я расскажу, вы поймете.

По его лицу блуждала гримаса, которую можно было бы назвать улыбкой. Если, конечно, на самом деле он не кривился от боли в руках.

«Похоже, ополоумел», — приглядываясь к нему, подумал Гуур. Ему не впервые приходилось стоять с глазу на глаз с человеком, которого вот-вот не станет.

— Поймите же! — слабо повторял тот. — Поймите!..

— Что я должен понять? — холодно спросил Гуур.

Несчастный собрался с мыслями. На время взгляд перестал прыгать и мутиться.

— Я обещаю: больше никогда не повторится. Никогда никому не скажу. Только отпустите меня. Никому, честное слово!

Гуур рассеянно покивал. Пора было начинать. Точнее, заканчивать.

— Ну, хотите, вырвите мне язык! — крикнул осужденный, подаваясь телом вперед и корчась при этом от боли. — Вы будете уверены в немоте. Я понимаю проступок. Он ужасен. Жрецы знают самое больше число. Конечно же это так. Больше никто не должен. Конечно же. Оно священо. Только жрецы. Пусть с самого детства люди верят в это. Мироздание покачнется. Святость уйдет. Моя ересь безумна!

Гуур сделал знак, чтобы раб, державший факел, подошел ближе.

— Вырвите! — закричал преступник.

— Прощай, — сказал добродетельный Гуур.

— Не надо! Не надо! — кричал несчастный, мотая головой. — Не делайте этого, ведь я говорил правду! Это и на самом деле так!

— Неужели? — холодно спросил Гуур.

— Да! Да! Ну поймите же! И все! И все! И не делайте этого! Это правда! Жрецы не могут знать самого большого числа в мире!

Гуур поморщился. Хорошо, что приказал держать зевак подальше.

— Стоит прибавить к нему единицу — и оно станет еще больше. А потом еще и еще — и так без конца. Разве не понятно?!

Гуур на мгновение закрыл глаза, а когда раскрыл, из-под век полыхнули черные молнии силы и презрения.

— Твоя ересь заслуживает худшего наказания, чем огонь, — сухо сказал он. — К моему глубокому сожалению, наказания хуже не бывает.

— Вообразите кучу яблок, — не успокаивался сей жалкий, в отчаянии мотая головой. — Гору яблок! Они неисчислимы! Но ведь можно бросить еще одно? Даже ребенок способен это сделать. Тогда их число увеличится на единицу.

— Ты ничуть не раскаялся, однако это твое дело. — жестко продолжал Гуур. — Думаю, боги сами найдут способ защититься от черноты твоей погибшей души.

— Песчинки на морском берегу! Их мириады! Но!..

Раб уже стоял на расстоянии шага.

— При твоем уме ты мог бы стать неплохим жрецом.

Преступник завыл.

Не оборачиваясь, добродетельный Гуур протянул руку за факелом.

— Прощай.

Мгновение помедлив, поднес пламя к намасленным сучьям.

Пламя возникло как будто из ничего: и вот уже поспешно и жадно охватывало все, до чего только могло дотянуться.

Гуур стоял, пристально вглядываясь в его вечный танец.

Но отошел, прикрывая лицо, когда жар стал нестерпим.

*Звиад Ратиани*

## ОТЦЫ

*С грузинского. Перевод Бахыта Кенжеева*

1

Возмущались, когда почтальон со свежей газетой  
опаздывал на двадцать минут;  
забрасывали колотящиеся сердца в выпуклые экраны  
телевизоров, вскакивали со стульев, ликуя, когда  
форвард любимой команды забрасывал эти сердца  
в ворота соперника. По утрам в феврале с трудом  
заводили машины. Пока прогревался мотор, терпеливо  
раскуривали первую сигарету «Космос». Летом на крыши  
тех же сиротских машин крепили багажные рамы, жен  
и детей увозили подальше от городской духоты  
и жары. Сидели во главе стола с бесценными друзьями,  
сидели на зарплате, не роптали, устраивали  
то праздники, а то — мудреные дела, а то —  
ладони на плечах любимых сыновей.  
И планы строили, как дом из брёвен,  
пораженных грибком.  
Бедные отцы.

Бедные отцы,  
у которых хватало дерзости сохранять верность себе,  
и когда окружающее неизлечимо преобразилось,  
они по-прежнему покачиваются,  
стоя в автобусах, сменивших номера маршрутов,  
сквозь пыльные окна всматриваются в переименованные улицы,

---

*Звиад Ратиани* — поэт и переводчик. Родился в 1971 г. в Тбилиси. Окончил 1992 г. факультет связи Тбилисского технического университета. Работает инженером. Автор четырех книг стихов. Переводил на грузинский язык стихи Р.М. Рильке, Т. Элиота, Э. Паунда, Р. Фроста, У. Х. Одена, Р. Лоуэлла, Д. Уолкотта и др. Лауреат нескольких литературных премий, в т. ч. премии Института Гёте (1999) за переводы стихов П. Целана и премии имени Важи Пшавелы за поэтический сборник «Дороги и дни» (2005). Стихи З. Ратиани переведены на многие европейские языки. Живет в Тбилиси.

*Кенжеев Бахыт* — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1950 г. в Казахстане, в г. Чимкенте. В 1973-м окончил химфак МГУ. Дебютировал в 1977-м как поэт в сб. «Ленинские горы. Стихи поэтов МГУ». Автор более десяти книг стихов и прозы «Золото гоблинов» (2000) и др. Лауреат нескольких литературных премий, в т.ч. «Антибукер» (2004), «Anthologia» (2005) и «Русская премия» (2009). Стипендиат Канадского совета по делам искусств (2009). Живет в США и Москве.

расплачиваются за проезд неузнаваемыми деньгами,  
и на службе, сменившей лицо, а точнее — профиль,  
всё свое усердие вкладывают в битву со временем,  
а у него, дракона, вместо срубленных голов отрастают новые,  
огненное дыхание меняет всё вокруг, кроме наших отцов.

Неузнаваемо всё, а они, ещё неизменнее,  
чем сколько-то лет назад,  
пешим ходом, с руками в карманах, расходятся по домам,  
по разным домам, разной походкой, да и сами они непохожи  
друг на друга — если бы не одинаковый взгляд.

Так звери, впервые попавшие в зоопарк, привыкают к решёткам,  
у тигра ли, зайца, удава ли, попугая, схожий туман в глазах,  
схожий страх, а решёток они не замечают.  
Так и отцы, наши отцы, спят на ходу и спокойно,  
едва ли не гордо, ждут пробуждения  
(вот проснемся — и за всё отомстим),  
но сну всё равно, надолго ты лёг или только вздремнуть,  
главное, что спишь, и сон, однажды начавшись, не прерывается,  
безразличный даже к тому,  
что заведённый будильник вот-вот зазвенит.

И лежат отцы, во мраке, лицами — к стенам,  
притихнув перед беспокойным сном,  
закаявшись вспоминать о минувшем,  
столько раз перелистанным, что страницы  
истончились, и строки стали  
неразборчивы. Что же они сохраняют  
для внуков, для будущего, которое, как и прошлое,  
неразлично во мгле?

И лежат отцы, во мраке, лицами — к стенам,  
глухим, то есть лишённым ушей, позволяющим изрекать  
что угодно, злиться, биться в истерику, плакать —  
но и этого не выходит.

Тихо лежат, лицами к стенам, во тьме,  
не смея помыслить о прошлом,  
когда желания, и дела, и заботы  
вольготно перемещались по часовой стрелке,  
и, как отработавшие декорации после спектакля  
по ту сторону сцены, плавно отцы отходили ко сну,  
укладываясь в темноте лицами — к будущему,  
погружаясь в урочный сон.

Да, преобразилось, перегорело,  
изменилось так безвозвратно, что память  
стало уместно вышучивать, многострадальная  
родина столько перетерпела,  
что уже утомляет собственных граждан,  
все поумнели настолько, что зашкаливает количество идиотов,

и всякое прошлое, особенно — безмятежное, окончательно  
превратилось в шестое чувство (времени),  
мы видим наших отцов,  
у которых хватило дерзости остаться самими собой,  
и проглотить все наши упрёки, все наши укоры:

ведь они ради блага родины должны были биться лбами о стены,  
на коленях обязаны были мыть каменные полы церквей,  
как они смели не издавать гласа вопиющих в пустыне?  
Почему не обучили нас азам здорового секса?  
Немало подобных пошлостей кидали мы им в лицо, а они  
стеснялись ответить, как надо.

И теперь, когда всё безутешно преобразилось,  
без вести пропали почтальоны со свежими газетами,  
куда-то запропастилась  
родная футбольная команда со своим форвардом,  
от проданных машин остались лишь ржавые багажные рамы,  
с прилавков навсегда исчезли сигареты «Космос»,  
и бесценных друзей безвозвратно разбросала недорогая жизнь,  
тесно стало жить нашим отцам,  
тесно, потому что они были *наши* отцы,  
наши — не нефти, не табака, не трибун,  
не экранов, не войны, не туризма;  
никогда не жили они на газетных страницах,  
в людских сердцах, на бетонных пьедесталах,  
а жили всего лишь в домах, в наших уютных домах —  
бедные наши отцы...

## 2

Ах, надежда моя, перевернутый жук,  
не догадывающийся, что стряслось,  
и отчаянно дрыгающий ножками  
в неузнаваемом воздухе.

И чередуются дни, как листки в детском альбоме  
для раскрашивания, и стоят отцы  
у окон, на улицах, в старых автобусах,  
и, как дети, упрямо ждут,  
когда же найдутся эти потерянные,  
не на место положенные, случайно упавшие  
цветные карандаши.



*Инна Кабыш*

## Вечная молодость

*Рассказ*

— А ты представь, что даешь мне интервью! — Лена включила диктофон и откашлялась. — Человек — это как бы машина, выполняющая приказы своего генома. Но эти приказы не всегда разумны. К примеру... — Лена выразительно посмотрела на Степана, — запрограммированный процесс старения и смерти, который еще древнеримский врач Гален назвал апоптозом. А в 2002 году биологи... — Лена заглянула в блокнот, — Хорвиц, Салстон и Бреннер получили Нобелевскую премию за то, что доказали: апоптоз — это действительно генетическая программа...

— Ну и что? — пожал плечами Степан.

— А то, — убежденно ответила Лена, — что если смерть и предшествующая ей старость программа, то ее можно если не отменить, то по крайней мере сломать!..

— Зачем? — поднял на нее глаза Степан.

— Как ты не понимаешь! — воскликнула Лена. — Ведь тогда человек сможет жить до двухсот лет!..

— А ты хотела бы жить до двухсот лет? — усмехнулся Степан.

— Но это же не просто долголетие, — горячо возразила Лена. — Это молодость!..

— Ну да, ну да! — пробормотал Степан. — Это носится в воздухе... — Он встал с кресла и пошел к окну. — Недавно смотрел по телевизору передачу, так ее участники с пеной у рта доказывали, что отцами нужно становиться в пятьдесят... — Степан сощурился, словно во что-то всматриваясь. — А исходя из твоей теории — в сто пятьдесят!..

— И что в этом плохого? — пожала плечами Лена.

— Помнишь такого философа Федорова? — спросил Степан не оглядываясь.

— Как же! — процедила Лена. — Воскреситель!

— Так вот, — продолжал Степан, — Федоров верил, что человек когда-нибудь достигнет практического бессмертия...

— Вот видишь! — перебила Лена.

— Но для чего! — повернулся Степан. — Федоров предполагал, что поколение бессмертных осознает себя «детьми» и из чувства сыновней благодарности воскресит всех, кто был до него, то есть «отцов»...

— Не вижу связи, — сморщила лоб Лена.

— Разумеется! — Степан зашагал по комнате. — Ведь по твоей теории человечество превратится в молодящихся стариков, которые не захотят воскрешать «отцов» — они сами будут «отцами»!

— По-твоему, быть отцом — преступление? — поджала губы Лена.

— Будьте как дети! — напомнил Степан. — И потом, — он остановился возле Лены, — представляю, какими высокомерными будут эти твои «отцы»: Пушкин будет для них просто ребенком... — Степан снова подошел к окну. — Я уж не говорю про Лермонтова...

— А зачем тебе это? — спросил Андрей закуривая.

— Мне заказали статью, — Лена застегнула джинсы.

— По-моему, — Андрей выпустил дым, — это чистой воды абсурд. — И добавил: — Точнее, грязной...

— Ты о чем? — повернулась к нему Лена.

— О Мексиканском заливе...

— Дался тебе этот залив! — натянула водолазку Лена.

— Девочка, — Андрей стряхнул пепел, — я знаю, что говорю... — Он сделал паузу. — Это начало конца: абсурдно в конце света хотеть долголетия...

— А молодости? — вспыхнула Лена.

— Тем более, — Андрей затаился. — Молодость — это дети...

— Степан говорит, что нужно быть как дети, — заметила Лена.

— Вообще-то это говорит Христос, — снова стряхнул пепел Андрей.

— Степан считает, что он прав, — уточнила Лена.

Андрей усмехнулся:

— Мне нравится твой муж...

Лена подошла к окну.

Андрей потушил окурок и стал одеваться.

— Я приеду за тобой в августе...

— В августе? — переспросила Лена.

Андрей посмотрел на нее в упор.

— Твой сын закончил школу в прошлом году. Твои ученики заканчивают ее через месяц. В сентябре тебе не нужно будет идти в школу... — Андрей оделся и подошел к ней. — А к тому времени я отремонтирую своего «Буцефала»...

— Ты хочешь приехать на «Буцефале»? — тихо спросила Лена.

Андрей кивнул.

— Зачем? — выдохнула Лена.

Андрей обнял ее за плечи:

— Представь: ты, я, вода и небо...

— В алмазах! — не удержалась Лена и добавила: — Да ты романтик!

— Я геолог, — возразил Андрей, — а яхты — это, если угодно, хобби, хоть я и не люблю это слово, — потому что корабль...

— Кстати, — перебила Лена, — женщинам на корабль нельзя...

— А Елена Прекрасная? — рассмеялся Андрей.

- Это плохо кончилось,— напомнила Лена.
- В конце света это не принципиально.— Андрей повернул ее к себе.
- И... что мы там будем делать? — осторожно спросила Лена.
- Мы? — Андрей посмотрел в темноту за окном.— Будем гибнуть откровенно...
- Почему геологи так любят стихи? — вырвалось у Лены.
- Красиво...— пожал плечами Андрей и, помолчав, добавил: — А у тебя было много знакомых геологов?
- Я вот о чем думаю,— как бы не слыша сказала Лена.— Елена провела в Трое десять лет...— Лена сделала паузу: — Неужели она осталась такой же красивой?
- Во-первых, она была не красивой, а прекрасной,— заметил Андрей.
- А во-вторых? — быстро спросила Лена.
- Андрей усмехнулся:
- Ты все еще думаешь, что красота — это молодость?
- Лена посмотрела на часы.
- Кстати, о молодости. Меня ждет ученица.
- Лена вышла из лифта: на лестничной площадке курила Даша.
- Давно ждешь? — спросила Лена, доставая ключи.
- Да нет... — Даша потушила сигарету.
- Проходи! — Лена добавила: — Кофе будешь?
- Что?... — спросила Даша.
- Ты чего такая? — Лена взяла турку.
- Какая? — подняла газа Даша.
- Тормозная... — засмеялась Лена и открыла буфет.
- У меня задержка... — вдруг тихо сказала Даша.
- Какая задержка? — резко повернулась Лена. — То есть... я хотела спросить: сколько дней?
- Десять... — тупо ответила Даша.
- Лена подошла к столу и опустилась на табуретку:
- Ты маме сказала?
- Я что — похожа на сумасшедшую? — огрызнулась Даша.
- Лена встала:
- Дай сигарету!
- Я не знала, что вы курите. — Даша вынула из сумки синий «Dunhill».
- Я тоже не все о тебе знала...— Лена подошла к балконной двери, приоткрыла ее и закурила.— Мы с тобой собирались сегодня сделать тест по «Мастеру и Маргарите», так?
- Вроде да...— кивнула Даша.
- Так вот,— Лена закашлялась и потушила сигарету, — вместо этого ты сейчас пойдешь в аптеку и купишь тест на беременность...
- Даша закурила.
- У тебя деньги есть? — спросила Лена.
- Много? — в свою очередь спросила Даша.
- Лена наморщила лоб:
- Рублей сто. Или двести. Точно не помню...
- Тогда есть. — Даша встала.

— Тогда иди,— сказала Лена.

Даша продолжала стоять.

— Хочешь анекдот? — Лена подошла к плите и стала варить кофе.— Лет десять назад дала я своей ученице книжку одного современного поэта.— Лена помешала в турке.— А на следующий день вызывает меня директор и грозным голосом спрашивает: «Чем вы руководствовались, давая ученице одиннадцатого класса эту книжку?» — и показывает на томик стихов. — «А в чем дело?» — не поняла я.— «А вы знаете, что там есть слово «сперма»?» — Лена выключила газ.

— Смешно,— хмуро сказала Даша.

— А мне тогда пришлось уволиться, — возразила Лена.

— Так вас ученица заложила? — спросила Даша.

— Никогда не знаешь, кто из твоих учеников Иуда...— пожала плечами Лена.

— А помните,— оживилась Даша,— когда я писала реферат «Круг чтения юного Пушкина», вы мне дали Баркова, а когда проходили Достоевского — Ницше...— И она процитировала: — «Любите еще только страну ваших детей...»

— И вот что из этого вышло,— усмехнулась Лена.

— Нам не дано предугадать,— кинула Даша и добавила: — А где у вас аптека?

— А почему такой грохот? — закричала Лена в телефонную трубку.— Ты что в метро? Андрей, ты меня слышишь? У меня беда...— Лена прошлась по комнате.— Дашка беременна... Ну я тебе рассказывала: моя ученица, я ее еще на филфак готовлю...— Лена перевела дыхание.— Да вопрос не в том, кто виноват, а в том, что делать...— опять закричала она и вдруг почувствовала чей-то взгляд.

Лена оглянулась: в дверях стоял Максим.

— А что говорят ее родители? — спросил Андрей.

— Родители...— Лена отпила глоток вина.— Понимаешь, это новая порода родителей. Им под сорок, и они не так давно родили второго ребенка,— Лена отпила еще, — и почувствовали себя молодыми...

— По-моему, это вытекает из твоей идеи продления жизни. — Андрей закурил.— Разве не так?

— Да,— Лена хрустнула пальцами,— но они посылают ее на аборт.— Она подняла глаза на Андрея.— Как говорил Степан, они хотят быть не дедами, а отцами...

— А что еще говорит Степан? — сощурился Андрей.

— Я, знаешь, о чем подумала...— продолжала Лена, — если человек будет жить до двухсот лет, он будет страшным эгоистом, ведь он будет чувствовать себя сверхчеловеком...

— Для того чтобы чувствовать себя сверхчеловеком,— заметил Андрей,— не обязательно жить до двухсот лет...

Лена пристально посмотрела на него.

— Собеседниками богов, как известно, становятся те,— пояснил Андрей,— что посетили этот мир в его минуты роковые.

— Все? — с интересом спросила Лена.

— Нет, — твердо ответил Андрей.— Только те, кто отдает себе в этом отчет.

— Ты, например? — в упор спросила Лена.

— Например, я,— кивнул Андрей.

— Так ты поэтому послал меня на аборт? — выпалила Лена.

— У Земли нет будущего,— Андрей потушил окурок тут же закурил снова.— Мы последнее поколение....

— И поэтому для нас не существует понятия греха? — быстро спросила Лена.

— Видишь ли,— Андрей затаился,— либо считать грехом все: что ты изменяешь мужу, что я развелся с женой, что ты сделала аборт. Либо не считать грехом ничего. — Андрей сплюнул.— Я предпочитаю последнее.

— Значит, я не сверхчеловек,— заключила Лена.

Андрей вопросительно посмотрел на нее.

— Потому что когда я сказала Дашкиным родителям, как вы можете послать девочку на аборт, они ответили: «Не согрешишь — не покаешься, а ведь и я так живу...» — Лена перевела дыхание.

— Как? — не понял Андрей.

— Грешу и каюсь,— выдавила Лена.

— Но ты хочешь грешить и каяться до двухсот лет,— уточнил Андрей.— Разве это не сверхчеловеческое?

— Я хочу не долголетия,— возразила Лена,— а молодости...

— Не вижу разницы,— сказал Андрей.

— А я вижу. — Лена потянулась к его сигаретам. — Это не сверхчеловеческое, а женское. Слишком женское... — и добавила: — Я не вижу, что делать с Дашей...

— Хочешь, я на ней женюсь, — засмеялся Андрей.— Она, кстати, красивая?

— А говорил, что красота — это не молодость,— поддела Лена.

— Я пошутил...

— Тогда или теперь? — усмехнулась Лена. — Не помню, говорила я тебе или нет: в нее влюблен мой Максим...

— Он ведь у тебя, кажется, музыкант? — почему-то спросил Андрей.

— Музыкант... — вздохнула Лена.

— И что ты решила? — Лена налила Даше кофе.

— Я выхожу замуж. — Даша вынула сигарету.

— Наверное, это правильно. — Лена придвинула ей сахар. — Все-таки аборт — грех...

— Я не потому. — Даша закурила.

— А почему? — удивилась Лена.

Даша не ответила.

— Ты его любишь? — спросила Лена.

Даша выпустила дым:

— Я люблю вас...

— И поэтому выходишь замуж? — усмехнулась Лена.

— В общем, да. — Даша пристально посмотрела на Лену.

— Звучит абсурдно, — заметила Лена.

— Не так абсурдно, как кажется. — Даша отпила кофе. — Потому что ведь вы говорили, что все равно мы «увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную»...

— В этом смысле! — Лена взяла Дашкину пачку сигарет.— Можно? — и, закулив, заметила, что все так и есть, хоть это говорила и не она...

— Мам! — Максим приоткрыл дверь.

— Заходи,— ответила Лена, не отводя глаз от монитора.— Что-нибудь случилось?

— В общем, да. — Максим сел в кресло.

— Тебя выгоняют из института? — по-прежнему глядя на экран спросила Лена.

Максим усмехнулся.

— Денег нужно? — опять спросила Лена.

Максим не ответил.

— А что тогда? — Лена мельком взглянула на сына.

— Я женюсь... — четко выговорил Максим.

Лена на секунду замерла, а потом всем корпусом повернулась к сыну:

— На ком?

— На Дашке...

У Лены потемнело в глазах.

— Так это... — выдавила она, плохо соображая и закончила: — Это почему?

— Ее родители сказали: «Или выходи замуж, или делай аборт...»

— Вот и пусть делает! — закричала Лена.

— Нет,— твердо возразил Максим,— потому что...

— Это грех? — перебила Лена. — Так не твой!..

— Не потому, — мотнул головой Максим, — а потому что тогда она за меня не выйдет...

— И прекрасно! — опять крикнула Лена.

Максим промолчал.

— А как же твоя музыка? — не унималась Лена.

— А разве не ты говорила, что «и любовь — мелодия»?

— Не я! — Лена резко встала.

— А кто? — нахмурился Максим.

— Пушкин! — Лена прошлась по комнате.

— Это все равно, — спокойно сказал Максим.

Лена остановилась напротив сына:

— Но она тебя не любит! — и, как бы желая сделать ему еще больше, добавила: — Точнее, любит, но не тебя...

— А кого? — хмуро спросил Максим.

Лена сглотнула:

— Это не важно!

— Вот именно! — Максим встал и направился к двери.

— Но она ведь даже не красивая! — в отчаянии крикнула Лена.

Максим остановился:

— А что по-твоему красота? Девяносто-шестьдесят-девяносто? — и, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты.

— Почему «ужасно»? — спросил Степан.

— Потому! — огрызнулась Лена.

— Это не ответ, — спокойно сказал Степан.

— Понимаешь, — Лена хрустнула пальцами, — она живет не ближним, а «дальними морями» и «небом в алмазах»...

— А разве не ты научила ее любить дальше? — сощурился Степан.  
— Не я! — закричала Лена.  
— А кто — Пушкин? — подначил Степан.  
— Не знаю! — опять закричала Лена. — Я как раз считаю, что любить нужно ближнего!  
— Да ну? — делано удивился Степан. — Это почему?  
— Потому что он мой сын! — отрезала Лена.  
— А-а... — усмехнулся Степан. — Но он-то ее любит.  
— А она любит меня! — в отчаянии крикнула Лена.  
— Это не важно... — Степан взял сигарету.  
— То есть как это «не важно»? — застыла Лена. — А что важно?  
— Что? — Степан помял сигарету в пальцах. — Что он любит ее, она тебя, ты... — Степан сломал сигарету, — своего любовника...  
Лена вздрогнула и выпалила:  
— А он — тебя!  
— Вот видишь, — не моргнув глазом продолжал Степан, — а я — тебя... —  
И добавил: — Как в той песне:

Еще была солистка Леночка,  
Она была влюблена в ударника,  
Ударнику нравилась Оля,  
А Оле снился соло-гитарист  
И иногда учитель пения...

Лена прошла по трапу и ступила на палубу.  
— Вот уж не думала, что ты действительно приплывешь на корабле...  
— Почему? — пожал плечами Андрей. — Это не трудней, чем приехать на автомобиле: нужно только взять разрешение Мосводоканала... — И добавил: — А может, и проще: пробок нет.  
Лена прошлась по палубе.  
— А здесь есть кухня?  
Андрей кивнул.  
— А душ?  
Андрей снова кивнул.  
— Покажешь? — повернулась к нему Лена.  
— Лучше я покажу тебе кровать, — обнял ее Андрей и вдруг спросил: — А где твои вещи?  
— Понимаешь... — подняла на него глаза Лена, — в сентябре у Максима с Дашкой свадьба...  
Андрей закурил.  
— А в октябре, — продолжала Лена, — у нас со Степаном. — Фарфоровая.  
— Ты хочешь сказать, — Андрей затаился и выпустил дым, — что ты другому отдана, хоть ты ему и неверна?  
— Хорошо, что ты любишь стихи... — Лена опустила глаза и добавила: — А в ноябре вторая четверть: я взяла новых детей...  
Андрей стряхнул пепел.  
— А в декабре у Дашки роды... — не поднимая глаз сказала Лена.  
— Старая песня, — усмехнулся Андрей и продекламировал:



Учитель пения имел роман с географичкой,  
Он даже хотел развестись, но что-то его держало,  
Возможно, трое детей, а может, директор школы,  
Ведь тот любил учителя пения... —

Андрей сделал несколько затяжек и закончил:

Вот такая вот музыка,  
Такая, блин, вечная молодость...

- Степан говорит, что это про нас,— тихо сказала Лена.  
— Твой муж, как всегда, прав...— Андрей бросил окурок за борт.  
— И ты прав...— еще тише сказал Лена.  
— Да ну? — хохотнул Андрей.  
— Красота — это действительно не молодость...— задумчиво проговорила Лена.— Я ведь отказалась писать ту статью...  
— Какую статью? — не понял Андрей.  
— Ну... про отмену старости...  
— А-а...— вспомнил Андрей и усмехнулся: — Почему? Ты, помнится, так горела этой идеей...  
— Потому что молодость — это не долголетие,— твердо сказала Лена.  
— А что?  
— Не знаю...— посмотрела куда-то сквозь Андрея Лена.— Может быть, музыка...

Дмитрий Румянцев

## Из первородной глины

\* \* \*

Бес не сболтнёт, и Бог не отзовётся:  
проклятье это или благодать?  
Поэзия, как тайное уродство,  
которое приходится скрывать.

Так Пушкину, что ехал до Арзрума,  
явился дервиш — бос, полураздет.  
— Так вот — мой брат! — и гений долго думал,  
и в свете бегал прозвища «поэт».

А в небе голубином и глубинном,  
немом, высоком, что тебя — прочтут?

Иль рифмы, точно два горба, даны нам:  
доказывай Ему, что не верблюды!

Могила ли горбатого исправит,  
по Слову ли воздастся за слова?  
«Живи один, иди противу правил» —  
и в подворотне ждёт тебя судьба,

как с точкою, с заточкою. С оплошкой  
печатною в катрене о мечте.  
А губы перемазаны *морозкой*,  
*жизнь кончена* в кромешной немоте.

### Поэзия

Говорили: «Духовность!» А что это было, скажи,  
если не одержимость, когда не желание власти  
над умами? Замыта блевота на старом паласе  
после party с английским славистом. Опять миражи

заполняют углы, словно тени Рембрандтовы. Тщась  
достучаться до неба, дочь в марте шагнула с балкона.  
А они: Капернаум, смирение, этюды Шопена  
с тонким призывом скорби. А тут бы совсем замолчать,

ополчиться на Слово, вытравливать звуки в себе...  
Но опять под дугой *заунывно звенит колокольчик*  
вдохновенья (он требует жертвы, как только захочет),  
и с гримасой отчаянья пишет посланья к Тебе

безутешная мать. И находит молитву отец,  
ту, приличную случаю. И примиряются с болью.  
И стремление жить торжествует. Но хватит, довольно  
о поэзии сказано.  
Дальше — немота.  
Конец.  
Душная ночь. Отрывок.

---

Румянцев Дмитрий Анатольевич — поэт. Родился в Омске в 1974 г. Окончил философский факультет Омского педуниверситета по специальности «культурология». Автор двух книг стихов. Живет в Омске.

## Бог из машины

Технический прогресс не трогает души:  
она всё та же, и в ней до сих пор как будто  
холодная заря, пустые камыши  
промзоны, дикий пляж и тёмный блеск мазута.

Я — человек, но я не Божий человек,  
пока я до души — из первородной глины.  
Я — голем и слежу за Богом из машины,  
среди машинерий коротая век.

И до сих пор порой мне, глупому, милей  
тьма суеверий: чёрт и чорт-психоанализ.  
Но Ты во лбу перстом однажды ставишь Алеф.  
И я — не я, а древний иудей.

До сердца наг, молюсь об участии святой  
на тихом берегу святого Иордана,  
куда пришел Иисус, как *deus ex machina*<sup>1</sup>,  
в одно мгновенье поменявший всё...

## Молитва о слове

Во времени ветшает сам язык.  
И «чудного мгновенья» простодушье  
смущает ум: ужели это Пушкин?  
Всё выцвело! Гудит от рифм арык  
Бахчисарая и уносит гуцу  
словесную...

Вот и Кавафис шёл  
к димотике от норм кафаревусы<sup>2</sup>  
в стихах своих. Но, видно, наши музы  
не поднимают нас ни на вершок  
над бренностью...

Язык мой — враг мой, он  
зудит словцом над долею височной:  
«Ты весь умрёшь! Таков земной закон!»  
Так заточи же Даниил Заточник  
моление, как кинжал, о слове прочном,  
способном осветить темницу речи,  
где мы живем в косноязычье вечном.  
Бог в Слове дан. И это — хорошо!

---

<sup>1</sup> *Deus ex machina* — бог из машины (лат.).

<sup>2</sup> *Димотика* — современная народная разговорная форма греческого языка; *кафаревуса* — искусственная разновидность греческого языка, основанная на заимствованиях из древне-греческого.

\* \* \*

Центр мира — здесь, сейчас! — на том стоит  
любой творец, как честный *гений места*.  
Иначе абсолютно неизвестно,  
как Архимедов принцип приложить —  
рычаг его.

А так — иди, валяй,  
валяй себя в живое изваянье.  
И не сочти за труд самостоянье.  
Се — Предстоянье. Этот край — не край  
земли, пока повсюду к нам лицом  
Господь.

Тут небеса — Буонарроти  
(как говорил поэт), и ужас плоти  
твоей срезает правильным резцом.

И на детальных вечности полотнах  
твой прорисован грифелем портрет  
эскизом в живописной подноготной  
провинции, где перспективы нет,  
и только крупный план Его бесплотной  
задумки...

\* \* \*

Провинциальное лито:  
девчонки, парни, шуры-муры.  
Мечтают въехать всем гуртом  
в историю литературы.

И для филолога-звезды  
поэтка в ночь снимает лифчик:  
долой учёные труды,  
пусть рифма звонко входит в лимфу!

Нет, он — не Байрон, но, смеясь,  
гордясь, она его целует.  
И сковородка, накалясь  
на кухне, страсть экзаменует,  
шипя...

...Но стоп: я их люблю,  
я сочиняю их, за этим

никто из них не стал поэтом:  
не выпил яд, не влез в петлю.

Библиотекарша, доцент.  
Живут неброско. А флективность  
у русской речи завершилась  
детьми, как обещал куплет.

От стирки, глажки, от стряпни  
*они* сбежать хотели в слово.  
Но быт железный входит снова,  
и это — лучшие стихи.

Когда срифмована душа  
с материальными вещами.  
И пахнет в комнатах борщами,  
а сын и дочь тебя встречают  
там, у порога, не дыша...

\* \* \*

Ни в небе я Тебя не вижу,  
ни на земле не нахожу.  
Мешу болотистую жижу,  
мешаю ближнему, брюзжу.

Не в коридор, в простенок сонный,  
не в тела мерзостный сосуд, —  
туда, где голос Джона Донна,  
влечет, как колокол, на Суд.

Хожу на черную работу  
и возвращаюсь под звездой  
в свой дом, где кто-то, этот кто-то  
опять зовет меня домой.

Блестит, запутавшись в стропилах  
звезда. И знаю я: не гнев,  
но помощь нам: что мы не в силах  
Тебя узнать, не умерев.

\* \* \*

Мал человек, а смерть его огромна.  
И Иванов, и Смит, и Магомет  
когда-то превратятся в бересклет,  
в пастушью сумку, иван-чай и донник...

в туманность Андромеды, в звёздный прах.  
И если бы *ничто* уделом было  
в конце пути — всё б ничего. Светило  
парит во мраке и рождает страх.

Действительно, как страшно! — ей же ей —  
стоять один в один перед Вселенной,  
с чьей пустотой всех нас исчезновенье  
готово уравнивать. А что за ней? —

за смертью, за пределом, где звезда  
последняя?... И человек пред тьмою  
догадок слеп: нам надлежит душою  
пред Светом Бога закрывать глаза.  
Новый Отелло.

## Мальчишки: 1983, 2012

Мне 8 лет. Машина  
(царь средь машин — «БелАЗ»)  
катит на новой резине  
вечером мимо нас.

Где ты, машина-ящер,  
спёкся в какой грязи?  
Муки, метаний, счастья  
тоннами отгрузи,

Как диплодок огромный  
в старый ползёт карьер —  
перевозить породу  
во славу СССР...

словно груздей последних  
в крохотный кузовок,  
чтоб рассказать о целях  
этой дороги мог

...Не оттого, что вырос,  
меньше моя страна.  
Сколько эпох — на вырост!  
Сколько царей — на вынос!  
Смута. Распад. Война...

здесь, где в леса доносит  
индустриальный дым  
жизни глухая осень.  
Но планетарной осью  
вертится на паласе,  
возит машинку сын.

*Алексей Торхов*

## ПОЧТИЛЬОН

*Рассказ*

В почтовой сумке гнездится одиночество и черпает от невысказанного. На самом ее дне, если возможно представить такое, обнаруживаются тела, утонувшие в пучине молчания. Сияются вспомнить алфавит. Беззвучно кричат, и круглые рты их напоминают дыры бутылочных горлышек. Со дна этих колодцев даже днем видны коньячные звезды.

Потертая кожа, неровные швы. Вдоль и поперек перелатано — всего не объяснить, не упомнить. То ли вырезано — из сердца вон! То ли вшито и боишься кашлянуть...

— Услуги почты! Услуги морской почты!

Потасканная почтовая сумка оттягивает плечо, полна пустых бутылок. Именно — полна пустых. Как голова.

Несвежий голос устало гнусавит. Висит над пляжем. Невыносимо долго растет из сутулого старика, словно щетина.

— Помогаю с отправкой писем! Доступные тарифы!

У зазывалы лицо потомственного алкоголика. А еще — изжеванный язык замполита и глаза, живущие отдельно. Кажется, вытащи их — тут же расплзутся по ладошке, спрыгнут на песок и — поминай, как смотрели! Если же без подробностей, он — охапка мощей и конечностей. Все это как-то передвигается.

— Ну шо, Степаныч? Ни одного клиента за час... Я ж тебе говорил: хорошо не жили — нехрен и начинать!

— Вот, язвип-персона, важный перец... Конверты почтальона учат! Тьфу...

Шаги по раскаленному песку. Расхлябанная походка бесхозных дромадеров.

---

*Торхов Алексей Валентинович* (поэтический псевдоним — «А.В.Тор...») — поэт, прозаик. Родился 28 февраля 1961 года в с. Олинск Нерчинского района Читинской области (Российская Федерация). Окончил юридический факультет Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова (1992). Работал в экспертно-криминалистической службе МВД. Автор нескольких поэтических книг. Редактор литературно-художественного альманаха «Девятый Сфинкс». Член Межрегионального союза писателей Украины, член Правления Конгресса литераторов Украины. Лауреат премии имени Владимира Сосюры (МСПУ, 2009); Международной Отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка (2009); литературной премии «Славянские традиции» (2010). Лауреат Премии Волошинского конкурса-2012 по прозе. Живет в г. Николаев (Украина). Печатался в «ДН», № 5, 2012.

Пляж — место временной свалки людей. Приходится лавировать. Отдыхающие валяются, как неподъемные бутылки. Выпиты солнцем. Голые снаружи, пустые внутри. Собирай — озолотишься! Только кто ж их примет, даже дьяволу нужны не тела — души.

— Человек, по сути, остров, Колян. Чтобы сбиться, ему вода нужна, много воды. Столько, чтобы в глаза не помещалась. Вот они сюда и едут. На песке валяются, будто сами себя потеряли. Погоды ждут. Это как в доме без адреса писем ждать...

— Да нет, Степаныч, в таком доме лучше ждать повестки...

Голые тела с лоскутиками ткани. Женское уже не будоражит. У похмельных ангелов Степаныча импотенция, у бесов Коляна — передоз. Хотя, попадаются такие выпуклости! И смотрят в небо карие глазки грудей, а соски торчат, будто не забитые на пол-удара гвозди. Тогда взгляд цепляется за их шляпки... И рвется бесцветная ткань бытия, и горизонт распадается на пунктир. Вынуждает замедлять и без того неспешное. Пересматривать, смаргивая.

— Что дед, бобик ожил? Или просто глаз мозолишь? — смеется из пустот фемины сучий голос.

— Изыди, тварь...

Ремень сумки сползает с потного плеча. Приходится постоянно поправлять.

— Желающие послать письмо самому себе! За очень смешные деньги...

— Ага! Себе пишешь, себе носишь — прочитав другого просишь.

— Ты чего это, Колян, стихами заговорил, не пугай меня. Нехорошо это — стихами о суетном да с издевкой...

— Отправляем письма в собственной таре! Дешево и удобно... В собственной таре...

Очнувшийся пляжник тупо смотрит на сборщика стеклянной подати. Сочувственно протягивает пустую пивную бутылку. Старик с достоинством берет ее клешневыми пальцами. По-птичьи цокает языком:

— Увы, мил человек... Вынужден разочаровать. Вот смотрите — марка малого достоинства: «Янтарь. Светлое»... Имеет хождение только вдоль побережья. Такую даже не стоит отправлять — не дойдет. Дешевле будет докричаться. Увы...

Осторожно ставит бутылку на песок. Виновато пожимает плечами. По-военному трогается с левой ноги, чуть оттянув носок. Заунывно заводит нестройную:

— Чому я нэ сокил, чому нэ летаю...

— Почтальон с тебя, как с моего худенького мирошник... А сокол — и подавно...

— Убогий ты, Колян... Про сокола отец мой постоянно пел. А сам даже голубем почтовым не стал. Так всю жизнь ножками и топал. Пока не стоптал их по самое сердце. Оно и остановилось. Эта сумка от него осталась. Как чехол, где никогда не лежали крылья... Вот ношу на память. Дело его продолжаю...

— Постоянный ты какой-то, Степаныч, аж противно... Нет чтобы послать всех, — слово за слово, членом по столу!

— Ничего фалличного, Колян... Только общественное.



Шаги не считаны. Круги не меряны. Почтальонский труд не нормирован: написано — доставь. А человеческая суть неизменна. Если докричишься.

— Степаныч, рассказал бы какую-нибудь нихераську...

— Эт можно... Попал Садко на дно морское, а там — камикадзе ржавый самолет ремонтирует!..

— Да ладно тебе, Степаныч, беса гнать! Люминий же не ржавеет.

— Ржавеет, Колян, просто у него ржавчина светлая. Все ржавеет.

Письма и те...

— Кто забыл написать письмо маме?! Кто забыл?..

Степаныч выхватывает взглядом старуху, встрепенувшуюся в тени под пляжным грибом. Пробирается к ней.

— Милок, я жеж не разумею ничего в этих почтах...

— А тут и разуметь нечего, баушка... Вот сюда говорите, будто ухо это...

А что на сердце поближе лежит, то и говорите...

Баушка скороговоркой шепчет в бутылочное горлышко:

— Матушка, кланяюсь Вам низко... не сердчайте... изба Ваша стоит... при-  
сматривать попросила... Николай меня не обижает... потому как умер давеча...  
кума Любка надоедает, судачит... еще заладила, что денег Вам занимала... мо-  
жет, вспомните, то сообщите мне... если надумаете присниться...

Потом спохватывается:

— Ой, милоч, не много наговорила-то, поместится?

— В аккурат... — кивает старик.

Степенно берет бутылку из ее рук, оглаживает стекло. Придирчиво осматривает этикетку. «Приморский портвейн. Емкость — 0,7 л».

Достает из кармашка сумки белую капроновую пробку, сноровисто закупоривает горлышко.

— Матушку Вашу помню, доводилось... Портвейн ей по душе был. Дойдет, не переживайте...

Бережно вкладывает письмо в боковой отсек сумки.

— С почином, Степаныч...

— И тебе не хромать, полезный...

— Какая-то голосовая почта получается... Не проще записки внутрь вкладывать?

— Не проще, Колян... Когда излагаешь и читаешь не вслух, а «про себя», тогда о Боге не думаешь. Все равно что предаешь его по мелочи. Молчишь, будто таишься. Внутри себя бросаешь. А там такая яма — нырять бесполезно... Пусть без умысла, а получается — меняешь божественный звук на пустоту. Теперь уже слово не есть Бог. Теперь оно есть человек... Соображаешь? Во-от... Потому — никаких писулеч! Не принимаю немых посланий. Пускай твое письмо — один пустяшный стон, но ты его из себя достань! Выскажи...

— Эк мудрено, Степаныч... Остается поверить на слово... которое человек. А человек ты стоящий, уважаю...

— Ну, хоть ты...

Облезлые, когда-то синие шлепанцы старика затевают новые следы. Шлепают вдаль — по невидимой почтовой тропе, по каленому песку. Одинокая птица трепещет в пустоте выгоревшего неба. Полощет крылья в горячем воздухе.

— Вот взять птицу — она тоже письмо. Только как ее прочитать? К тому же не нам она писана, Колян, не нам.

— Это ж как ее вот взять-то, Степаныч? Скажешь тоже?..

Так и коротают за беседой жизнь, день — до вечера. Вынуждены уживаться — сторчавшийся бес Колян да спившийся ангел Степаныч. Шлепанцы семяют по песку. Обходят пляж, оставляя неспешные мазки следов на песчаной холстине. Солнце висит музейной лампой, освещает ежедневный шедевр без рамы. Сегодняшний эскиз ничем не отличается от вчерашнего:

«Левая подошва отчаянно косолапит, постоянно забирая внутрь. Правая, напротив, не отклоняется ни на йоту. Левая — налегает на пятку. Правая — даже не очерчивает своих границ. Левая — вдавленные ямки. Правая — легкое пятно-прикосновение. Левая — ... Правая — ... Левая — правая — левая — правая...»

Пункт приема стеклотары на выходе из пляжа выпадает из курортного ансамбля. Маскируется в кустах. Впрочем, на популярность заведения это не влияет.

Приемщик Лаптын лениво всматривается в местную жизнь. Отставной грузчик с нависающей улыбкой памятника, даже единственным глазом видит за нескольких.

— А вот и Колян Степаныч... Как часы-ходики. Уже с уловом тиктакает. Рыхлое лицо его собеседника оживает:

— Ты знаешь, Лаптын, не могу понять — он и впрям свихнулся с этой отцовской сумкой или косит? Я у него как-то пытался выцыганить одну запечатанную бутылку. Если бы он ими не дорожил, точно на голове бы у меня разбил!

— Чужая душа — Потемкин. Такие фанерные деревни явит — степь не заметишь! — смачно сплевывает слова Лаптын. — Только с чего ему косить-то — все срока выслужил, все долги отдал. Теперь жизнь сама по нему служит, фитилек поддерживает...

Согбенная фигура, пришаркивая, входит в тень павильона. Устало снимает с плеча увесистую сумку.

— Здоров были, Степаныч!

— Здоровей видали... — бурчит старик. — Почем нынче сдать?

— По деньгам, Степаныч... По деньгам. Курс прежний: нам — шиш, вам — по локоть. Выкладывай.

Николай Степанович, кряхтя садится на корточки. Неспешно, бережно выставляет бутылки на пол. Сортирует. Закупоренные отставляет в сторону, пустые, бутылку за бутылкой, ставит в пластиковый ящик.

— Дед, а может, поменяемся на одну почтовую, с начинкой?..

Старик поднимает голову. У самого лица покачивается денежная купюра, округло смотрит глазами молодого Шевченко. Чуть выше — бельма рыхло-лицего.

— Грабки заberi, Рыхлый, а то отвяжутся! А бумажкой слюни подотри... — В голосе старика обнаруживается сталь, заточенная резать по-живому. На дне его водянистых глаз начинает вскипать взгляд.

Пальцы Рыхлого непроизвольно комкают купюру, бумажный комочек прячется внутри кулака.

Бутылки, как мыши, переждавшие опасность, опять стеклянно шуршат,

цокают. Закупоренные письма — числом пять — вольготно размещаются на дне опустевшей сумки.

— Бывай, Лаптын... Супруге поклон.

— Давай, служивый...

Лаптын долгим взглядом провожает старика. С трудом выныривает из одолевших мыслей:

— Вспомнил... Когда армейский почтальон приходил, каждое его движение ловили. Как раскладывал. Как раздавал. Никому не хотелось услышать «Тебе еще пишут!». До последнего надеялись... Вот и нам нынче... «Еще пишут...» Только пишут ли... Некому.

— Да какой он почтальон? Почти... Почти-льон...

— Сам ты «почти»! Ты его глаза видел?.. На десять твоих поменять можно.

Из динамика на спасательной станции тычется в небо раненый женский голос:

Всякий раз падает на песок:  
Мы срослись плавниками...  
Камикадзе выползают на отмель,  
Чтобы влет задохнуться,  
Чтоб недолго по краю...  
Умираю!!!

Вскоре голос и вправду умирает. Но сразу оживает в мужской ипостаси, уговаривает не заплывать за буйки.

— Степаныч, так даже на новые шлепанцы не заработаешь! Эти-то уже и цвет свой забыли...

— Зато я помню. Свидетельствую — синий... Будто взгляд Зойкин... Как я им тогда захлебывался!.. А на новые мне уже тратиться без надобности. Жизнь сама выдаст. Чтобы шлепал от нее подальше... Последний хрип моды — модель «Дембельские белые»...

— Ой, в точку! На бесцветьи и белый — радуга...

— Не белохульствуй, рожа...

Тела пляжников все больше напоминают песчаные барельефы. Словно совсем недавно здесь забавлялись недобрые дети, лепили человеческие «пасочки».

Сухой усиливающийся ветер слой за слоем сдувает песочную кожу. Человекообразные островки, обманутые большой водой, трескаются от жары, осыпаются.

— Новый вид услуг: «Молитва — письмом»! Новый вид... Стопроцентная доставка...

Голос наконец-то отслоился от старика. Возникает хаотически, то там, то сям. Гаснет на полуслове. Ближе к вечеру он чудится везде. Но отчетливее всего в чахлах кустиках, неподалеку от причала. Здесь, в бубнящей невнятице проступают даже куски внутренних диалогов:

— А с жизнью, Колян, общаться надо. Кричать надо в ее сторону. Каждый

онемевший к ней, мнит себя Буддой. А по сути он — кем-то Забудда. Забуддыга...

...

— Это все равно, что чаек вместо почтовых голубей пользоваться, Колян. Такая и доставка будет. До первого рыбьего косяка...

...

Правда, Колян все чаще отмалчивается.

Иногда, если повезет, почудится очередная нихераська «от Степаныча»:

— Сидят на дне эти камикадзе, ставшие крабами, и читают-читают перехваченные письма и донесения врага. Пытаются вычитать между строк: что да как на родном острове. Кровавит ли восходящее солнце, заполняет ли мокрожилия... А вместо этого — снова и снова! — чужая любовь. Ни к тем. И не от этих. Да океаном — всеобщее одиночество... Так и сидят, как в трансе. А потом, очнувшись, посылают на разведку самого молодого...

Волны слизывают следы босых ног, идущие им навстречу. Пытаются дотянуться до исходной точки — опустевших шлепанцев.

Выброшенные пучки водорослей. Развороченный студень медуз. Мусорные отголоски былых атлантид. Сразу и не бросается в глаза, как пробираясь среди отторгнутого морем хлама — боком, обреченно, вдоль неровной линии прибоя — ползет краб-камикадзе. Неотвратимо заходит на главный курс, слева от объектов.

Еще пара минут — и упрется в пустую почтовую сумку. А может, передумав, примет чуть ближе к морю. Чтобы врезаться в облезлые шлепанцы, в которых с трудом угадывается синий цвет.

Впрочем, нет синего, как не было.

Ни в низком небе. Ни в близкой воде.

*Василь Махно*

## Lost in America: история Юджина

*С украинского. Перевод Завена Баблюна*

G.P.

Когда на Нью-Йорк опускается тьма, она приходит от океана: одной рукой стаскивает белую простыню дня, а другой — зажигает электрический свет в окнах небоскребов. Тогда Юджин возвращается домой. Он не видит яркого купола на Эмпайр-стейт-билдинг, потому что никогда не задирает голову так высоко.

Юджин должен быть осторожным: несколько раз он падал, споткнувшись, однажды его даже сбил велосипедист, а еще как-то раз на него наехал бешеный подросток на доске, разбив свою дурную голову и Юджиновы плечо и ключицу. Палец левой руки сросся горбиком после еще одного неудачного падения возле ирландского паба. Юджин — просто жертва нью-йоркских улиц с их безумным движением, сумасшедшими велосипедистами, крейзанутыми на досках, многолюдием на пешеходных дорожках. Все они — враги Юджина. И хотя эти опасности постоянно подстерегают Юджина, он вынужден выходить из дома, обходить свои улицы и авеню, посещать почту и книжные магазины, столовую в костеле святого Станислава, и должен возвращаться домой по темноте: так есть и так должно быть.

Он не принял от меня титул короля Ист-Виллиджа, мой нью-йоркских приятель Юджин Перуджини. На самом деле он не король и совсем не Юджин, а старый человек, приклеенный аппликацией, случаем, совпадением обстоятельств к пейзажу моего Нью-Йорка. Мне особенно запомнились его слова об одиночестве: «Знаете, я мог бы жить в Праге или в Германии, а сестра зовет в Украину, но я нигде не смогу побороть одиночество, только в Нью-Йорке его почти не чувствуешь».

Его ежедневный маршрут — от 3-й улицы до Томпкинс-сквер-парка, от 4-й авеню до Бродвея, на котором он заходит в книжный магазин «Стренд», потом — на почту, потом — в какое-нибудь кафе. Примерно в полночь возвращается, свернув с шумной 2-й авеню на 3-ю улицу, в свою квартиру без кондиционера на последнем, пятом этаже столетнего дома, хозяева которого менялись,

как и жильцы. Юджин — единственный старожил. Новый хозяин с удовольствием бы от него избавился: он платит меньше всех, потому что находится на рентконтроле. И именно поэтому за последние несколько лет Юджин был вынужден нанять нескольких адвокатов, которые в суде отстаивали его право на Ист-Виллидж. Несколько хозяев его дома жаловались на него в пожарное управление Нью-Йорка: Юджин, мол, захламил помещение так, что возникла опасность пожара. Тогда и началась судебная тяжба. Она привела к тому, что жилье пришлось очистить от книг и пластинок, которые Юджин коллекционировал пятьдесят лет своей жизни в Нью-Йорке. Погром длился один или два дня — был арендован металлический контейнер, который Юджин вынужденно наполнял книгами и пластинками. Предприимчивые афроамериканцы подъезжали на мини-вэнах и, порывшись в Юджиновых сокровищах, забирали редкие издания и диски, чтобы потом перепродавать их на блошиных рынках Нью-Йорка и окрестностей. Если бы не солидный возраст и защита закона, пришлось бы Юджину сменить Ист-Виллидж неизвестно на что... А на самом деле — углубить свое одиночество, которое с ним по-братски разделяет Нью-Йорк, за что он городу и благодарен.

«У наших разговоров с Юджином никогда не будет продолжения», — подумал я после нашего знакомства. И не только потому, что его интересовали книги и музыка. О нью-йоркских букинистических магазинах пятидесятих-шестидесятых годов, лепившихся друг возле друга на 4-й авеню и Бродвее, Юджин повествовал мне с особенным трепетом и жалел, что теперь «Стренд» остался единственным местом, где рядом с современными книгами стоят десятки стеллажей с редкими изданиями. «Стренд» — это, действительно, популярное место среди нью-йоркских книжников. Отреставрированный двухэтажный магазин всегда гудит, словно улей, потому что книгопчелы слетаются на книгоцветы.

У Юджина со «Стрендом» свои счеты, потому что вследствие войны с лендлордом его квартира опустела и осиротела, а он утратил на некоторое время интерес к книгам. Напоминал наркомана или алкаша, которому удалось «завязать»: книг уже не покупал, пластинок не собирал, ходил по Ист-Виллиджу, прибитый несчастьем, которое свалилось на него так внезапно. Враз все лендлорды для него стали самыми страшными преступниками, врагами культуры, ограниченными своим жалким лендлордовским существованием.

Вскоре пожарная охрана Нью-Йорка и сам лендлорд, грек по происхождению, признали, что к жилищу Юджина не имеют никаких претензий, то есть пожарных норм он придерживается. Но проходило время, синдром библиофила-коллекционера у Юджина восстановился, и он начал сносить домой книжки. Сначала только найденные на улицах, потом уже не удовлетворялся этим и начал захаживать в книжные, скупать энциклопедии, словари, исторические монографии, щедро иллюстрированные справочники. И снова начал читать. Для этого приобрел еще одни очки и даже нелегально, без разрешения лендлорда, вставил новый замок в дверь — на всякий случай, чтобы никто не попытался вдруг поинтересоваться состоянием его квартиры. Каждый день, обходя Ист-Виллидж от авеню Си до Бродвея, он страдал, наблюдая возле домов связанные шнурками или скотчем стопки книг, ожидающих мусорщиков. Юджин хотел все эти книги спасти, забирал их и нес домой.

И снова четырем адвокатам пришлось защищать право Юджина проживать там, где он поселился в пятидесятых. Судебная тяжба, которую уже в кото-

рый раз начал владелец дома, продлилась несколько месяцев. Лендлорд приводил доказательства того, что Юджин снова нарушил обещание содержать помещение в порядке, адвокаты отбивались правом жильца по собственному усмотрению устраивать свой быт, ссылались на его преклонный возраст, плохое здоровье, убийственные переживания, связанные с этими судебными процессами, — и все-таки отбили Юджина. За ним стоял суровый американский закон, предоставлявший определенные привилегии людям пожилого возраста. Снова лендлорд, ничего не добившись, накричит на супера дома и прикажет мексиканцу следить за Юджином. Даже пойдет на расходы и поставит новые закодированные двери, которые можно открыть только карточкой, и еще установит видеокамеру, чтобы подстеречь Юджина с книжками или другим хламом и тогда, с видеозаписью, попробовать выиграть суд и навсегда выставить его из дома, то есть с Ист-Виллиджа да и вообще с Манхэттена.

Борясь с одиночеством, Юджин с утра сидит на скамейке в Томпкинс-сквер-парке и наблюдает за собачниками, которые приводят своих четвероногих братьев на выгул в специальный вольер. Ближе к десяти с разных концов Ист-Виллиджа сходятся местный бомонд с тележками: бездомные, психи, пьяницы. Выползая из своих логовищ, они оккупируют все свободные скамейки и заботятся каждый о своем. Им нужно дождаться второго часа, когда примчится «Армия спасения»: сначала выставят одежду, потом приедет походная кухня с обедом. Очередь, выстроившись, будет мешать пешеходам. Юджин тогда покинет Томпкинс-сквер и поковыляет в библиотеку — или тут же, на Томпкинсе, или же на 2-й авеню, в бывшем немецком Народном доме, от которого осталась только надпись по-немецки на добротном, но архитектурно нетребовательном фасаде из красного кирпича. Все немцы-туристы, которых приводят сюда, щелкают фотоаппаратами, но Юджина это не интересует. Он направляется в прохладное (летом) или теплое (зимой) помещение библиотеки и садится за периодiku, начиная с «The New York Times». Иногда ему удается подремать. Хорошо, что вход в библиотеки бесплатный, не нужно записываться, если не берешь книги домой, и никто тебя не может вытурить за то, что пересидиваешь или убиваешь время. Одиночество, преследующее Юджина, спрятано в книгах, но книг он здесь не читает, и библиотечная тишина спасает его только от капризов погоды.

В небольших городах всегда есть кто-то, кто привлекает к себе внимание поведением, харизмой или таинственностью: местные к нему привыкли, а вот приезжие его замечают сразу. Правда, иногда никто из местных не может ничего путного рассказать об этом чуде. В больших городах таких харизматиков, конечно, больше, но они и теряются между зданий, машин и туристов. Их замечают, но только для того, чтобы сразу забыть.

Юджин — это сплошная тайна. Его прошлое всегда переплетено с настоящим: в прошлом, однако, он себя чувствует совсем неплохо, потому что там уже ничего не исправишь, зато настоящее ему докучает, потому что это жизнь, которую он все еще проживает. Вот и вся разница.

Томпкинс-сквер — тоже тайна, хотя и выставленная напоказ. Правда, какая же это тайна, когда она — для всех? Это — типичный нью-йоркский парк между обломков зданий, которые свалили, как мусор, и только имя его заставляет кое-



кого покопаться на чердаке памяти. И память, прозрев, видит не только молодых жителей этого района, которые лежат на траве с книжкой или компьютером, не только музыкантов, борцов за права животных, активистов социальных программ или собачников, которые тусуются в вольерах. Она увидит войну, она увидит остатки послевоенного поколения, уничтоженного наркотиками и алкоголем, потрепанных детей цветов, криминал и социальное дно, что расцвело сорняками на этом заасфальтированном пространстве. Томпкинс-сквер стал легендой и местом паломничества благодаря героической обороне своего права на свободу, которую, однако, не удалось удержать. Я никогда не слышал от Юджина о событиях 1988 года, когда нью-йоркская полиция уничтожила целую колонию хиппи, наркоманов, художников-музыкантов и просто блудных сынов американских больших городов или глубокой провинции.

Иногда мне хотелось верить, что город не способен забывать своих жителей, даже тех, что уже превратились в прах под его мостовой, даже тех, чьим именем смело можно назвать какой-нибудь из его районов или улицу, но стены домов умеют молчать. Одно из таких имен — Юрий Капралов<sup>1</sup>. Я спрашивал о нем у многих, кому довелось жить в то же время в том же месте, но никто его не помнил, только отмахивались: мол, такие типы кишмя кишели на Ист-Виллидже.

Даже Юджин, ист-виллиджевский энциклопедист и пересказчик историй, не смог его вспомнить. А Капралов мог ходить в те же кофейни, в которые тогда наведывался Юджин; мог пользоваться той же почтой или прачечной, покупать пойло в ближайшей лавке, мимо которой проходил и Юджин. Не встретились, разминулись, а если и виделись, то не знали друг друга, просто встречались взглядами и отворачивались, просто не понравились друг другу: капрал Ист-Виллиджа и король Ист-Виллиджа, который открестился от этого титула.

Юрий Капралов, который умер в 2005 году, был долгое время жителем Ист-Виллиджа, а именно Алфавет-сити, Постбитниковского района. Мне когда-то казалось, что я его видел году в 2002-м или 2003-м в «Русском самоваре» на 52-й улице: в ресторан на втором этаже вошел человек с огромной тростью, в каракулевой шапке и длинном пальто, похожем на кавказскую бурку, а с ним — какая-то женщина с видеокамерой, которая постоянно его снимала. Запомнилась его патриаршее шествие и та женщина, которая со всех сторон, то спереди, то сбоку, как фотограф на свадьбе, запечатлевала экзотического старика. Но как потом оказалось, это был совсем не Капралов, а Константин Кузьминский, другой экзот.

Юджин во многом отличался от Капралова, но было у них и кое-что общее. Юджин — скрипач, математик, коллекционер классической музыки и библиофил — американскую жизнь начинал со сбора кукурузы на ферме. Юрий Капралов — на ферме в Вермонте, а затем в Ньюарке, жил в зоопарке, в клетке белого слона; он также уезжал в Калифорнию, а потом осел на 7-й и 11-й улицах. Пока Юджин играл на скрипке, решал задания по высшей математике, работал слесарем и путешествовал по Америке, Капралов таксовал, учился в художественной

---

<sup>1</sup> Юрий Капралов — художник и писатель, «старейшина» богемы Ист-Виллиджа, почитавшийся в своей среде как «дедушка контркультуры». Родился в Ставрополе в 1933 году. В двенадцатилетнем возрасте после бомбежек немцами его деревни, мальчика переместили в лагерь, затем он был увезен на немецкую ферму, а после окончания войны отправлен в США как «перемещенное лицо». — *Прим. ред.*

школе, воевал в Корее и Лаосе, чтобы затем рисовать, писать, колоться и бухать на Ист-Виллидже. Капралов пропивал свое дарование, ему было, что пропивать; Юджин мог состоять при нем разве что кельнером.

В книге «Было когда-то село» Капралов рассказывает историю Ист-Виллиджа, который, вытеснив хиппи, заселили в основном пуэрториканцы, украинцы и поляки. На улицах было полно опасностей, каждый день кого-нибудь могли подрезать, избить, обокрасть. Именно в это время Капралов и Юджин жили где-то рядом. Ну и что с того?

Америка для Капралова была спасением и в то же время способом выживания. Поколение Капралова, Мекаса<sup>1</sup> и Юджина, которое прибилося после войны к Нью-Йорку в возрасте от двадцати до тридцати лет, без родителей и всякой поддержки, оказалось перед выбором свободы, с которой нужно было что-то делать. Капралов выбрал искусство и слово, сносил выброшенные из домов предметы и придавал им художественную форму, выставлял в галереях и просто на улице; Мекас выбрал кинокамеру, которой баловался, снимая простые будничные истории о себе и своих друзьях, записывая в форме дневника первые нью-йоркские впечатления; Юджин выбрал все — и ничего, поэтому его истории спрятаны глубоко в шахте его памяти, куда он иногда позволяет заглянуть. Все они в Нью-Йорке перестали трепетно относиться к жизни: они с ней играли — и она с ними играла. Они бунтовали, для чего имели основания. К счастью, таких недовольных оказалось больше, и не только из числа новых эмигрантов. Выпускники Гарварда или Принстона в какой-то момент тоже полюбили цветы и свободную любовь и принялись искать новых евангелистов, которые объяснили бы им, почему стоит жить так, а не иначе, с чем их профессора не справились. Рок-н-ролл и Вудсток, вьетнамская война и вранье политиков перевернули им мозги: им хотелось оторваться от социума, им ненавистного, они плевали на мораль и выходили на улицы в грязных армейских рубашках и куртках, оставляя за собой обеспеченную жизнь и создавая группы наркоманов и преступников. Они становились грязью, их философия — новой религией, романы Генри Миллера — Святым Писанием, скромные девушки — их любовницами, мир переворачивался и катился в пропасть.

Капралов принял это — а что ему оставалось? Он был человеком с окраины, писал прозу и стихи, делал скульптуры и картины, жил на ничтожные деньги, но был свободен от условностей. Его детство схватила за горло война на Северном Кавказе, а потом была голодная преступная юность в Германии и первые годы в Америке. Он был человеком без родины и именно здесь, в Нью-Йорке, наконец нашел свою свободу, начихав на ценности и правила.

Окровавленная голова Капралова на первой странице «Village Voice» была похожа на усекновенную главу Иоанна Предтечи и знаменовала начало войны Нью-Йорка с детьми цветов, которые давно уже превратились в цветы зла. Нью-Йорк взял верх над Томпкинс-сквер-парком, вычистив из него наркоманов, алкоголиков и маргинальных творцов: в августе 1988 года полицейские, игнорируя протест Алена Гинзберга, прорвали уличные баррикады и сломали обес-

---

<sup>1</sup> *Йонас Мекас* — один из основоположников американского экспериментального кино, наиболее яркий представитель литовской послевоенной эмиграции. Эмигрировал в США в 1949 году, известен как создатель так называемых нарративных фильмов и фильмов-дневников. — *Прим. ред.*

силевшую руку со вспухшими от шприцов жилами. Томпкинс-сквер-парк не забыл этой битвы.

Интересно, где именно был и чем занимался Юджин, когда война, пусть и уличная, снова подошла к нему так близко? Он наверняка был где-то неподалеку, а известие о бунте и жертвах, наверное, расходилось по Ист-Виллиджу, ведь все телеканалы и радиостанции посвящали этому событию репортажи. Но Юджин был званым, а не избранным, и, видимо, стоял в форме дормена на 95-й улице, когда Капралову разбивали голову, а бомжей травили газом, как крыс, и ударами дубинок загоняли в полицейские грузовики.

Если Юджин не заходит ко мне несколько дней, это означает, что он или заболел, или уехал к другу в Нью-Джерси, или бродит по Ист-Виллиджу в поисках хорошей цены на копирование фотографий. Юджин все время что-то копирует — и все время вспоминает о войне, Германии, Судетах, Праге и Ашаффенбурге.

Каждый раз, когда Юджин заходит ко мне, он словно приходит с войны, которая только что закончилась. Он откладывает целлофановый пакет, садится в кресло, и война подходит к нему вплотную и долго не отпускает, крепко держа его старческую руку.

1945 год Юджин встретил в Праге, на Вацлавской площади.

Его уже пристроили работать в социальную помощь — переводить для пленных и остарбайтеров. В Прагу он прибыл из Судет, с заводов Цейса, где шлифовал оптические приборы для немецких подводных лодок. Приближение фронта остановило работу на заводе, и Юджин подался к пражским родственникам. Но пока Юджин выбирался из Праги, красные войска ее уже захватили, и на железной дороге заправляли Советы и чешская полиция. На одной из станций пражский поезд остановили для проверки документов. Советский майор, который проводил этот контроль, заметил Юджина, вывел его из вагона и передал рядовому-узбеку, а сам пошел в дальний конец поезда. К счастью, к ним подошел чешский железнодорожник, с которым Юджин успел перебраться словом-другим, и тот запихнул Юджина обратно в поезд, пояснив чужаку: то наш, то чех. Прага стала для Юджина западней, выход из которой был один — на родину. О родине Юджин беспокоился меньше всего. Днем он бродил по Праге, а на ночь переплывал паромом на другой берег Влтавы, вдыхая майский запах пражских лип, подсвеченных уличными фонарями.

Юджин попал на шахту «Генрих Фридрих Цехе» осенью 1941 года, вместе с пятидесятью украинцами и поляками, которых немцы привезли добывать уголь для рейха. Там, в рурском угольном забое за сорок километров от Голландии, Юджин, вооруженный киркой и шахтерским фонарем, на какое-то время стал кротом Рейха.

Сначала их поселили в бараках, где уже жили итальянцы и югославы. Шленский немец, который, разумеется, хорошо говорил по-польски, зарегистрировал их как поляков, поскольку прибыли они с территории Польши. Через несколько дней начальство издало указ всем пришить латинскую букву «Р».

Работа была организована в три смены, кормили баландой, иногда давали мармелад, чай из коры, даже что-то платили, так что какие-то продукты можно

было прикупить в лавке. В январе привезли с тысячу пленных Советов, голодных и ободранных. Их поселили в отдельном бараке, а через какой-то месяц тиф выкосил чуть не всех. Перекинулся и на бараки итальянцев. Паника катилась по лагерю. Зима была очень холодная, выпали высокие снега, и смерть, пройдя по одному барaku, переходила в другой, будто оберлагерфюрер, сзывала пленных, строила их и выводила навсегда из барака, который потом дезинфицировали или сжигали.

Мертвых той зимой сбрасывали в одну большую яму. Но зиму Юджину как-то удалось пережить.

В знак отказа носить нашитый шеврон с «Р» украинцы устроили стихийную забастовку. Сначала администрация распорядилась не выдавать обедов, а потом гестапо арестовало Юджина и еще нескольких человек, чтобы выяснить причины недовольства. За любую провинность можно было попасть в штрафлагерь, где условия были гораздо тяжелее, чем в шахте: спали там на металлических кроватях без матрасов, а за нарушения били и издевались. В гестапо Юджин объяснил, что они — никакие не поляки, а дрезденский «Арбайтс фронт», которому подчинялся Украинский комитет, выдал документы, которые подтвердили национальность украинцев. Все тщательно проверив, гестапо разрешило украинцам носить метрики, а не шевроны.

Юджин победил с нашивкой, но получил заклятого врага — шленского немца, который начал следить за ним, чтобы при первом же случае отправить в штрафлагерь.

Переписываясь со своим приятелем, который тоже работал на Рейх, но на заводах Цейса в Судетах, Юджин после размышлений принял непростое решение — бежать. За побег наказывали. Да и убежать было сложно, хотя бараки не охраняли: шахтерам запрещали уходить дальше, чем на двадцать пять километров. Нужно было справить такую-сякую одежду, скопить денег на билет, оставить барак в субботу-воскресенье, когда не было работы, и сделать это так, чтобы сразу никто не заметил. Юджин понимал, что, хотя их и не охраняют, внимательных глаз хватает.

Побег он готовил несколько месяцев.

И вот наступила суббота, когда Юджин начал осуществлять свой план.

Он рассматривал окрестности из окон трамвая, который направлялся в городок Дуйсбург над Рейном. Отрадный после изнурительной зимы и смертей от тифа майский пейзаж 1942 года с разлитой зеленой травы и клейкой листвой на деревьях словно стремился развеять Юджиновы тревоги. Дуйсбург над Рейном находился за 60 километров от шахт, а значит, полиция или гестапо уже имели формальные основания арестовать Юджина и отправить в штрафлагерь.

Отдаляясь от «Генрих Фридрих Цехе», трамвай плыл, покачиваясь, по рельсам, минуя немецкие городки и села, зазеленевшие поля и шахты. Тревога Юджина росла, неизвестность загнала его, точно мышь в ловушку.

Юджин вез с собой чемоданчик и свидетельство о рождении.

До вокзала он добрался перед обедом. Для конспирации сошел на несколько остановок раньше, проверил, никто ли не следит. Возле касс топуны

гестапо наблюдали за немногочисленными пассажирами. Они могли проверить личность или даже посмотреть билет: тотальная слежка военного времени.

Юджин увидел несколько топтунов, как только вошел в помещение вокзала.

К кассам подходить было опасно. Юджин быстро убрался прочь и какое-то время петлял по окрестным улицам.

Уже стоя возле кассы, Юджин больше всего переживал насчет документов и топтунов. Но те, наверное, пошли обедать, а кассирша, выписывая билет, даже не спросила про документы, так что Юджин вытащил из кармана девяносто марок и, поблагодарив, исчез с билетом на дрезденское направление.

Поезда нужно было менять: в Магдебурге пересаживаться на Лейпциг, в Лейпциге — на Дрезден. Все шло гладко до Дрездена. В поезде новобранцы, направлявшиеся на Восточный фронт, угощали Юджина бутербродами и подбадривали себя и его: мол, победа за нами, все зер гут. В Дрездене уголовная полиция устроила проверку документов, и Юджина арестовали — вместе с несколькими прочими невезучими путешественниками.

Допрос у начальника уголовной полиции проходил деловито и быстро. Юджин отвечал, не запинаясь, но споткнулся на вопросе, кто ему продал билет без документов. Однако тут же вспомнил о своей метрике, спрятанной в чемодане. Спасло ситуацию также и воскресенье: мол, едет он, Юджин, к своему другу в Яблонце-над-Нисой, который как раз приболел и попросил Юджина проведать его. Перечитав несколько раз метрику, которая раскрывала все тайны Юджинового появления на свет в городе, что относился к Генеральной губернии, начальник сказал: «Гаст ду рехт» — и отпустил Юджина на все четыре конца рейха.

И Юджин подался на Судеты.

Так прошли 1942-й, 1943-й, 1944 года. Юджин спокойно себе шлифовал стекло для подводных лодок, иногда встречал gross-адмирала Деница, который регулярно навещался на цейсовские заводы — просто бродил по цехам то с японскими союзниками, то с немецкими конструкторами и инженерами.

В 1944 году завод Цейса решил, что справится какое-то время без Юджина, и gross-адмирал Дениц тоже не имел ничего против путешествия Юджина на Восток. Юджин взял двухнедельный отпуск и с чемоданчиком приехал в Богородчаны, а оттуда — пешедралом до своего села.

Где-то в середине пути Юджин с холма заметил в долине черную толпу — группа людей куда-то направлялась. Когда Юджину удалось их догнать, он увидел, что это евреи из окрестных сел, в черных камзолах, из-под которых болтались белые кисти талесов; их под конвоем вели в Солотвин. Юджин понял, что идут именно туда, потому что группу развернула команда старшего конвоя: словно овцы, они покорно повернули направо. Юджин не запомнил их лиц, но зато помнил большие расширенные глаза и умоляющие взгляды. Те черные мужчины сбились в одно целое, в один организм страха и судорожной неуверенности.

В карабинах их конвоиров притаилась их смерть, она скромно лежала пулями в стволах.

Юджин зарегистрировался в немецкой комендатуре.

По сравнению с судетскими городками, чистыми и опрятными, как бижутерия, села Генеральной губернии выглядели мокрыми курицами на насесте.

Через несколько дней Юджин узнал о казни своих ровесников под церковью в Богородчанах. Местный парень, спрятавшись за кирпичный забор, видел, как немцы поставили под стену тех несчастных и расстреляли.

Немецкий комендант, бывший учитель из Баварии, нашел Юджина на третий день, посадил перед собой и посоветовал возвращаться к Цейсу, потому что дальнейшее самовольное пребывание на территории Генеральной губернии было по меркам военного времени преступлением.

Война, как понимал Юджин, шла не только где-то далеко, на Восточном фронте, об успехах немецкой армии на котором еженедельно оповещала немецкая кинохроника и писали газеты: она перебралась и сюда, в его село, через расстрелы, через вывоз людей в Германию, через сопротивление украинского подполья, через несчастных евреев, которым никто не мог помочь, через коменданта, который знал, где Юджину следует находиться. Юджинова земля, дом со всем добром, речкой, лугами, лесами, отец с мачехой, брат с сестрами, лошади и отцовское ружье, песочники и адвокаты, Австрия и Польша, рынок в Солотвине, директор школы Морский, учительница Эмилия, самодельная скрипка, красноперые птицы, серебряные караси и пескари, сельские цимбалисты и скрипачи — все они не отпускали Юджина, держались за него, держали его. Гросс-адмирал Дениц, правда, тоже высматривал Юджина из Берлина, потому что для немецких подводных лодок нужно было новое оборудование, — и комендант все же склонил Юджина вернуться.

Война подходила к концу. В феврале 1945 года земля тряслась под Яблонцем и его жителями, дрожали Цейсовы заводы, вибрировала бижутерия, шатались дома, словно пьяные судетские чехи, что возвращаются из кабака. Американская и британская авиация бомбардировали Дрезден, и волны бомбардировок доходили до самых Судет.

Почти перед приходом Советов гестапо арестовало молодого чеха — как оказалось, гея. Его вывели из цеха, его рабочее место убрали, и никто о нем больше не вспоминал, потому что война завершилась, и приближалась весна.

Заканчивался третий месяц Юджина в Праге. На Вацлавак, как всегда, слетались голуби и засирали саму площадь, водостоки зданий и новые коммунистические лозунги на чешском и русском языках.

Становилось небезопасно, потому что Советы разыскивали власовцев, остарбайтеров и бывших пленных, собирали их в лагеря и отправляли на родину. По городу пронесся слух, что в бельгийском посольстве формируют составы и, конечно, за деньги отправляют всех в Баварию, в американскую зону. С бельгийцами Юджину не повезло, но он попал на другой поезд, которые сформировали такие же деляги. Поезд Юджина шел только до города Пльзень, в окрестностях которого был небольшой распределительный американский лагерь, а в самом городе Советы организовали два больших сортировочных лагеря. К счастью, поезд доехал только до пригорода. А оттуда, уже под американским прикрытием, другим поездом сотни перепуганных и отчаявшихся людей добрались в Баварию.

Юджин въехал в Баварию, без сожаления оставив позади бижутерию и



цейсовские заводы Яблонца, а также захваченную Советами Прагу в цветении лип. Он попал в Ашаффенбург. Лагерь переселенцев на какое-то время стал для Юджина домом: здесь он купил скрипку, нашел немецкого учителя, записался в гимназию и запасся терпением, ожидая любого поворота обстоятельств и судьбы.

Спасение пришло из Америки. Через организацию, которая помогала перемещенцам, Юджин разыскал далекого родственника. Статуя Свободы уже махала Юджину руками, отирая слезы радости оттого, что еще один блудный сын бросится в ее распростертые объятия и стряхнет пыль со своих ботинок на нью-йоркскую брусчатку.

В 1949 году на военном корабле «General W.G. Naan» Юджин счастливо доплыл до Нью-Йорка. На пристани его встретил найденный родственник, который жил в Америке с 1907 года, и на роскошном лимузине завез Юджина на свою ферму в окрестности Ньюарка.

А уже в 1953 году зеленый двухдверный «пontiак» выпуска 1940 года мчал по дорогам Аризоны. За Юджином было четыре года американской жизни, два города (Ньюарк и Нью-Йорк), несколько мест работы, легочная болезнь, безработица, несколько сотен долларов в кармане, несколько тысяч миль от Восточного побережья, а впереди — великая страна Америка. Yahoo-o-o!

«Понтиак» часто ломался. Юджину эту таратайку отдал хозяин заправки в Канзасе, — просто сказал: бери.

До Канзаса Юджин преспокойно доехал на автобусе из Ньюарка — собственно, на нескольких автобусах, пересаживаясь в больших городах. Легочная болезнь прогрессировала, ему назначили лечение в Аризоне, так что он уволился из итальянской мастерской, где снова что-то точил — на этот раз не стекло, а металлические детали, — попросил сохранить книги, ноты и привезенные из Германии скрипки, упаковался, купил билет и подался на лечение.

И вот он сидит в раскаленном авто посреди бесконечной трассы и каменистого пейзажа, проклиная того заправщика, его сраный «пontiак», эту пустынную Аризону — и только из радиоприемника льется прохладный баритон певца из нью-йоркского Карнеги-холла... Когда уже опускались сумерки, Юджин разглядел темного призрака своего спасения: к нему приближался всадник, кто-то неторопливо возвращался домой. Прошло еще с полчаса, тьма сползла из-за невысоких гор, покуда всадник поравнялся с Юджиновым «пontiаком». Юджин рассказал всаднику, кто он и куда направляется, а тот только спокойно пообещал, что вышлет за ним кого-нибудь из своего городка. На дорогах Аризоны такое случалось часто, так что Юджину оставалось упиваться свободой и ночными звуками аризонской природы, ожидая помощи, которая пришла только в полночь: приехали на тракторе какие-то люди, зацепили «пontiак» и поволокли в городок. Где-то под утро приехали.

Так и началась аризонская жизнь Юджина.

Деньги на лечение исправно пересылала социальная служба, под опекой которой он находился несколько месяцев, пока имел право на безработицу.

По приезде в этот богом забытый аризонский городок Юджин встретился с местным журналистом, который пристроил его у одинокой вдовы, финки Каа-



ри. Та с удовольствием приняла постояльца за каких-нибудь полтора десятка баксов в неделю.

Во дворе Каариного дома Юджин припарковал свой «понтиак», но ездил на нем редко, потому что вдова не запрещала пользоваться ее новеньким «chevy» 1953 года с никелированными бамперами.

Юджин часами пропадал в парке, созерцая цветение сагуаро и слушая пение птиц.

Когда Каари вручала ему ключи от своего авто, она пахла сагуаро — вообще, здесь все пахло сагуаро. Журналист позвонил в пятницу и предложил съездить за ромом в Мексику, в городок Нагалес вблизи границы. Аризонцы часто навевались туда за бухлом, там было дешевле. Юджин спросил Каари, сможет ли она поехать, и та утвердительно кивнула.

Машина журналиста, который набил багажник мексиканским ромом, прошмыгнула по приграничному Нагалесу. За ним мчался Юджин, одной рукой держа руль «chevy». Рядом сидела загорелая Карри в цветастом платье и время от времени заливала в себя ром из открытой бутылки. Вокруг ее нижней губы и на подбородке присохли коричневые струйки рома, сладковатые запахи напитка, сагуаро и теплого тела Каари заполняли кабину. Юджин взял у нее бутылку и тоже отхлебнул, выдыхая с алкогольным паром слово «good».

Уже на американской территории «chevy» Юджина начало отставать от автомобиля журналиста. К тому же он заехал еще и на заправку, почему-то решив, что мало горючего. Выехав оттуда, помчал по равнинной дороге, уже никого перед собою не видя. Юджин с Каари пили ром.

И когда правая рука Юджина соскользнула с ручки переключения скоростей и оказалась на колене Каари, «chevy», резко затормозив, съехал с шоссе на песчаную обочину и остановился.

Аризона пахла мексиканским ромом и теплыми губами Каари.

Юджин припарковал «понтиак», в сердцах хлопнул дверью и стал перед домом.

В Лос-Анджелесе было три часа ночи.

Канитель со свечами задержала его в пути, и план добраться засветло провалился. Юджин еще раз проверил адрес: цифры на скомканной бумажке и числа на доме совпадали, как на выигрышном лотерейном билете. Он разбудил приятеля Михаила, с которым списался еще в Аризоне, и вошел в небольшую квартиру, шепотом объясняя причину опоздания. Приятель вытащил вмонтированную в стену кровать и сказал: «Ложись, завтра поговорим».

Лос-Анджелес лежал перед Юджином, а Юджин лежал в кровати и вслушивался в калифорнийские звуки, долетавшие через наполовину открытое окно. Проснувшись, он смог рассмотреть только почти пустую маленькую комнату с одним окном. Встал, заварил на кухне кофе и присел в майке и трусах у стола. Напомнил себе, что нужно забрать из багажника чемодан, но ключей от квартиры у него не было.

Около шести вечера Михаил вернулся.

В бумажных пакетах он принес продукты и несколько бутылок пива. Пока Юджин бегал к машине за вещами, приготовил ужин. Приятель курил и заливал пивом свои слова.

— Давно из Нью-Йорка?

— Больше года, восемь месяцев в Аризоне, а теперь — сюда.

— А чего удрал?

— Интересно, да и легкие нужно подлечить.

— А про Настю ты что-нибудь слышал?

— Нет, а кто это?

— Из Нью-Йорка. Просто из-за нее я здесь, в Калифорнии, дышу теперь Тихим океаном, но это не связано с легкими...

Они пили пиво, заедая гамбургерами.

Михаилу было под сорок, его жизнь состояла из сплошных побегов, любовных интриг, преследования мужей, сцен ревности. Повсюду он оставлял разбитое сердце очередной пассии, когда дела заходили слишком уж далеко. Он любил женщин и секс, но не хотел связывать себя браками и обязательствами.

Михаил решил показать Юджину Лос-Анджелес, и в пятницу они начали знакомство с нескольких голливудских баров. Михаил часто подбирал в этих барах актрис и вез к себе (через какое-то время о нем знала добрая половина Голливуда, особенно женская), иногда дрался за какую-нибудь из своих кисок, — довольно мастерски. Во время войны он тренировал полицию во Львове, так что знал технику кулачного боя и восточные приемы, и всем этим опытом и навыками охотно делился с публикой в барах. Он был известен как Mister Fist<sup>1</sup>.

Юджин с Михаилом бросили «пontiак» за несколько кварталов до голливудского района. В первом баре Михаилу почему-то не понравилось, и, пригубив джин с тоником и осмотрев публику, они убрались прочь. В третьем баре задержались, хотя второй тоже оставили довольно быстро. Заказав бутылку ирландского виски, Юджин предложил сесть ближе к кирпичной стене, на которой весело несколько больших фотографий из известных фильмов 30-х годов.

— А что, в Аризоне не понравилось?

— Понравилось. Но хотел еще увидеть Калифорнию.

— Ну, и как?

— Тепло.

— А я почему-то не могу тут, ну, живу, но...

— А Нью-Йорк?

— Не знаю.

— Мне Нью-Йорк нравится...

— А мне нравится вон та... посмотри.

И Михаил показал пальцем на стройную киску в сопровождении здорового мужика, похожего на бейсболиста. Михаил назвал ее имя и фамилию, но Юджин не интересовался американским кино.

— Ну что?

— Красивая.

— Она здесь уже с полгода, пытается получить какую-нибудь роль...

— ... и что?

— Кажется, пока что ее содержат.

Михаилу издалека улыбалась крашенная в блондинку зрелая дама.

— Из этого бара. Это — моя первая.

---

<sup>1</sup> Мистер Кулак (англ.). — Прим. перев.

— Сколько ей лет?

— Я не спрашивал... Нравится?

Юджин, по опыту с Каари, старше его на несколько лет, знал о склонности этих дам присвоить мужчине моложе их и играть с ним, как с любимым котиком, исполняя все его капризы, но за определенную территорию не выпуская. Инстинкт самосохранения и желание ничего не потерять.

Юджин впервые за несколько дней вспомнил Каари. Под действием виски он вспомнил запах сагуаро — запах ее тела и их любви.

— Нет, не нравится.

— Старая?

— Нет, не старая.

— Она тут пропустила всех через себя, приехала в Голливуд, а осталась в этом баре, киска с опытом.

— Проститутка?

— Не думаю, дает не за деньги, выпивка и секс, все.

Юджин видел, что блондинка еще несколько раз взглянула на их столик, но, не получив ответа, вскоре переключилась на лысоватого розовощекого ковбоя в сапогах со скошенными каблуками, который весело хохотал и алчно смотрел на нее.

— Сегодня покатается на техасском коне.

— Он что, на коне сюда приехал?

Михаил посмеялся над наивностью Юджина.

— Ага, на коне, с жеребцом в штанах.

Юджин заметил, что Михаил все время косится на спутницу бейсболиста, а заказанная вторая бутылка виски предвещала, что вечер не закончится вот так вот просто. Через какое-то время Юджиновы предчувствия начали исполняться: Михаил бойко подошел к столику бейсболиста и, положив руку на его плечо, наклонился к молодой актрисе. Бейсболист повернул голову, дернул плечом, но рука Михаила словно выросла. Из всех углов бара долетало: «Mister Fist... Mister Fist».

Начиналось развлечение.

Юджин не успел опомниться, как бейсболист уже лежал на полу, брошенный ловким приемом Михаила. Эта американская горилла, вскормленная гамбургерами и бифштексами, тренированная и самоуверенная, эта бейсбольная масса что-то проревела на своем калифорнийском диалекте: выкрик раненого зверя и опозоренного любовника поняли все в баре, кроме Михаила и Юджина. Так что Михаил, не дав горилле опомниться, сильным ударом в лицо загнал слова бейсболиста обратно в глотку, и эти слова вытекли уже струйками крови из разбитого рта жертвы.

Из зеленой темноты бара, мягкой и бархатной, вышли три тени моряков американского военного флота в белой фланелевой форме с закатанными рукавами, без беретов на стриженных головах. Они бросились на Михаила, но тоже через несколько секунд легли рядом с бейсболистом, разбросанные вихрем боевых приемов.

Напряжение росло.

И когда на чей-то зов в бар забежали еще шестеро бейсболистов, которые начали молотить всех, кто попадал под руку, Юджин понял, что обречен. Он даже не добежал до Михаила, потому что сразу ощутил силу калифорнийского

бейсбола. Его сбили за несколько метров от Михаила, который отбивался от всех, покада калифорнийские гориллы не навалились на него скопом и не застучали его телом об пол, как джазист в бубен.

Потом они же вынесли Михаила и Юджина к дверям и вышвырнули из бара на мостовую.

Накрапывал дождь. Через некоторое время они поняли, что дожили до субботы.

Как бы то ни было, а Юджину пришлось по душе калифорнийская жизнь, а особенно бульвар Сансет и пляж Санта-Моника. Он полюбил Тихий океан и его удивительные пейзажи, горы, залитые солнцем калифорнийские виноградники, предвечернее лежание на пляжном песке и полную беззаботность.

«Понтиак» Юджина часто появлялся на бульваре Сансет: его поглаживала тень пальмовых листьев, он мчал, отражаясь в витринах дорогих магазинов и выдавливая из себя последние силы и циклические движения цилиндров. Забрызганные бензином свечи забивали дыхание мотора, и когда тот, закашлявшись, как астматик, терял скорость, Юджин обзывал всю автомобильную промышленность Америки немецким словом «шайзе». А щедрого хозяина заправки — английским словом «шит».

Но по сравнению с Нью-Йорком Лос-Анджелес, несмотря на калифорнийскую экзотику, оставлял у Юджина впечатление города-провинциала. Дни и недели тянулись слишком однообразно, а после драки на бульваре Голливуд, когда полиция запретила Михаилу заходить в голливудский район, тем более потянулась рутина, поэтому Юджин не раз подумывал об отъезде. Но что-то его еще держало здесь, в городе ангелов.

Как-то он в одиночестве пошел с бульвара Сансет в Голливуд, просто так. Подступы к одному из кинотеатров были перекрыты: фотографы и кинохроника, прожектора, актеры и актрисы, дорогие лимузины — это была премьера какого-то фильма. Юджин стал напротив и засмотрелся на этот блеск успеха, белые воротнички, бабочки и черный бархат костюмов, мягкие линии вечерних платьев, вспышки фотоаппаратов, покрывавшие серебристым налетом стандартные лица голливудских мачо и красавиц. Юджин стоял в толпе, которая в один голос выкрикивала имена и визжала, словно это был ее праздник. Хотя, наверное, это и был праздник толпы.

Когда сборище начало постепенно расходиться, Юджин, уже сидя в кофейне на бульваре Голливуд, вспомнил, что Нью-Йорк и Америку вообще открыл ему «Der Verlorne Sohn» Луиса Тренкера, который он смотрел в Судетах в конце войны вместе с другими перемещенцами: им показывали кино из немецких архивов. Юджин хорошо запомнил из того фильма Эмпайр-стейт-билдинг, рекламу, автомобили, сценку с поиском работы, а главное — современного блудного сына в лабиринте нью-йоркских улиц.

Глядя на бульвар Голливуд из окна кофейни, Юджин почему-то заскучал по Нью-Йорку. Калифорнийский воздух, который он вдыхал каждое утро на пляже Санта-Моника, полоскал его легкие сухим теплом и океанским бризом, он пригоршнями глотал виноград, а по вечерам пил калифорнийское вино или местное пиво. За несколько месяцев в Аризоне и Калифорнии Юджин окреп и поправился. Вместе с подозрением на туберкулез исчезала и любовь Юджина к Лос-Анджелесу.

После той драки Михаил переключился на другие районы с кофейнями и пабами, куда не заходили ни бейсболисты, ни голливудские актрисы. Он все чаще приходил затемно, оставляя Юджина в одиночестве, а утром снова шел что-то охранять.

«Понтиак» требовал ремонта, и однажды Юджин приехал в автомастерские, что сгрудились в конце бульвара Голливуд. Автомеханик заглянул в мотор, выкрутил свечи, померил уровень масла и проверил давление в колесах.

— Далеко собрался?

— Еще не знаю. Сначала в Лас-Вегас, — как-то неожиданно выпалил Юджин.

— Свечки — мусор.

— Знаю, а что делать?

— Выкинь на свалку.

— На свалку? — удивился Юджин.

— Ну а куда? Я там кое-что почистил, но долго мотор не протянет.

Юджин сел в «пontiак», завел мотор и услышал, что цилиндры ритмично исполняют увертюру к своей работе, а карбюратор глотает воздух и горючее без больших усилий. Однако свечи Юджина беспокоили — наверное, потому, что он все-таки решил возвращаться в Нью-Йорк.

Юджин съехал с бульвара Голливуд на перпендикулярную улочку и выехал на бульвар Сансет. Калифорнийский август, теплый и нежный, словно батист, обвеивал его лицо из открытого бокового окна. Юджин мчался по городу, счастливо ощущая в руках сильную и усмиренную машину. Близкая разлука с Лос-Анджелесом не радовала и не огорчала, в калифорнийских долинах доспевал синий виноград, переливаясь на солнце, словно драгоценные камни, а загорелый Юджин пел любимую арию из «Травиаты». Ему подпевали бульвар Сансет, мотор «пontiака», Санта-Моника и Лос-Анджелес. Юджин ехал в Нью-Йорк, он мчал за город, за горы, за границы Калифорнии. И уже ничто не могло его остановить.

Он еще заехал к Михаилу и бросил свои вещи в багажник. У него оставалось в кармане полсотни долларов. «Ну, как раз хватит на бензин и гамбургеры», — подумал Юджин, собираясь. Он знал, что Михаила не дождется, и потому на куцей бумажке написал несколько слов прощания, замкнул двери и пошел к машине.

Это была Южная Дакота, и Юджин вторую неделю был в пути: он оставил Лас-Вегас, проехал Монтану и повернул на восток. У него заканчивались деньги: за все это время он выхлебал все виски и съел все продукты, оставалось меньше десяти долларов. К счастью, «пontiак» вел себя хорошо и ни разу за всю поездку не потревожил Юджина покашливанием или астматичными сбоями мотора.

Здесь, посреди Америки, по соседству с Миннесотой, Юджин ощутил дыхание Атлантики, шум Бродвея, увидел указательный палец Эмпайр-стейт-билдинг, который звал его к себе.

Съехав с наступлением ночи с трассы, Юджин решил выспаться. Его измучили горные дороги Невады с опасными поворотами, а тут, в Южной Дакоте, чередование прерий и гор действовало успокаивающе. Юджин заснул в автомобиле, приоткрыв боковое стекло. Во сне он ходил по Бродвею, ездил на сабвее в Бруклин, что-то покупал в лавке на Деленсе, заходил в мастерскую

итальянца и обтачивал там детали, которые нужно было доделать, слушал «Тоску» в Метрополитен-опере, встречался с Бетховеном в Карнеги-холле... Людвиг запросто угощал Юджина хот-догами, жаловался на нью-йоркские дожди, на оркестрантов, затяжные репетиции и задержки гонораров. Юджин обещал показать Людвигу Ист-Виллидж, немецкую библиотеку, немецкие районы на Глендейл, повести на пиво и бургеры в настоящий немецкий ресторан. Потом Юджин снова ломал кукурузу в Нью-Джерси, мыл пол в больнице, ремонтировал лифт, штамповал пуговицы для американской армии, играл на скрипке, покупал диски исполнителей классики и решал задания по алгебре.

Проснулся он от глухой тишины, зависшей на ветвях леса, который дал ему пристанище на эту ночь. Чуть впереди за деревьями виднелась панорама озера. Дикая утка плавала у скалистого берега, и осень, как домохозяйка, красила деревья свежей краской, желтой и красной...

Юджин возвращался в Нью-Йорк на автобусе в декабре.

Все утро автобус мчался мимо сонных городков по штату Нью-Джерси.

С «понтаком» Юджин распрощался в Миннесоте, продав его на запчасти, и за те несколько десятков долларов купил билет. Возвращался в пальто, которое купил на последние центы в магазине «Армии спасения». Он знал, что Нью-Йорк примет его, своего блудного сына, с распростертыми объятиями, только за одно то, что Юджин не предал огни металлической души этого большого города, в глубинах улиц которого легче спрятаться от одиночества, в конце концов — от себя самого.

Декабрьским утром Юджин сошел на Пенн-стейшен и поспешил на сабвей. Уже через несколько остановок он окажется на Ист-Виллидже, придет на свою авеню Би, к дому, который небось успел забыть его за эти полтора года. Кто-то из жителей, наверное, выехал, а кто-нибудь и умер.

...Из окна второго этажа вылетали подгоревшие матрасы, как гренки из черного хлеба к кофе. Юджин стоял перед своим домом и перед своими окнами, наблюдая, как пожарники заливают водой мебель, одежду, бумаги, которые дотлевали внутри квартиры. Пожарники подтягивали гофрированные шланги, а на улице стояло несколько сонных Юджиновых знакомых — видно, что после вчерашнего перепоя. Он узнал высокого старикана — старого айриша, который любил курить прямо в постели. У него Юджин и снимал комнатку. Перед своим великим исходом на запад Америки Юджин заплатил старику определенную сумму, чтобы тот не выбрасывал его вещи. Комнатку, на всякий случай, приберег — конечно, поселив нового жильца, но с условием, что, когда Юджин вернется, тот, новый, должен выселиться.

А теперь им всем негде жить и никакие договоренности уже не действуют.

Старик посмотрел на Юджина и отвернулся к полицейскому, который записывал с его слов подробности несчастного случая.

Ну, Юджину ничего и не оставалось, как только, постояв, убраться прочь.

В Нью-Йорке декабрь выдался довольно теплый. Зима приближалась, а Юджин потерял свой угол и оказался на улице. Он позвонил знакомому в Квинс и договорился о ночлеге на несколько дней.

На 14-й улице начиналась предрождественская распродажа.

В шахматных клубах доигрывали последние в этом году партии, в пабах допивали последнее в этом году пиво, в букинистических магазинах продавали по сниженной цене залежавшиеся книги и ноты.

На Бродвее было шумно, на 2-й авеню ездили по металлическим конструкциям с ажурными опорами поезда, вызванивая вагонами и рельсами.

На Лоуэр Ист-Сайд жались друг к другу синагоги и еврейские лавки. Большинство жителей этого района были галицийские евреи, которые также говорили по-польски и по-украински — все они приехали в конце XIX или в начале XX столетия, и в 1920—1930-е годы идиш все громче звучал на улицах, в магазинах и в ресторанах. Книшки продавали в «Йоган Шимель Книш Бейкери» на Хаустон-стрит, а Морис Косар и Исидор Мирски выпекали булочки по белостокским рецептам. Юджину нравился гам и запах этих улиц, идишский акцент в польском языке, знакомые лица евреев, их воспоминания о Галиции, городки и гешефты.

Юджин часто навещался сюда после возвращения из своего великого американского исхода, встречал в разговоры в лавках — особенно когда кто-нибудь из собеседников был из Богородчан или Солотвина. Лоуэр Ист-Сайд напоминала Юджину меланхолическую песню на идиш, какую-то довоенную идиллию, а теплые книжки и булки — скрытое в сознании ощущение дома и уюта, которого у него никогда не было и, наверное, уже не будет.

О музыке Юджин может говорить часами: о композиторах, певцах, операх, либретто и скрипках, которые он привез из Германии в Нью-Йорк. Это единственное, что ему осталось — война и музыка.

Даже в шахтах тифозного 1941 года Юджин выстукивал на спинках металлической кровати мелодии деревенских музыкантов со свадеб и гуляний. В Германии он находился рядом с Бетховеном и Вагнером, о которых тогда еще ничего не знал. Чувствовал, что рядом с шахтами и тифом над землей зависла музыка — огромный пласт, подобный голубым небесным сферам, — музыка, которую он хотел глотать, как мармелад из своего шахтерского рациона. На шахтах и потом, в Яблонце-над-Нисой или в Праге, музыка отбивалась от Юджина, как девушка — от надоедливой ухажера. И только в лагере — в этом скоплении послевоенных ужасов, где сгрудились полуголодные изгнанники с несколькими чемоданами или даже без них, с детьми, напуганными бомбардировками, с единственным желанием выжить — только в лагере для перемещенных лиц посреди разрушенной Германии Юджин нашел немецкого учителя, которому возил как плату сигареты, — их раздавали американские благотворительные организации. Сам он не курил, поэтому так платить за обучение было ему удобно. Несколько лет на шахте и у Цейса превратили ладони Юджина в рабочие клешни, его пальцы могли лишь очень грубо держать гриф и смычок; вдобавок Юджин был левша, и ему нужна была скрипка, переделанная под левую руку. У немецкого учителя одна такая скрипка нашлась, и через какое-то время задубелые культияпки, касаясь нежных струн и лакированного тела скрипки, начали выжимать звуки — сначала хриплые и пискливые, словно весенние голоса птенцов, которых Юджин словно душил пальцами.

Юджин любил рассказывать историю скрипичного мастера Дидченко, ко-



торый выстрелил в свою бывшую жену в Метрополитен-музее, а ее любовник-адвокат при этом умер от разрыва сердца.

Начиналось все так: вернувшись из больницы, Дидченко обнаружил, что старинная скрипка и виолончель работы средневековых итальянских мастеров исчезли из сейфа. Как оказалось, адвокат, который вел дела Дидченко, подготовил его жену, и та продала инструменты за 250 тысяч долларов.

Пока Дидченко искал правды, тот же адвокат поспособствовал быстрому разводу, и в один миг у скрипача не осталось ни семьи, ни старинных инструментов. По словам Юджина, Дидченко никак не мог с этим смириться. К тому же суд постановил, что встречаться с дочерью он может только в присутствии бывшей жены, раз в месяц.

И тут у Дидченко созрел план.

Как-то в воскресенье он попросил свидания с дочерью. Разумеется, бывшая жена, боясь мести, не решалась приходить в места, которые могли показаться опасными, но Дидченко назначил встречу в Метрополитен-музее, где всегда многолюдно, а еще и согласился, чтобы пришел адвокат. Так что в конце концов женщина приняла предложение.

Дома Дидченко вытащил из ящика стола пистолет и зарядил его.

Бывший капитан царской армии, он обладал военными навыками и умел быстро оценивать ситуацию. Метрополитен-музей был чуть ли не лучшей площадкой для мести, нужно было только придумать, как спровадить дочь и что делать после выстрела. Ждать полицию или бежать? А если бежать, то куда? Никакого места Дидченко заранее не подготовил: подумал об этом в последнюю минуту, но отбросил все соображения, потому что мешали сосредоточиться.

От Карнеги-холл до Метрополитен-музея Дидченко шел пешком. Это примерно двадцать улиц. Путь, который можно пройти за час, он прошел за три. Отшагав почти половину, Дидченко остановился — в воздухе пахло липами, и так же пахло в его мастерской: клеем и живицей, лаком и музыкой.

За поясом торчал пистолет.

С того времени как жена переехала к адвокату, Дидченко лишь несколько раз появлялся в мастерской: просто заходил, но ничего не делал, сидел и курил. Срочные заказы пришлось отложить, а для клиентов придумать какие-то объяснения. Его преследовали скрипка и виолончель, которые так коварно выкрала эта сука (а иначе Дидченко бывшую жену и не называл). Он даже не пытался вспоминать о цене инструментов — его больше беспокоило, что то итальянское совершенство, которое он ощупывал и обнюхивал, которое пытался разгадать, измеряя циркулями и линейками, — теперь продано и никогда уже не будет ему принадлежать.

Как происходила сама расправа, Юджин с годами подзабыл, хотя репортажи в криминальной хронике тогда сообщали, что скрипичный мастер Дидченко смертельно ранил в Метрополитен-музее свою бывшую жену. Мотивом преступления, по мнению полиции, была продажа старинных музыкальных инструментов. В музыкальных и адвокатских кругах это событие живо обсуждали еще какое-то время, пока прессу и салоны Нью-Йорка не заполнили разговоры о новом неординарном преступлении.

В назначенное время дочь и бывшая жена Дидченко в сопровождении адвоката появились в зале древнегреческого искусства.

Дидченко вышел из-за двухметрового Аполлона, поздоровался, обнял дочку

и несколько минут о чем-то с ней шепотом беседовал. Начальный страх и неуверенность бывшей жены притупились, расслабился и адвокат, рассматривая обезглавленную Венеру. Дочка подбежала к маме, что-то ей шепнула и побежала между скульптур к буфету с десятидолларовой купюрой, которую Дидченко вложил в ее узкую ладонь.

Дидченко вытащил из-за пояса пистолет и хладнокровно, почти в упор расстрелял бывшую жену под крики и вопли нескольких любителей классики. Выстрелы, прозвучавшие за спиной адвоката, отвлекли его внимание от Венеры, он немного отступил, повернулся на звук и увидел окровавленную любовницу на мраморном полу с глазурированной мозаикой. Потом как-то неестественно пошатнулся и упал, дернув тонкими ногами, да и затих. Дидченко спрятал пистолет за пояс, выпрямился и вместе с сотней мраморных скульптур и двумя трупами стал ждать полицию.

Его арестовали и забрали в тюрьму, а убитую и умершего — на медицинскую экспертизу. У несчастной вынули из тела семь пуль: капитан царской армии не оставил ей никаких шансов выжить. У адвоката диагностировали разрыв сердца вследствие шокового состояния, пуль в его теле не нашли.

Дочь Дидченко, кажется, временно поместили в приют, а что было с ней дальше, Юджин не знает.

Эту полузабытую историю Юджин рассказывает так увлеченно, словно это не Дидченко, а он сам поквитался со злоумышленниками.

В 50-х годах в Нью-Йорке на сцене Карнеги-холла царил Иегуди Менухин.

Именно игрой Менухина озвучили фильм «*Magis Bow*» о Паганини — это кино подарил Юджину на Рождество, еще во времена его дорменовской службы, один парень, тоже музыкоголик и опероман, с которым они часто обменивались музыкальными новинками. Сначала Юджин долго выбирал видеомagneфон, чтобы иметь возможность пересмотреть это кино. Время шло, проигрыватель Юджин так и не купил. Пролетело еще несколько десятков лет, фильм перешел в категорию ретро, состарился и умер Иегуди Менухин, постарел и Юджин. Только Паганини в том фильме оставался неизменным, как и музыка, которую сыпал, как из рукава, волшебный смычок Менухина — казалось, она почерпнута из небесных сфер. Когда же еще через несколько лет ультиматум лендлордов привел к полной ликвидации книг и музыки Юджина, на свалку попал и «*Magis Bow*». Теперь Юджин жалуется, что этот сучий грек уничтожил и его самого.

В 60-х годах, когда тонкие механизмы, которые Юджину выпало ремонтировать на фабрике металлических армейских пуговиц и прочих знаков отличий, оставались позади, он становился посреди своей комнаты и играл несложные музыкальные произведения. За его спиной стояли ближайшие друзья, которым он действительно доверял: скрипачи Никколо Паганини, Август Брайтбах, Леопольд Ауэр и Петровский, учитель из Ашаффенбурга. Они держали руку Юджина, водили смычком, молча, словно суровые судьи, слушали его игру. После тархтения станков, запаха машинного масла и скрежета металла Юджин, точно одинокий пловец, нырял в волны музыки, похожие на те, что прибиваются из открытого океана на пляжи Лонг-Айленда. Нырял и плыл, заплывая до самых бакенов: дальше ему не хватало сил, слабела рука, не слушались пальцы, звучание теряло чистоту и первозданный свет, которое так легко высвобождали Паганини или Менухин, касаясь пульсирующей сердцевины звука. В открытом окне

соседнего дома пуэрториканские дети, ожидавшие ужина, замороженно слушали скрипку Юджина, готовые временно удовлетвориться музыкой как десертом.

В Нью-Йорке Юджин вдруг, к собственному удивлению, прекратил путешествия: его жизнь состояла теперь из нечастых посещений знакомых в городе или за его пределами, дальше всего — в Пенсильвании. Великий исход Юджина притупил в нем желание странствовать, и он впал в своего рода летаргический сон, из которого выходил, слушая лекции по высшей математике у полковника артиллерии царской армии, выпускника Санкт-Петербургского университета Кондрата Плохого. Бывший артиллерист жил в Бруклине, поэтому почти каждое воскресенье Юджин на сабвее приезжал к нему со своей исписанной тетрадью, в которой решал различные задачи. Это были шестидесятые. По Ист-Виллиджу бродили поэты, в самых дешевых районах селились молодые художники, появлялись хиппи. Начиналась война во Вьетнаме, молодежь сходила с ума от битлов и «Вудстока». Юджин на все это реагировал упражнениями на скрипке и в алгебре, прослушиванием классики в лучших концертных залах Нью-Йорка и все углублявшимся одиночеством, которое крепко схватило его за широкие плечи, словно злая и циничная потаскуха, простоявшая без клиентов целый вечер.

После Каари у Юджина почти не было женщин.

Может, потому, что Юджин любил детали своей жизни: одинокое жилище на 3-й улице, две скрипки в черных футлярах, книги о музыке, ноты скрипичных партитур. Он любил разговоры и концерты, свое обучение и музыкальные фильмы, любил свое пространство, которое кто-то другой мог бы разрушить. Женщины, которых он все-таки водил к себе, пытались упорядочить хаос, которому Юджин придавал почти мистическое значение, поэтому после секса он легко прощался с ними. В окрестностях Ист-Виллиджа крутились несколько десятков недорогих местных проституток, да и между своими хватало подруг, которые еще в лагерные времена прославились безотказностью. А когда появились хиппи и наркоманы, за несколько долларов можно было получить такое, что и в «Камасутре» не найдешь. Были ночные клубы с голыми девками, которые повисали на металлических трубах, символизировавших фаллос: девки блестели и раздевались, звали к себе, предлагали себя, позволяли касаться своих тел, засовывать за цветные трусики мятые долларовые купюры. Они хохотали и верещали от щекотки.

«Нью-Йорк, — говорит мне Юджин, — изменился». И в этом с ним сложно было не согласиться.

Юджин сам почти целиком превратился в Нью-Йорк, что залег в его памяти, стал неким человеком-городом с музыкальной подкладкой, человекогородом, похожим на рваную подкладку своего пальто. Нью-Йорк разделил с ним по-братски пять десятков лет, старость догнала его на 14-й улице, как раз по дороге в музыкальную лавку, где приторговывали старыми записями классической музыки.

«Жизнь — это одни потери, — говорит Юджин. — Смотри: в детстве я потерял мать, потом — свое село, потом — Прагу, потом — Баварию, музыку, две скрипки, несколько квартир, Каари, книги и пласты, фотографии и тетради, а когда-нибудь Нью-Йорк потеряет меня».

«Музыка, — говорит Юджин, — теперь совершенно испортилась».

Он не любит джаз; в лавке на 14-й ему никогда не предлагают панк, рэп или еще что-то такое, уважая выбор и вкус своего клиента. Музыка, что сопровождала Юджина до старости и сама стала его старостью, ходит с ним и за ним по нью-йоркским улицам, как подруга, и всегда ждет его, когда он, запыхавшись, отстает. Она поднимает его, когда он падает на улице, сбитый велосипедом или просто споткнувшись, она прицепилась к нему своими тяжелыми ангельскими крыльями, и Юджин не может уже ни сбросить их, ни отдать кому-то другому.

К середине дня возле Святого Станислава собираются старики Манхеттена: это — время дешевого обеда, привезенного католическими благотворительными организациями. Ниже, возле Томпкинс-сквер-парка, тоже раздают дармовую хавку, но это уже «Армия спасения»: там полно пожилых китайцев и бомжей, запах супов и жареных кур висит целый час над ближайшими улицами. Старость — это не только музыка, но и «Армия спасения», пластиковые тарелки и суeta в очереди за своей порцией.

Южин приходит, шаркая громоздкими ботинками «Rock Port», потрескавшимися, со стесанными каблуками, в неизменном синем пальто, с шарфом на шее и во французском берете. Не засиживается, потому что должен, говорит, идти на 14-ю улицу, искать оперу Вагнера «Тристан и Изольда» в исполнении оркестра под руководством Эриха Лайнсдорфа, запись 1943 года в Метрополитен-опере. Потом целую ночь, до самого утра, будет слушать музыку, пока свет дня не встанет в полный рост во всех пяти окнах Юджиновой квартиры.

Я знаю, когда Юджин завтра подойдет, и я скажу: «Hello, my dear friend», он беззубо улыбнется.

— Все о'кей ? — спросит он.

— О'кей, — отвечу я.

И это будет значить, что действительно все о'кей.

Эмиль Паин

## Иноверцы и инородцы

*Способна ли демократия противостоять исламофобии*

*Беседу ведет Ирина Доронина*

**И. Д.:** Эмиль Абрамович, в России, как известно, принято «махать кулаками после драки». По окончании любого массового конфликта на почве ксенофобии у нас разгорается публичная дискуссия о его причинах. Некоторые едва ли не во всем винят прессу: мол, если бы она не подчеркивала этнической, расовой или религиозной принадлежности конфликтующих сторон и вообще не говорила бы о существовании таких проблем, то их бы и не было. Именно пресса якобы разжигает психологические фобии, которые становятся источником конфликтов.

**Э. П.:** Таких людей можно назвать стихийными сторонниками конструктивизма, поскольку они считают, что пресса таким образом «конструирует», создает психологические фобии.

**И. Д.:** Другие же настаивают на том, что в основе конфликтов лежит несовершенство государственного и общественного устройства России: если бы наше государство стало по-настоящему демократическим и правовым, то исчезли бы, мол, и фундаментальные предпосылки этнических и религиозных фобий.

**Э. П.:** А это сторонники, тоже в своем большинстве стихийные, модной ныне неоинституциональной теории.

**И. Д.:** Кто же из них прав?

**Э. П.:** О причинах взрыва ксенофобии в полной мере не дают ответа сторонники ни одной из указанных теорий. Достаточно сравнить наш опыт с американским. США, бесспорно, входят в число стран с самым высоким уровнем развития либерально-демократических институтов в сфере политики и права. По уровню же ограничений с позиций политкорректности на использование в прессе «hate speech» («языка ненависти, вражды») ей, пожалуй, и равных нет в мире. Но при всем этом с начала 2000-х годов в этой стране наблюдается заметное усиление ксенофобии в такой ее разновидности как исламофобия.

Именно этим в какой-то мере объясняется выбор, мой и моей аспирантки Марии Сусловой, для сравнительного исследования (в период 2010–2012 годов) столь разных стран, как США и Россия. Сопоставив их, мы хотели выяснить, каково влияние на ксенофобию, в том числе на исламофобию, фундаментальных политических условий, связанных с типом политического режима. Предполагалось, что страна, занимающая первые строчки мировых рейтингов по уровню демократии, развитию гражданского общества, правовой защищенности граждан и отстаиваемых государством норм толерантности, лучше справляется с задачей ослабления фобий по отношению к представителям ислама, чем страна с заметными признаками авторитаризма и слабым, по сути зачаточным, развитием институтов гражданского общества. Реальность оказалась сложнее гипотетических конструкций. В самом начале исследования выяснилось, что *исламофобия* (различные формы предубеждения против ислама как идеологии и его носителей как религиозного сообщества) в большей мере характерна именно для США, тогда как современной России пока больше присущи иные проявления ксенофобии, а именно: *этнофобия* (ненависть, страх, предубеждение против этнических сообществ, объявляемых «чуждыми»), а также мигрантофобия.

**И. Д.:** То есть важно не во что верует «чужой», а кто он по происхождению и откуда приехал?

**Э. П.:** Именно. Почти с самого основания США основной формой ксенофобии здесь была расовая нетерпимость — предрассудки, существовавшие в массовом сознании в отношении афроамериканцев. К началу XXI века этот «белый расизм» удалось значительно притушить. Тому имеется множество свидетельств: данные социологических исследований, фиксируемые ФБР показатели снижения доли преступлений на почве расовой ненависти, включая нарушения норм политкорректности, и, разумеется, рост доли афроамериканцев на высоких государственных постах. Однако некоторое затишье на фронте преодоления ксенофобии было недолгим. После террористического акта 11 сентября 2001 года в стране произошел взрыв новой разновидности ксенофобии — исламофобии. По данным национальных опросов общественного мнения, проведенных исследовательским центром Pew Research Center, менее чем за год после сентябрьского теракта (к началу 2002 года) предубежденность против мусульман выросла почти вдвое — с семнадцати до двадцати девяти процентов, а к 2007 году ее стали выражать уже более трети американцев (тридцать пять процентов). И несмотря на то, что с 2001 года террористические акты в США не повторялись, антиисламские настроения не спадают.

**И. Д.:** Наверное, и внешнеполитические события сказываются на массовом сознании?

**Э. П.:** Да, внешнеполитические кризисы, развившиеся как эхо американской трагедии 2001 года, подогревают антиисламские настроения. Это вооруженные действия США в Ираке и Афганистане, а также опасения по поводу вероятности вооруженного конфликта США с Ираном. Материалы социологических исследований различных исследовательских коллективов (Pew Research Center, Gallup, Cornell University) за 2008–2011 годы указывают на вполне определенные тенденции в массовом сознании американцев. Во-первых, ислам оценивается более негативно, чем другие религии. Сорок пять процентов опрошенных высказали убежденность в том, что ислам в большей степени, нежели

другие религии, поощряет насилие среди своих адептов. Во-вторых, антиисламские настроения в той или иной форме охватывают все более значительные массы населения — от сорока до пятидесяти трех процентов американцев. Ведущую роль в конструировании и распространении «образа врага» действительно играют массмедиа. Американские исследования контента трех наиболее влиятельных и респектабельных политических газет — *The New York Times*, *The Los Angeles Times*, *The Washington Post* — показывают, что все три издания после событий 11 сентября 2001 года изображали мусульман более негативно, чем прежде.

**И. Д.: А как же политкорректность?**

**Э. П.:** Оказалось, что ограничения, вытекающие из строгих американских норм политкорректности, можно легко обойти. Для того чтобы испортить образ мусульман, даже не требуется напрямую употреблять по отношению к ним негативные определения. Достаточным бывает просто нагнетание в одном тексте таких терминов как «террористы», «экстремисты», «радикалы», «фанатики» и «исламские фундаменталисты». В прессе усилились и так называемые «мифологические репрезентации», которые состоят в том, что те или иные качества человека прямо или косвенно (упоминанием в другой части текста) связывают не с его социальными характеристиками, местом проживания, образованием, а с его вероисповеданием, в данном случае с исламом.

**И. Д.: То есть спрос рождает предложение?**

**Э. П.:** Безусловно. После 2001 года в США появился массовый спрос на негативный образ мусульманина, и массмедиа как разновидность бизнеса работает на его удовлетворение (можно сказать — эксплуатацию), тем самым усиливая негативность восприятия и расширяя зону распространения сложившихся предрассудков. Все заслоны на этом пути оказываются легко преодолимыми.

**И. Д.: А какова доля мусульманского населения в США сравнительно с Россией?**

**Э. П.:** В США примерно 7 млн мусульман (это около двух с половиной процентов населения). В списке религиозных сообществ они занимают лишь четвертую строчку по численности верующих, но по притяжению к себе различных фобий — первую. В Российской Федерации намного больше мусульман (не менее двадцати миллионов человек, то есть около пятнадцати процентов населения). Ислам является второй религией по численности верующих, но в силу ряда исторических обстоятельств она пока находится в поле преобладания нейтральных и позитивных оценок российского населения.

**И. Д.: То есть в России межрелигиозная вражда менее заметна, чем межэтническая?**

**Э. П.:** Да, это подтверждается результатами многолетнего мониторинга ксенофобии, проводимого Левада-Центром. Мониторинг свидетельствует об избирательном отношении большинства россиян к представителям ислама, и эта избирательность сугубо этническая. Так, с середины девяностых годов социологи фиксируют негативное отношение только к «северокавказской», наименьшей группе мусульман (их около шести миллионов человек), да и то не ко всей, а лишь к отдельным ее народам. К наибольшей же группе коренных российских мусульман, «поволжско-урало-сибирской» (это татары, башкиры, коренные поволжские и уральские казахи и другие — всего около восьми милли-



онов человек), в массовом сознании россиян устойчиво преобладают нейтральные и позитивные оценки. В США же этнические различия в рамках настроений исламофобии не проявляются или, по крайней мере, не улавливаются специальными исследованиями.

В России взрыв ксенофобии приходится на период начала первой «чеченской войны». Мониторинг Левада-Центра показывает, что именно в 1994 году впервые за все годы наблюдений доля негативных оценок по отношению к одной из этнических групп (в то время это были только чеченцы) превысила долю позитивных, составив пятьдесят один процент опрошенных. С конца девяностых годов ксенофобия расползлась вширь — негативные оценки стали преобладающими по отношению к большинству других этнических групп Кавказа. В 2000-х годах к списку «нелюбимых» национальностей добавились различные этнические группы мигрантов из региона, который поставляет большую их часть в Россию, — из Средней Азии. Такая концентрация этнических фобий россиян на представителях народов, исторически связанных с исламом, *неизбежно влечет за собой дополнение этнофобии в России исламофобией*. К этому подталкивала и эскалация на всей территории страны внутреннего российского терроризма, связываемого в массмедиа с «исламским фактором». Кроме того, на Северном Кавказе этнический сепаратизм как главная идеологическая основа консолидации вооруженного подполья уступает свое место другой идеологии — исламскому фундаментализму. И все это влияет на изменение отношения большинства населения к мусульманству. Известный исследователь ислама Алексей Малашенко отмечает двойственное отношение к исламу в российском обществе. С одной стороны, он традиционно считается «своим», а с другой — со временем все больше воспринимается как чужеродное явление. Отвечая на вопрос «Какая религия кажется вам наиболее чуждой?», относительное большинство респондентов (двадцать шесть процентов) указывает на ислам.

**И. Д.: И все же вы считаете, что пока исламофобия в России не достигла того уровня, который наблюдается в США?**

**Э. П.:** В 2011 году Мария Суслова провела опрос интернет-аудитории США и России на эту тему по однотипной анкете. На вопрос «Как вы относитесь к мусульманской религии?» ответов, характеризующих отрицательное отношение к исламу, в США было почти вдвое больше, чем в России (сорок процентов против двадцати четырех). Положительное отношение проявило двадцать два процента россиян и восемнадцать процентов американцев. Нейтральное — подавляющее большинство респондентов из России (пятьдесят два процента) и тридцать пять процентов опрошенных из США.

Как справедливо отмечают исламоведы Георгий Энгельгардт и Алексей Крымин, российская ксенофобия направлена на «инородцев», а не «иноверцев». Наилучшим свидетельством тому является лексикон русской ксенофобии: в нем множество широко известных оскорбительных названий этнических и расовых групп. В последние годы к ним добавились еще и оскорбления в адрес мигрантов («понаехавших»). Но в этой лексике нет оскорбительных названий религий.

**И. Д.: А в чем причина того, что в России ксенофобия приобрела именно этнический «уклон»?**

**Э. П.:** Этническая основа ксенофобии характерна для постимперского общества. Этнофобии преобладали и в Российской империи, и в Советском Союзе, объединявших в одном государстве разнородные этнические террито-

рии. В постсоветское время на всех этих территориях отчетливо обозначился подъем этнического самосознания населения, а на некоторых из них — и этнический сепаратизм. Религиозное же сознание в России никогда не было чрезмерным, а уж в советское время оно и вовсе было подорвано. Россия не прошла этапа Реформации, как многие западные общества, и, возможно, поэтому конфессиональные различия не были столь значимы для социальной и политической жизни страны.

Иную роль религия играла в англосаксонской культуре. Как раз со времен Реформации важнейшие политические коллизии на Британских островах тесно переплетались с религиозным противостоянием. На противоборстве протестантов и католиков были густо замешены политические конфликты Англии с Шотландией, Англии с Ирландией, а затем политическая борьба времен Английской революции XVII века. Она прочно соединялась в массовом сознании англичан с борьбой реформаторов-протестантов («пуритан») с традиционалистами-католиками («папистами»). Как отмечают историки, радикальный пуританизм, выступавший за углубление Реформации, стал идеологическим знаменем Английской революции 1640–1649 годов. Пуритане стояли и у истоков образования Соединенных Штатов Америки. Именно с поселения пуритан в штате Массачусетс фактически началось (1620 год) английское заселение Северной Америки. Временами пуританизм, консерватизм здесь перерастали в протестантский фундаментализм. Кстати, и сам термин «фундаментализм» возник в США в 1909 году применительно к его протестантской разновидности.

**И. Д.: В США религия и ныне играет большую роль.**

**Э. П.:** По данным международного социологического опроса, проведенного Фондом Бертельсмана (Bertelsmann Foundation) в двадцати одной стране мира в 2007 году, американцы лидируют по доле верующих даже в сравнении с католическими странами Европы. Верующими называют себя около восьмидесяти восьми процентов населения США, это намного больше, чем в большинстве развитых стран мира. По разным оценкам, от двадцати одного до сорока одного процента жителей США посещают церковь не реже, чем раз в неделю. В России же доля тех, кто ходит в храм не реже одного раза в неделю, среди этнического большинства составляет, по разным оценкам, от трех до семи процентов.

Все 44 президента США были христианами, из них 43 — протестантами.

**И. Д.: И только Джон Кеннеди — католиком.**

**Э. П.:** А вот идея избрать президентом атеиста или мусульманина, как показывают социологические исследования, пока не поддерживается большинством американцев. Не только религиозная принадлежность, но и религиозные убеждения политика по-прежнему важны для американских избирателей. В России же эти признаки пока не имеют политического значения. Два первых российских президента по характеру службы и партийной принадлежности в советское время обязаны были быть «воинствующими атеистами». В постсоветское время мало кто из россиян ставил им это в укор, так же как мало кого из избирателей интересовала мера искренности их последующей демонстративной религиозности. Иное дело этничность — к ней присматриваются внимательнее. В периоды снижения популярности российских президентов им непременно придумывают фальшивые «этнические» биографии, изображая их «нерусскими», «инородцами».

**И. Д.:** Чуть раньше вы сказали, что этническая основа ксенофобии характерна для постимперского общества. Но ведь в империях, в том числе в Российской, тоже жило немало иноверцев, включая и мусульман. Почему все же этнический фактор оказался более существенным?

**Э. П.:** Различия в соотношении этнических и религиозных фобий (в частности исламофобии) — и это прослеживается опять же на сравнительном примере России и США — в немалой мере обусловлены спецификой генезиса исламского сообщества. В России не менее трех четвертей последователей ислама представляют собой коренное население. При этом численно наибольшая и наиболее дружественная для русских часть мусульман России, татары и башкиры, проживает совместно с ними в одном государстве уже более пяти веков. В США, напротив, две трети мусульман представляют собой исторически недавних мигрантов многочисленных национальностей, прибывших из разных стран почти всех континентов. Вместе с тем особое внимание следует обратить на те тридцать пять процентов американских мусульман, которые являются коренными жителями США, — в основном это афроамериканцы. Лишь небольшая их часть приходится на потомков рабов, привезенных в Америку из исламских стран Африки еще в XVII веке. Подавляющее же большинство представителей этой группы составляют люди, принявшие ислам в результате активного призыва, проведенного во второй половине XX века афроамериканскими религиозными организациями, такими как «*Nation of Islam*». Подобные организации боролись с расовой сегрегацией, зачастую используя идеологические средства, определяемые рядом авторитетных экспертов как идеология «черного расизма».

**И. Д.:** «Черные пантеры»?

**Э. П.:** Левацкая «Партия черных пантер» (*Black Panther Party for Self-Defense*) была крайним, радикальным проявлением такого расизма, она выступала «за вооруженное сопротивление социальной агрессии белых» в интересах особой «афроамериканской справедливости». Часть членов этой вооруженной, фактически террористической организации также приняла ислам. В то время смена веры была актом демонстративным, символизировавшим не только протест против государственной политики сегрегации, но и разрыв с доминирующими культурными нормами — культурой белого протестантского большинства. Так это воспринималось и многими представителями расового большинства Америки, которые с тех пор оценивают не только афроамериканский ислам, но и всю эту религию в целом как вызов, как антитезу себе. А события сентября 2001 года усилили в массовом сознании такой образ ислама.

**И. Д.:** Не свидетельствует ли усиление ксенофобии в столь не похожих друг на друга странах, как США и Россия, о том, что в основе ее лежит нечто более глубинное, нежели социальные и политические условия?

**Э. П.:** Рост ксенофобии в таких разных странах, как Россия и США, как будто бы действительно подтверждает известную гипотезу о ее несоциальной и неполитической природе. По мнению известных этологов, например Виктора Дольника, ксенофобия является биологически детерминированным феноменом, что объясняет ее иррациональность, неподверженность разумным доводам. Если это верно, то ксенофобия в принципе была бы не устранима в человеческом сообществе. Однако вовсе не биологическая природа играет ведущую роль в проблемах ксенофобии.

Ее структура, а именно соотношение расовых, этнических и религиозных фобий, *задается не биологией, а преимущественно историко-культурными особенностями развития той или иной страны*. Вместе с тем такая структура слабо связана с типом политического режима и другими важнейшими признаками политического устройства государства.

Подъемы, всплески, взрывы ксенофобии не имеют прямого отношения к биологической природе человека (она-то как раз изменяется слабо), но они также не связаны и с типом политического режима. Чаще всего они *обусловлены несистемными социально-политическими факторами, радикально изменяющими привычное течение жизни*. Это могут быть крупные террористические атаки (например, события 11 сентября 2001 года); длительные вооруженные столкновения инсургентов с регулярной армией (типа «чеченской войны»); а также различные кризисы — межгосударственных отношений, демографические (когда большинство становится или может стать меньшинством), экономические и другие.

А раз так, возникает вопрос: **способны ли либерально-демократические институты и другие фундаментальные политические условия демократического государства оказать сдерживающее влияние на распространение ксенофобии, в том числе такой ее разновидности, как исламофобия?**

**И. Д.:** Вопрос самый что ни на есть существенный. Так могут?

**Э. П.:** Более двух веков в России существует централизованная система организации как православных, так и мусульманских сообществ, тесно совмещенная с вертикалью государственной власти. В 1788 году по аналогии с православным Священным синодом здесь было учреждено Магометанское духовное собрание. Почти полтора века Духовное управление мусульман (под разными названиями), так же как и Священный синод, подчинялось непосредственно императору. После недолгого перерыва на революцию 1917 года и Гражданскую войну централизованное духовное управление возродилось — в 1923 году НКВД РСФСР...

**И. Д.:** НКВД?!

**Э. П.:** Да, именно НКВД утвердил устав Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ). В дальнейшем в СССР происходили реорганизации управления духовными делами мусульман, но так или иначе сохранялись централизованная структура (ЦДУМ или ДУМ) и контроль над ней со стороны государственной власти. В декабре 1965 года был создан союзный государственный орган, Совет по делам религий при Совмине СССР -- «в целях последовательного осуществления политики Советского государства в отношении религий».

Духовные управления мусульман сохраняются и ныне, так же как сохраняется и патерналистское отношение к ним со стороны государственной власти. Основные изменения по сравнению с советскими временами связаны, на мой взгляд, с тем, что в российских регионах нынешние ДУМ больше зависимы от региональных властей, чем от центральной. Эта тесная связь ДУМ с властью делает их малопригодными для защиты мусульман от произвола тех же властей — местных, когда речь идет о беспрецедентном даже для России размахе коррупции, и федеральных — в нередких случаях расширительного толкования силовыми органами понятия «борьба с экстремизмом».

**И. Д.: И где же верующему в случае чего искать защиты?**

**Э. П.:** Не находя защиты от произвола со стороны официального ислама, верующие все чаще обращаются за защитой к альтернативному религиозному течению в исламе — салафизму. Но тогда власть открыто принимает сторону официального, суфийского течения ислама, объявляя «салафизм» врагом. С конца девяностых годов едва ли не основным направлением «борьбы с экстремизмом» в республиках Северного Кавказа стали силовые действия против мусульман — приверженцев салафитского течения ислама. В сентябре 1999 года был принят республиканский закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан», согласно которому деятельность этого религиозного направления была приравнена к экстремизму. Такое вмешательство государства в религиозную жизнь породило в этой республике полномасштабную гражданскую войну между представителями двух течений ислама. Она обернулась уже тысячами жертв (убитых, раненных, пропавших без вести). Сегодня большинство дагестанских политиков, включая депутатов Федерального собрания и самого президента республики Магомед-салама Магомедова, признают, что этот закон принес много вреда. Но пока он не отменен.

**И. Д.: То есть «хотели как лучше (надеюсь, что хотели), а получилось как всегда»?**

**Э. П.:** Да, духовные управления мусульман, воспринимаемые как продолжение государственной власти, оказались в весьма тяжелом положении в условиях роста недоверия к ней со стороны населения. Многочисленные исследования показывают, что быстро увеличивающаяся популярность салафитского ислама прямо связана с нарастанием социально-экономического и политического протеста населения республик Северного Кавказа. Показательно, что боевики в Дагестане и в ряде других регионов чаще покушаются на жизнь имамов, чем на жизнь представителей исполнительной власти. Лишь северокавказские полицейские несут большие потери, чем имамы мечетей традиционного суфийского направления. Таким образом, без защиты оказываются не только рядовые верующие-мусульмане, но и священнослужители, опирающиеся на единую вертикаль власти и религиозных организаций.

**И. Д.: А как самоорганизуются североамериканские мусульмане?**

**Э. П.:** В США нет и никогда не было единой централизованной структуры исламского духовенства, контролируемой государством. Организации исламского сообщества являются там частью гражданского общества. Приверженцы ислама шиитского и суннитского, во всех их многочисленных проявлениях, добровольно создают свои локальные организации и сами же выбирают те общенациональные сети, в которые они готовы включиться. Эти сетевые структуры намного более независимы от государства (в организационном, правовом и экономическом отношении), чем исламские учреждения в России, и более влиятельны, чем российские.

Исламское сообщество США входит в пятерку крупнейших меньшинств страны, и уже поэтому с ним вынуждены считаться политики, которые получают свои посты в результате выборов. Кроме того, это сообщество институционально хорошо организовано, что делает его в электоральном поле одной из самых влиятельных сил. Судите сами: в 2004 году одно из множества объединений исламских сообществ — Совет американо-исламских отношений (CAIR) —

провело кампанию в американских СМИ, затратив на нее одновременно пятьдесят миллионов долларов. По словам исполнительного директора CAIR Нихада Авада, его организация ежегодно тратит десять миллионов долларов на проведение медийных кампаний. Весьма значительными финансовыми ресурсами располагают более крупные общественные объединения исламских организаций, такие как Федерация исламских ассоциаций Соединенных Штатов и Канады (FIAUSC), Исламское общество Северной Америки (ISNA), Совет американских мусульман (AMS), Мусульманский совет по общественным делам (MPAC), Американский альянс мусульман (АМА) и другие.

С 2004 года в США ведет вещание англоязычный общенациональный телеканал для мусульман Bridges TV. В России, где мусульман втрое больше, у них нет общенационального телеканала, хотя этого уже давно добиваются исламские религиозные деятели. В ряде американских штатов существуют мусульманские телепрограммы, в некоторых — не только на английском, но и на испанском языке.

И это лишь некоторые штрихи к характеристике институциональных возможностей сети исламских организаций США. После 2001 года эта могучая сеть, проявляя недовольство политикой Джорджа Буша, многое сделала для победы его оппонента. По данным исследователей из Конфедерации мусульманских организаций США, почти девяносто процентов мусульманских избирателей голосовали за Барака Обаму, что сыграло не последнюю роль в исходе президентских выборов в США в 2008 году.

**И. Д.: Какую главную цель ставят перед собой американские объединения мусульман?**

**Э. П.:** Защиту мусульман от дискриминации и обеспечение им возможности быть услышанными в публичном пространстве. Они же отстаивают их точку зрения в органах законодательной и исполнительной власти. И нужно отметить, что они неплохо справляются со своими задачами даже в условиях нынешнего беспрецедентного размаха исламофобии в США. Согласно исследованию Cornell University 2008 года, около сорока четырех процентов американцев считали необходимым ввести ограничения гражданских свобод в отношении мусульман. Однако ни одно антиисламское требование не переросло в законодательную норму. Оно даже не доходило до рассмотрения ни на федеральном уровне, ни на уровне законодательных органов отдельных штатов, во многом потому, что исламские правозащитные организации, опираясь на антидискриминационное законодательство, пресекали в зародыше такие попытки. Они же помогли переломить сильное сопротивление многих жителей Нью-Йорка идее строительства мечети на месте террористического акта 2001 года.

Сетевые структуры исламских общин играют весьма заметную роль в помощи мигрантам из исламских стран, стремящимся адаптироваться к социально-экономическим и культурным условиям Америки. В десятках университетов, колледжей, а также в муниципальных офисах организованы центры такой адаптации, в которых представители общин сотрудничают с органами местного самоуправления и государственной власти.

**И. Д.: Значит, во взаимоотношениях государственных органов США с религиозными и этническими общинами превалирует принцип партнерства, а не подчинения по вертикали?**

**Э. П.:** Да, он составляет сущность государственной политики США во вза-



имоотношениях с ними и кардинально отличается от российского принципа патернализма власти, ее стремления подчинить себе все общественное.

**И. Д.:** И судя по тому, что после 11 сентября 2001 года в США, как вы уже упоминали, террористических актов больше не было, этот принцип партнерства помогает их предотвращать?

**Э. П.:** В деятельности по предотвращению террористических угроз принцип сотрудничества с исламскими организациями реализуется в политике США наиболее плодотворно. О значении стратегии партнерства можно судить по официальным документам правительства США, например, по докладу Государственного департамента США от 9 мая 2007 года. В нем отмечается, что «...сотрудничество требует создания доверенных сетей для вытеснения и маргинализации экстремистских сетей...». Еще лучше характеризует политику партнерства американская повседневная практика. При каждом полицейском управлении США существует своя общественная палата из представителей этнических и религиозных общин. Некоторые из них на общественных началах являются советниками начальника полиции в том или ином городе.

А теперь попробуйте представить себе это в российских условиях, применительно к российским национальным и религиозным меньшинствам и российским же полицейским управлениям.

**И. Д.:** Большинству из нас это показалось бы просто фантастикой.

**Э. П.:** А в американских условиях эта практика прижилась. Согласно выводам Pew Research Center, шестьдесят восемь процентов американских мусульман не только готовы к сотрудничеству, но и уже активно взаимодействуют с правоохранительными органами. Сотрудничество коммунитарных структур с властью дает позитивные результаты. Сколь бы ни была высока исламофобия в США, но террористические акты под флагом борьбы за интересы ислама в США действительно не повторяются уже более 10 лет. Заезжие террористы-иностранцы, такие как те, кто задумал, организовал и совершил теракт 11 сентября 2001 года, не имеют достаточной опоры в местном исламском сообществе.

К сожалению, принципиально иная ситуация в России. В нашей стране все известные теракты (более двух десятков в разных городах страны) совершили российские граждане. Проблема их вовлеченности в террористические организации, прикрывающиеся идеями исламского фундаментализма, с годами лишь усугубляется, поскольку террористическая сеть расползается по территории страны. Об этом свидетельствует, например, проводимый нами мониторинг местной прессы южных регионов России. Даже если мы ограничимся только информацией, полученной в самое последнее время, то и она показывает, что в этих регионах действовали вооруженные организации, состоящие из местных жителей, — это установили судебные заседания, проведенные в мае–июне 2012 года в Ставрополе, Астрахани и Волгограде. Они либо уже участвовали в террористических актах (как нефтекумская вооруженная группировка Ставропольского края), либо готовили их. А это значит, что угроза терроризма для населения российских краев и областей исходит ныне не только от заезжих террористов (еще недавно только их и опасались), но и от своих соседей, местных жителей.

**И. Д.:** Но американский опыт свидетельствует о том, что и при нали-



**чии ксенофобских настроений в обществе предотвратить насильственные действия можно?**

**Э. П.:** Важнейшим условием, предотвращающим перерастание ксенофобии в насильственные действия, является доверие населения к власти. Даже при высоких показателях ксенофобии общество с прочными традициями правовой культуры и законопослушным в своей массе населением не прибегает к насилию, если уверено, что «суд разберется» и «полиция защитит». Во многом этим обстоятельством объясняется тот факт, что в США после 2001 года не наблюдается массовых стычек, напоминающих погромы, какие были в России.

Если взять за точку отсчета не раз уже упомянутый 2001 год и ограничить территорию инцидентов только краями и областями за пределами Северного Кавказа, к тому же выделить исключительно столкновения представителей этнического большинства с меньшинствами, связанными с исламом, то и при всех этих ограничениях число конфликтов и погромов в Российской Федерации оказывается устрашающе большим в сравнении с американской ситуацией. К 2012 году насчитывалось как минимум десяток таких столкновений с участием более ста человек. И одним из основных мотивов нападавшей стороны была месть за то, что этническим меньшинствам покровительствуют коррумпированные власти. По этой же причине в декабре 2010 года состоялась многотысячная демонстрация на Манежной площади Москвы, а затем волнения охватили полтора десятка городов России. Поводом для них стала уверенность футбольных болельщиков (возможно, неоправданная), что выходцы с Северного Кавказа, участвовавшие в убийстве Егора Свиридова (одного из лидеров движения футбольных болельщиков), были отпущены на свободу в результате подкупа полицейских.

**И. Д.: Такие подозрения в отношении властей весьма характерны для России.**

**Э. П.:** По результатам многочисленных сравнительных исследований, общий уровень доверия населения к власти в нашей стране оценивается как один из самых низких в мире. Недавнее (июль 2012 года) стихийное бедствие в Крымске Краснодарского края продемонстрировало почти поголовное недоверие жителей этого города к властям. А на территориях с полиэтническим и поликонфессиональным составом населения недоверие к власти неизбежно усиливается и «горизонтальным недоверием» к соседям, особенно к «чужакам», с этим приходится сталкиваться повседневно в различных сферах жизни.

**И. Д.: Получается, что одной из причин конфликтов, о которых вы говорили, является подозрение со стороны той или иной этнической группы в дискриминации по отношению к ее представителям. Но разве у нас нет законов, направленных против такой дискриминации? Или они не достаточно совершенны? Или просто не работают, как это нередко у нас бывает?**

**Э. П.:** Законодательство в сфере противодействия расовой и религиозной дискриминации является одним из общепринятых в современную эпоху защитных барьеров на пути перерастания ксенофобии как состояния массового сознания в конкретные действия, угрожающие жизни представителей меньшинств или препятствующих реализации их потребностей и интересов.

В мировой практике сложились основные требования к антидискриминационному законодательству. Во-первых, в нем должно быть очень подробно

прописано определение дискриминации. При этом помимо прямой дискриминации обозначается и «косвенная дискриминация», то есть нормы и практики, которые ставят в менее благоприятное положение представителей меньшинств различного типа. Во-вторых, оно должно содержать указания на сферы общественной жизни, на которые распространяется запрет дискриминации: профессиональная занятость, профессиональное образование, начальное и среднее образование, доступ к товарам и услугам, включая здравоохранение и жилье, а также социальная защита. В-третьих, важный компонент антидискриминационного законодательства — правоприменительная практика. Прежде всего: в стране должны существовать конкретные механизмы, с помощью которых жертвы дискриминации могут защитить свои права, а нарушители антидискриминационного законодательства непременно понесут наказание. В-четвертых, обязательный компонент антидискриминационного законодательства — институционализация политики равноправия. Для этого определяются специальные функции и ответственность органов власти, местного самоуправления, а также предусматривается специализированное независимое ведомство по вопросам равенства. Этот орган должен обладать некоторыми судебными функциями, в частности иметь право на проведение собственного расследования.

В самом полном виде антидискриминационная система сложилась в США и Канаде, а из европейских стран — в Швеции. Менее развита она в других странах ЕС. Что касается России и СНГ, то в них такое законодательство как целостная система пока вообще отсутствует.

Ряд федеральных законов России содержит понятие «дискриминация». Наиболее подробные положения, относящиеся к равенству и запрету дискриминации, приводятся в Трудовом кодексе РФ, и на первый взгляд они обеспечивают защиту от дискриминации в сфере труда и при приеме на работу. Однако правоведы отмечают два фундаментальных недостатка этих норм. Во-первых, это нормы отраслевого законодательства, не вмонтированного в общее антидискриминационное. Во-вторых (и, наверное, это их главный недостаток), они не имеют практического значения. Как в теории, так и на практике остаются не проясненными вопросы, при каких обстоятельствах, в чей адрес и какие именно требования можно заявлять при предполагаемом нарушении. Не существует также установленных процедур выявления дискриминации. В России отсутствуют административные механизмы противодействия дискриминации: на государственные и муниципальные органы управления непосредственно не возложена обязанность решать такие вопросы. В результате дискриминация широко практикуется в России. Исследования нашего Центра этнополитических и региональных исследований показали, что ксенофобия порождает фактическую дискриминацию национальных меньшинств прежде всего при найме на работу, а также при покупке и аренде жилья. При экспериментальных обследованиях на пятидесяти предприятиях юга России, дававших объявления о найме работников, было установлено, что более чем в сорока процентах случаев отказ от приема на работу мог быть квалифицирован как проявление дискриминации национальных меньшинств.

В вертикальном государстве законы защищают власть и политический строй, а не рядового человека. В этом фундаментальная проблема постсоветского, в том числе и российского законодательства в сфере защиты прав человека — оно декларативно и лишь имитирует защиту гражданина. А в таком

случае оно не только не способно предотвратить массовые волнения и межгрупповые конфликты, но и само провоцирует их.

**И. Д.:** **Значит, дело в «полноценности» демократического устройства общества, при котором все же можно противостоять если не ксенофобии сознания, то ксенофобии действия?**

**Э. П.:** Да, на мой взгляд, демократическое правовое государство способно противостоять разрушительным последствиям ксенофобии (в частности исламофобии), хотя и не может предотвратить взрывные подъемы фобий в массовом сознании, так же как оно не в силах предотвратить глобальные экономические кризисы или экологические катастрофы. Полагаю, что стоит изменить традиционную постановку целей политики в отношении ксенофобии. Такая политика должна быть направлена не столько на манипуляцию массовым сознанием с целью выдавливания из него фобии, сколько на предотвращение *перехода ксенофобии идей и оценок в ксенофобию действий*. Иными словами, речь идет о переносе усилий властей и общества на блокирование опасных последствий любых перемен в массовом сознании. И такой барьер способно выставить демократическое правовое государство, контролируемое гражданским обществом и опирающееся на него. Присущие такому государству политические условия *создают возможность выживания, самореализации и обеспечения безопасности меньшинств даже в условиях сравнительно высокой ксенофобии как состояния массового сознания*.

В России сложились лучшие, чем в США, историко-культурные предпосылки для дружественного, партнерского взаимодействия исламских меньшинств с большинством населения страны. Но как наши богатейшие природные ресурсы не сделали Россию богатейшей страной мира, так и благоприятные для дружбы народов историко-культурные предпосылки зачастую не осуществляются в реальном взаимодействии людей. В восьмерке ведущих стран мира Россия лидирует, к сожалению, не по своим экономическим достижениям и не по уровню друженности межгрупповых отношений, а по числу террористических актов и крупных межгрупповых столкновений на этнической, а в последние годы уже и на религиозной основе.

В России иные, чем в Америке, история исламского сообщества, его численность, расселение и характер взаимоотношений с большинством населения, но, несмотря на всю российскую специфику, у нас давно назрела необходимость восприятия универсальной тенденции разгосударствления и «гражданзации» религии — включения религиозных сообществ в систему институтов гражданского общества. Еще очевидней необходимость создания в России и воплощения в реальную судебную практику антидискриминационного законодательства, соответствующего мировым нормам. Вопрос лишь в том, возможны ли эти частные преобразования при сохранении в стране политического режима нынешнего типа?

---

# Осознание границ или жизнь за заборчиком?

*Литературные итоги 2012 года. Заочный «круглый стол»*

Мы предложили участникам — литературным критикам — ответить на два вопроса:

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

Из мозаики субъективных мнений, а порой и весьма пристрастных оценок (если угодно — «вкусовщины») не только складывается жанровое полотно отечественной словесности и ее окрестностей, но и прорисовывается коллективный портрет самой сегодняшней критики.

*Евгений Абдуллаев (Сухбат Афлатуни),  
прозаик, поэт, критик, г.Ташкент*

## «Тишина, и дождик идет...»

1. В словесности событий мало. Какие в ней события? Одни буквы. Слова, строчки, книги. События — вокруг нее.

Словесность живет *со-бытием*, бытием в слове.

А вот то, что вокруг — да, *событием*. Тут важнее не слово, а резонанс. Как наше слово отзовется. Словесность — это такое Переделкино или любое другое бесшумное место. Какие в нем события? Одни дачи и осень. События происходят рядом, вокруг. В условно говоря — Москве.

Событие — это не обязательно плохо. Иногда хорошо. Просто оно за пределами собственно словесности.

Если говорить о событии — именно о событии — года, то таких могу назвать два. Два текста. Оба к литературе напрямую не относятся. Оба где-то рядом с ней, хотя и с противоположных сторон. Это «панк-молитва» Pussy Riot. С другого края — «Несвятые святые» архимандрита Тихона (Шевкунова). Первое — раскололо общество. Или вскрыло существующий раскол. Второе — соединило расколотовое. О чем говорит не только количество читателей, но их качество. Читают «Несвятых» не только воцерковленные; читают все. И книга этого заслуживает. Но это не литература, это другое. Так же, как и «панк-молитва» — это не поэзия. Это *событие*. Антисобытие, точнее.

А в словесности — тишина, дождик идет. Солнце вышло. Спряталось. Буквы на бумаге возникают. На мониторе. Романы, повести и рассказы. Прочел вот нового Андрея Волоса, «Возвращение в Панчруд». Это о Рудаки. Поэт оказался слишком

близко к власти. Поэта ослепили, дали новый халат, поводыря. Иди, говорят. Возвращайся на родину. В Панчруд, землю его детства, его предков. И поэт пошел; об этом роман. Еще читал «Музей имени Данте» Глеба Шульпякова. Тоже роман возвращения. Но родины у его героя уже нет (слишком изменилась: бывает такое — не человек изменяет родине, а родина человеку). И поводыря нет. Только одно прошлое. Такой вот личный «панчруд». «Музей имени Данте». Но он — внутри, в голове, и вернуться в него нельзя. Еще прочел «Снежных немцев» Вачедина. Тоже — о возвращении. Из России — в Германию, из Германии — в Россию. И тоже — невозможное возвращение. На очереди теперь «Учитель цинизма» Губайловского. Но это все проза. О стихах (сборниках) этого года пишу отдельную статью. Там все скажу.

2. Все-таки промолчать о поэзии не получится. Потому что ее в основном и читаю. В том числе и «ближнего зарубежья».

Илья Риссенберг, поэт из Харькова. Книга «Третий из двух» (2011). Достаточно безумная, чтобы быть поэтической. Вообще в современной лирике туго с безумием. Имитации имеются. Осторожные, филологически аккуратные его имитации. А вот так, чтобы говорить и заговариваться, этого сейчас мало. У Риссенберга получается.

Чиста, мучительна, ветвиста  
Мечтает мульча снегом сесть;  
Сыночку из пакибытия  
Приносит сон благу весть.

Ведет беседу сонных кушей,  
Под стать плечам библиотек,  
Печать небытия несущий  
Небесный путник человек.

Он вспомнил медленную почву...  
В саду на почве меледа...  
И долу истекала ночью  
Пучина, полная стыда.

Насыщен млечный свет из кринки,  
Часы настенные смешны,  
Мелькнули шаткие искринки  
Всеукраинской тишины...

Человек, написавший это, должен не ходить по земле, а бегать по воздуху. Небесный путник; персонаж Шагала.

(Правда, я видел Риссенберга: он ходит по земле. Но очень быстро. Почти летит. Едва за ним поспеваешь. Но это — так, в скобках.)

Или совсем другой поэт. Олег Завязкин, Донецк. Книга вышла в серии «Русской премии» (2011). Называется «Малява». Интересная попытка построить лирику на блатном фольклоре. «Над заснеженной зоной / воспарил тенорок. / Ни студёно, ни сонно — / катит под гору срок». Лирика есть; боли — внутреннего нерва «тюремной поэзии» — маловато. Возможно, сказывается отсутствие соответствующего личного опыта (и слава Богу). А может, и не в этом дело. Просто чувствуется какая-то тавтология: стихи о тюремно-воровском быте пишутся тюремно же воровской лексикой. Мы, конечно, все помним, что Блок стилистически опирался на цыганский романс. Но писал-то он этим стилем не о цыганах и не о любовях роковых. А все больше о нездешнем: темные храмы, Прекрасная Дама. Так и в «Маляве» — удачнее те места, где поэт отходит от «малявной» темы. Например, в стихотворении «Ичкерия»:

Блажен, кто первым войдёт в побеждённый город.

Он увидит мокрые статуи богов дождя и земли,  
искуснейшую резьбу со сценами травли вепря,  
клячьи сажи, что сыплются в щели ветра,  
и множество мёртвых, скорчившихся в пыли.

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

Блажен, кто последним войдет в побеждённый город.  
Он увидит ржавую тряпку в колесе госпитальной фуры,  
чумную воду, что плещет во рву и слепит глаза,  
мёртвую пегую лошадь, одичавшего пса...

А следом в город войдут каменщики и штукатуры.

Так что вот, два поэта с Украины. (Или из Украины? Предлог, ставший предложением не к одной филологической баталии.) Вообще Украина из «ближнего зарубежья» как-то больше всего радует в плане русской словесности. Украина... В целом же ощущается легкий привкус истощенности. Представителям самого «младшего» заметного поколения русских литераторов в бывших советских республиках — уже под сорок. Или за сорок. Если появляется кто-то моложе, сразу уезжает. В Москву, куда угодно. Что-то талантливое пишется и на своих национальных языках. Наверное. Но это без перевода не поймешь. А чтобы переводилось, должны быть свои — украинские, грузинские, местные, в общем — талантливые русские литераторы. Такой замкнутый круг. Но это я уже на другую тему отвлекся...

*Николай Александров, литературный критик,  
обозреватель радио «Эхо Москвы», г. Москва*

## «Последнее время как-то обходится без тенденций»

1. У меня этот год связывается прежде всего с двумя текстами, и оба они принадлежат перу французских авторов. Что, в общем, довольно странно, потому что французская литература за последние года два значительно потеряла в весе.

Первый текст — «Благоволительницы» Джонатана Литтелла. Здесь удивляет все: масштаб замысла (вся история Второй мировой войны глазами одного человека), герой — офицер СС, характер письма (полное отстранение) при тщательном историческом (журналистском, я бы сказал) расследовании, включение документов и мемуарных свидетельств в художественную ткань романа, то есть не просто включение, а растворение их в повествовании, наконец, собственно литературный замысел, символическая (из греческой трагедии идущая) основа романа. Такого уровня текст давно не появлялся.

Вторая книга — «Ладья Харона» Паскаля Киньяра. Здесь как раз прельщает раскрепощенность и свобода письма, непринужденное нанизывание исторических сюжетов, лирических размышлений на общий тематический стержень — переправа, переход из одного плана существования в другой, метаморфозы бытия.

О тенденциях года судить не берусь, просто потому, что последнее время как-то обходится без тенденций. Можно отметить литературный эксперимент Дмитрия Данилова, но он исключителен и, собственно, этим и интересен. (См.: Александров Н. Опустошенное пространство. — «ДН» № 9, 2012. — *Прим. ред.*)

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

2. Не знаю, можно ли это считать примером литературы «ближнего зарубежья»: на меня очень большое впечатление произвела книга Елены Бочоришвили «Голова моего отца». Я с большим вниманием отнесся к ней после рекомендации Владимира Сорокина. Действительно — очень сильный, энергичный, свежий стиль, замечательная изобразительность. Отличный сборник прозы.

*Роман Арбитман, прозаик, критик, г. Саратов*

## «Не люблю любителей»

«Помните, что именно дилетанты построили Ковчег. Профессионалы построили "Титаник"». Остроумно сказано? Да. Хлестко? Да. Верно? Процентом на пять. Остальные 95 % — это не легенды, но реальность, и она отнюдь не в пользу дилетантов. Увы, в 2012 году прибавилось книг, авторам которых приятнее заниматься чужими делами. Эти люди, похоже, уверили себя (и уверяют других) в собственной универсальности.

Вот видный российский адвокат Павел Астахов выпускает в свет (в соавторстве с Т. Устиновой) детективную мелодраму «Я — судья. Кредит доверчивости». Понятно, что в условиях, когда подлинно независимый суд и по-настоящему состязательный процесс в России отсутствуют, адвокату неохота быть мальчиком для битья у Фемиды. Но разве читатель в том виноват? Ему, бедному, зачем страдать? Да, авторы обуреваемы благородной миссией — доказать, что женщины-судьи тоже чувствовать умеют, — но благими намерениями дорога вымощена известно куда. Сюжет разваливается, концы не сходятся с концами... «Его желание после неудачного брака снова заполнить свою жизнь семейными отношениями обернулось крахом и попыткой суицида второй половины» — вот образчик авторской стилистики, и не худший (вероятно, это писала соавтор Устинова). Соавтору Астахову, вероятно, привычнее использовать юридический канцелярит: «По новому Гражданско-процессуальному кодексу судья вообще может рассмотреть дело с теми доказательствами, что принесли в суд истец и ответчик, не запрашивая у сторон иных бумаг и документов», «преступниками они еще не были, следствию предстояло доказать это в гласном открытом судебном процессе. Презумпция невиновности распространялась на всех». Понятно, что это не литература. Но это вовсе и не беллетристика. Это машинное масло, которое даже не притворяется сливочным...

Вот раскрученный прозаик Герман Садулаев, до сих пор не проявлявший особой склонности к историческим штудиям, публикует труд об истории Чечни под названием «Прыжок волка». «Я люблю свой народ как-то так, спокойно и не теряя рассудка», «история — это предмет, с которым нужно быть предельно осторожным», — справедливо замечает Садулаев, но забывает о декларируемых благих намерениях. По ходу повествования автор как бы между делом задирает то осетин (упрекая их в том, что они, мол, «присвоили» древних аланов), то дагестанцев («перемещая» древний хазарский Семендер из Дагестана в Чечню), то грузин и русских (цитата: «после грузин не только Мышкин может быть князем, а вообще кто угодно»). Больше всего достается, однако, евреям. Временами текст «Прыжка волка» начинает смахивать на передовицы прохановской «Завтра»: особенно в тех случаях, когда писатель заводит речь

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?



про «олигархов-иудеев», которые-де в массовом порядке занимались работоторговлей «по всей Европе, в Азии и Северной Африке». Вы знали, например, что «Киевскую Русь варяги основали именно для удобства торговли рабами»? Вы знали, что древний Киев — это «еврейско-варяжский город, пристанище ростовщиков, работоторговцев и спекулянтов»? Предвидя упреки в необъективности, Садулаев бодро замечает: «я не антисемит и не нацист, а коммунист и интернационалист», — а потом снова пишет, что «работоторговля была делом правящих кругов всего мира, но совершали ее руками евреев». И так далее, и тому подобное. Впрочем, на всякий случай автор считает нужным оговориться: мол, все, что написано в этой книге, может не совпадать «в том числе с позицией и мнением самого создателя данного труда, изложенными им ранее или позднее». Прямо как в анекдоте: «У меня есть мнение, но я с ним не согласен...»

Вот историк русского средневековья Дмитрий Володихин, прежде не написавший ни строчки о современности, пишет (вместе с Г. Прашкевичем) для серии «ЖЗЛ» книгу о братьях Стругацких. Что в результате? Сочинение в эдаком конспирологическом духе; все замеченные (чаще домысленные) «фиги в карманах» Стругацких явлены читателям. Чего стоит, к примеру, удивительный совет вырезать из «Трудно быть богом» семь монологов и один диалог, чтобы составить некий философский трактат. Или утверждения о том, будто в названном романе «между Традицией и фашизмом поставлен знак равенства». Или обсуждение идиотского слуха о том, что в 60-е годы Стругацких якобы приняли в масонскую ложу. Авторы вольно или невольно маргинализируют героев, превращая их в разрушителей-ниспровергателей, в неких гуру для безбашенной «демшизы». При этом одни и те же цитаты дублируются в нескольких местах, повесть «Путь на Амальтею» перепутана с «Пикником на обочине», XX съезд КПСС — с XXII, Петроград — с Петербургом. В одном месте читателю безапелляционно объявляют, что Антон из «Трудно быть богом» — это Антон из «Попытки», а через сотню страниц говорится о том же самом, но уже в осторожно-предположительном ключе. Начальная фраза из Мелвилла «Зовите меня Исмаэль» тут почему-то выглядит как «Зовите меня Израэль».

Вот журналист Дмитрий Петров, ранее не замеченный в сочинении байопиков, выдает на-гора биографическую книгу о Василии Аксенове — тоже для серии «ЖЗЛ». Собирая материалы о детстве писателя, биограф опрашивает родных и знакомых героя, а когда материала не хватает, просто дает волю репортерскому воображению. Об Аксенове 40-х, к примеру, написано так: «Тогда же у будущего писателя возникло уважение к синим джутовым брючатам — как-то, перелезая через забор, он зацепился за гвоздь и повис. А штаны — выдержали. Надо сказать, что качество джинсов с тех пор заметно ухудшилось». Узнали, откуда байка? Верно, из повести Гайдара: «Мать сшила мне гимнастерку и штаны из какой-то материи, которая называлась "чертовой кожей". Кожа эта действительно, должно быть, была содрана с черта, потому что когда однажды, убегая из монашеского сада от здорового инока, вооруженного дубиной, я зацепился за заборный гвоздь, то штаны не разорвались и я повис на заборе...» Хотя во времена Аркадия Гайдара не знали слова «джинсы», эпизод в повести «Школа» вышел, согласитесь, куда живее. Временами Д. Петров пробует писать «художественно». Когда повествование доходит до магаданских эпизодов (Аксенов приехал к матери, вышедшей из сталинского лагеря), автор форсирует дикую пафосность, взятую напрокат из бульварных мелодрам: «Их глаза встретились. Вмиг возродилась связь времен, неисчерпаемая близость, что рвали годы

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

разлуки, жизни среди чужих. (...) Исполненная ожидания несправедливой кары и муки расклеванная дневная юдоль и ночная пурга Магадана обожгли Аксенова на годы». И тому подобные мексиканские страсти...

Примеры можно множить. Юморист и шоумен Михаил Задорнов отважно погружает читателя в дебри языкознания, удивляя мир необычайными (как ему кажется) открытиями. Детективщица Полина Дашкова делится своими ценными историческими соображениями о пакте «Молотов—Риббентроп» (мы-то до нее ничего об этом не знали!). Организатор теледуэлей Владимир Соловьев выпускает графоманские романы-откровения, где скромненько отводит себе место апостола при Мессии. Актер и драматург Евгений Гришковец, еще вчера не находивший в себе таланта философа и культуролога, выпускает книгу эссе об Искусстве. Прозаик Михаил Веллер печатно пропагандирует Теорию Всего Сущего... Список длинный, конца ему не видать. К сожалению, дилетантизм — это не просто милое чудачество, а болезнь, небезобидная для окружающих. Если сапоги тачает пирожник, то всем, кто носит эту обувь, обеспечена пожизненная хромота. Если пироги берется печь сапожник, лучше заранее вызывать «скорую помощь». А если на магазинных полках место книг, созданных профессионалами, постепенно займут книги любителей, разрухи в читательских головах уж точно не избежать.

*Андрей Архангельский, критик, г. Москва*

## «Герой придет со стороны»

1. «Описание города» Дмитрия Данилова: борьба с «разговорами», с «новизной», с «интересненьким».

Я пишу свои песни от лица идиота, говорил Галич. Данилов тоже пишет свои книги от лица идиота, но, так сказать, метафизического. «Описание города» не так бодро, как «Зеленое и черное», и не так концептуально, как «Горизонтальное положение», зато лучше других книг выдает истинную цель Данилова — исчезнуть из товарного оборота.

Кризис капитализма — это когда товарно-денежные отношения переносятся на общественные, человек человеку становится товар. Об отчуждении писали фрейдомарксисты, но 30 и 20 лет назад этот опыт был для нас неактуален. Сегодня отчуждение никуда не делось, но приобрело еще более изощренные черты: кризис коммуникации, например, проявляется сегодня именно в непрерывной, безудержной говорильне.

Проза Данилова — это реакция на перепроизводство самоидентификации. То, что должно было бы способствовать коммуникации между людьми — медиа, общение, музыка, — становится средствами декоммуникации. То, что должно было бы способствовать формированию личности, привело к ее размыванию. Личности стало слишком много, ее начали требовать при приеме на работу — соответственно, появилось множество способов ее симуляции. Люди не разговаривают, а занимаются тотальной самопрезентацией, продают друг другу свои имиджи. Общение стало подобно работающей электростанции. Чем дольше ты умеешь поддерживать этот гул, тем выше твоя ценность.

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

В предыдущих книгах Данилов посмеивался над этим, в «Описании города» автор решает противопоставить этому гулу некое новое молчание.

Но болезненная реакция на пустословие — тоже болезнь, типично интеллигентская — во всем искать смысл. Данилов хочет преодолеть и этот комплекс: «Тупо сидеть и ехать... Такой-то район, эти домики какие-то пыльные, скучные, унылые, и не хочется выходить ни на одной остановке, выходить и идти или стоять среди этих скучных сонных домиков, одна остановка, другая, третья, выходить не хочется, потому что, во-первых, изначальная идея была доехать до конечной, а во-вторых, потому что как-то не из-за чего выходить («Описание города»).

Итак, отказ от товароборота слов; отказ (поначалу) от навязчивого поиска смысла.

Обратной стороной этого молчания становится некое выпадение из действительности («писать в состоянии полусна», как назвала это Анна Наринская). На самом деле это тяжелая работа, своего рода феноменология, очищение от личной заинтересованности, наблюдение за собственным наблюдением. Тут нужно слушать город, но одновременно нельзя и сильно вслушиваться. Метод Данилова — рассматривать городское пространство как набор шумов, в котором человеческий голос ничуть не важнее гула прибывающей электрички. Только воспринимая этот гул как единое, как симфонию, можно примириться с антиэстетичностью жизни.

Литература — это, собственно, сверхудовольствие от литературы. Все остальное — техника. Как, из чего добывать крупницы сверхудовольствия — уже личное дело писателя. Добыча этой пыльцы в России сегодня сильно сократилась — по многим причинам. Вроде бы месторождения остались — например, энергию можно высекать из прошлого — из описания войн, разрухи, распада, революции. Можно добывать ее из искусственных материалов — то есть, выдумывая сюжет и героев, — но это, надо сказать, выглядит все менее убедительно. Можно и из реальности — но реальные персонажи также не вштыривают. Лакан учил, что люди являются зеркалами друг для друга, но он не учел, что люди могут быть отражениями медиа. Фольклористам еще в конце 1970-х перестали быть интересны так называемые бабушки в деревнях — потому что они стали петь как в передаче «Играй, гармонь». Сейчас двое транслируют друг другу отражение одного и того же глобального Третьего — условного телевизора или «Ютьюба». Человек, выращенный медиа, становится категорически лишенным собственного варианта побега из этого мира. Радикальное бегство сегодня — это молчание.

В этом, вероятно, фундаментальная проблема литературы — вдохновение сегодня приходится высекать из отрицания, из некоторого даже отупения, полусна.

...Формально в «Описании города» нет ничего нового. Какой-нибудь советский писатель тоже садился в электричку, ехал за тридевять остановок, и сходил на тихой станции, где трава по пояс. Но дальше легко представить, что было — что вот он нашел рыжик и два белых, а потом окликнул неприветливую старуху, которая оказалась местной праведницей — или знакомился с сельским сторожем Пахомычем, который и пьет, и матерится, и мало кто знает, что в прошлом он сжег десять фашистских танков. А мы с вами, благодаря писателю, теперь — знаем. Так писатель выходил в рожь, в неизвестность, а возвращался с символической добычей, с поучительным итогом.

Задача Данилова в том, чтобы пройти этот путь 12 раз подряд (по числу месяцев) и принципиально ничего «нового» не обнаружить. Не встретить никакую старуху и

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

не познакомиться ни с каким Пахомычем. А напротив, как-то беспробудно потерять себя. Любой очеркист испорчен таким поиском «интересненького» — и Данилов противопоставляет этому свой форменный идиотизм. Он читает местные газеты и ездит на электричках с мутными стеклами. Он молчит. Он ничего не хочет знать, по большому счету: это и есть гарантия подлинного, как ему кажется, узнавания. Это борьба с еще одним медийным фетишем — постоянным настроением современного человека на «новизну», «свежие впечатления». Но одновременно и аскеза. Собственно, проза Данилова — это род очищения. Попытка примириться, полюбить повседневность («Если живешь здесь — как это можно не полюбить?»).

Задача, которую он решает на самом деле, — узнать, может ли стать русское пространство сюжетом (ту же попытку двумя годами раньше проделал Владимир Сорокин в повести «Метель»).

Тут еще интересно: почему город, а не, скажем, вид из окна (как поступил кинодокументалист Виктор Косаковский — «Россия из моего окна», 2003 г.)?..

Дело в том, что город для России — это диковинка до сих пор. Россия — это непрестанное удивление городу. Если вам доводилось посещать города за пределами Москвы, на Урале, например — там есть такое странное ощущение, что вот стоят отдельные дома, дороги и трубы, но они не складываются в нечто единое (2/3 Москвы в этом смысле ничуть не лучше). Непонятно, «о чем этот город?» (Григорий Ревзин). Суть относительно молодого русского города в том, что его даже еще не существует. Есть две-три улицы в центре, одну из которых в 2000-е годы сделали пешеходной, а сбоку приставили какой-нибудь первый в крае бантик-небоскреб, построенный братьями Серыми, бывшими бандитами, а ныне главными застройщиками при губернаторе. А дальше ничего нет, все разваливается на фрагменты, на слободки. А «старый город», который в европейской части (300 и больше лет) сложился, со всеми его церквушками и переулками, но внутри он тоже — мертвый, как выясняется. «Место, где стоял дом, в котором жил выдающийся русский писатель, представляет собой просто пустое место, огороженное железным забором. Сквозь щели в заборе можно осмотреть пустое место, этим забором огороженное» («Описание города»).

Реальный центр жизни переместился, пишет Данилов, за город, где построили гипермаркет (название которого, как правило, «совпадает с названием самого города»). Там стоянка, развлекательный центр с кинотеатром, новый стадион, оптовый, вещевой рынок. Там страсть, там и жизнь. Таких мест в городе может быть несколько, и от центра их отделяют какие-то куски «дикой природы». Фактически, мы имеем дело с появлением новых человеческих стоянок — или, если угодно, человеческих парковок (поскольку человек теперь неотделим от автомобиля).

Поверх навязанных в разные времена смыслов города (военных, охранительных, культурных, рабочих) накладывается сетка стихийных, низовых. То есть город и люди постоянно не совпадают. И люди в городе заняты тем, что постоянно ищут себе город. «...Получается, что все водители маршруток постоянно создают по всему городу сотни разовых, на несколько секунд, остановок, которые тут же упраздняются, и вместо них тут же создаются новые остановочки, две сети, две системы — одна состоит из обычных стационарных остановок общественного транспорта в виде в той или иной степени уродливых павильонов с неудобными скамейками, а другая — из вот этих в мгновение ока рождающихся и умирающих невидимых остановочек, создаваемых и уничтожаемых водителями маршруток» («Описание города»).

Я не буду скрывать, что Данилов мне ближе, пожалуй, чем любой из ныне живущих писателей. Старая формула: «писать нужно только тогда, когда можешь не

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

писать» — она не универсальна, и может быть сегодня даже несколько лжива. Если по-хорошему, я верю только в единственную писательскую мотивацию: писать, чтобы спастись. Данилов по своему складу относится, вероятно, к тому типу писателей, которые очень рано, с детства, осознают всю бессмысленность жизни. Такое понимание вызывает дикие приступы лени, физической и умственной, и те, кто ругают такого человека за лень, не понимают, что это не совсем та «лень», не физическая. Это все равно, что упрекать море, скажем, или небо. Дело в том, что такой человек удаляется от мира «бодрых» осознанно, поскольку не видит необходимости в присутствии собственного тела. Совершенно рациональное решение, оно объективно и рассудочно. Чтобы жить, такому человеку физически необходимо ставить перед собой какие-то формальные цели — поставить чайник, помыть посуду, написать книгу — иначе он может исчезнуть. Такому человеку смешна даже сама по себе мысль о том, чтобы выдумывать какой-то «сюжет» и «героев» — когда надо спасать себя. Он должен постоянно щипать себя за нос, тащить за волосы, находить какой-то центр, точку опоры и отсчета. Именно поэтому Данилов постоянно ставит себе формальные задачи — описать год или описать город.

Новый город всегда в этом смысле рождает ложную иллюзию — возможность переложить ответственность за собственное не-существование на некое чужое собрание домов, каналов и людей. Но что у нас в конце получается? Вместо того чтобы опереться на «чужой» смысл, писатель вынужден подыскивать смысл самому этому городу — уподобляясь атланту из старой песни, который должен держать небо. Есть в конце комичный момент, когда автор сидит, уткнувшись взглядом в песочницу без песка, фактически даже без досок — и совершенно непонятно, в общем, почему это называется «песочницей». Умом эту песочницу, какие часто встречаются в наших городах, не понять, в нее можно только верить. И вот он сидит и повторяет: это песочница, песочница, песочница — и вот примерно так же он повторяет: это город, город, город, и я о нем пишу, пишу, пишу. Лет 10 назад в «НГ Экслибрисе» появилась занятная статья о том, что русское пространство за 200 лет по сути не описано даже — за исключением двух десятков городов и десятка лесов между ними. То есть литературно Россия даже не освоена, не закреплена и именно поэтому так ненадежна. Описываемый Даниловым город бессмыслен, как и большинство, чего уж тут скрывать. Писатель тут нужен, возможно, именно для этого — чтобы спасти этот город, придумав ему хоть какой-то смысл. Одним фактом «задумывания» об этом городе, потому что его жителям и всем остальным не до того.

2. Про зарубежных (ближнесоседских) авторов ничего не скажу. Дело в том, что наши дела в этом году куда как интереснее. Поэтому — о главной тенденции года. Это был год триумфального возвращения колумнистики, эссеистики и публицистики. Понятно, что кукушка хвалит свое болото, что толчком к ренессансу стали события декабря 2011-го, далее всем хорошо известные. Но я не об этом. Где-то в начале 2000-х нам, журналистам, в широком смысле объяснили, что наше мнение нафиг читателю не нужно; что читателю «нужны факты» и наша задача — их ему дать, а дальше он сам разберется. И в течение 2000-х все творческое, небанальное и художественное в газетах и журналах было отселено в гетто под названием «колонка». Причем поначалу считалось, что эти колонки должны вести «известные люди». То есть, как это делалось: ты звонил известному актеру или певцу, включал диктофон (не самим же им писать, в самом деле), переслушивал записанное, рвал на себе волосы и наконец понимал, что единственный выход — придумать за известного человека не только слова, но и мысли. Они соглашались, кстати, почти всегда. Потом колонки

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

опять стали потихоньку писать журналисты. Потом, где-то ближе к концу нулевых, выяснилось, что никакие «факты» не заменят настроения и ощущения. Затем выяснилось, что на колумнистов есть отдельный спрос. В начале десятых пришлось признать, что колонки отдельных журналистов читают лучше и активнее, чем сами издания (речь, конечно, о таких авторах, как Дмитрий Быков (в ипостаси публициста), Олег Кашин, Юрий Сапрыкин, Григорий Ревзин, Александр Морозов, Иван Давыдов, Кирилл Рогов). Наконец, кто-то (кажется, нынешний редактор Опенспейс Максим Ковальский) сформулировал: «Кашин... (нужное имя подставить) — это самостоятельное издание». Читают не газеты-журналы, а имена (Интернет этому способствует). Отдельный журналист победил газету с ее «фактами». Важнее стала репутация пишущего, а не газеты. Так прошедший год стал триумфом личности в журналистике.

Какое все это имеет отношение к литературе?..

Точно такое же презрительное отношение к журналистам, как к недо-, есть и в среде литераторов. Собственно, литераторы тоже считают, что журналист должен заниматься «своим делом», а писатель — каким-то таким «своим».

Между тем все перечисленные авторы, кроме прочего, обладают немалыми литературными способностями. И их тексты — о чем бы они не писали — в первую очередь опираются на ту самую русскую литературную традицию. Они в большей степени художественны, чем многие художественные тексты. Не говоря уже о том, что оригинальнее. И при этом они еще и актуальны. Условный американский концепт (писатель-профессионал, делатель суперкниг и серий) сменился условно французским: автор просто рождает идеи и слова, а как его называют, по какому он проходит разряду — критик, писатель, собиратель бабочек — не важно.

Именно эти люди, колумнисты, поддерживают сегодня интерес к литературному слову. Не журналисты, пишущие литературу (это скучно) — но именно журналисты, пишущие колонки, эссе и публицистику. Здесь, мне кажется, сегодня — жизнь. Литература все ждет, что какой-нибудь герой вдруг изнутри появится. Но более вероятно, что он сегодня придет со стороны. Из смежной области. Замкнутая писательская среда себя исчерпала — как и сюжетная проза. Чтобы вернуться, литературе нужно уйти — в ту же публицистику, возможно. Выйти из себя. Другого пути я не вижу.

*(Окончание в следующем номере)*

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?



*Илья Фаликов*

## Кладбище паровозов

*К 100-летию Ярослава Смелякова*

Ярослав Смеляков — тот случай, когда разговор о поэте надо начинать с биографии. Есть нечто значительное в том факте, что, родившись в декабре по старому летосчислению, волей истории — или звезд небесных — новорожденный по документам угодил в январь следующего года, это от него не зависело, и с этого все началось. 1912-й стал 1913-м. Русский, он появился на свет в Белоруссии. Крестьянин по месту рождения, сын рабочего, вырос в городе, провинциал — в столице. От земли — к типографскому станку, от сохи — к звездам: поэзия завладела мальчишкой достаточно рано. В молодых стихах он постоянно отмечает свой возраст — от семнадцати до двадцати семи. В девятнадцать лет он был уже автором маленькой книжки, изданной в библиотеке журнала «Огонек», сразу вслед за ней вышел книгой в Гослитиздате. В двадцать лет он готовит однотомник, который не состоялся из-за ареста автора.

Выпускник полиграфической школы, первое стихотворение (в журнале «Октябрь») и книгу свою набирал сам. Перепад статуса потрясал. Уже достаточно, чтобы сломаться.

История не мелочилась. Ближайшие друзья (о них ниже) чуть позже погибнут в узилищах. Он уцелевает, но в двадцать один год гребут и его. Первая отсидка.

К той поре он состоит в самых перспективных поэтах новой эпохи, о нем пишут, спорят, его узнают на улицах и в литературных коридорах. Свидетельствует Константин Симонов: «...кто-то из моих товарищей, ходивших вместе со мной на занятия в литературную консультацию Гослитиздата, шепнул: "Это Смеляков", — показав глазами на спускавшегося навстречу нам по лестнице невысокого худощавого молодого человека в мешковато и даже как бы косовато сидевшем на нем пиджаке, с решительным и серьезным лицом и крепко и словно бы насмешливо зажатой в углу рта папиросой...»

Папироса — естественно, от Маяковского. «Высока его высота, / глаз рассерженный смотрит косо, / и зажата в скульптуре рта / грубо смятая папироса».

Известности Смелякова и Симонова со временем сравнялись, а потом симоновская слава и вовсе не имела пределов. Перед Смеляковым же упал тяжелый шлагбаум. На первой отсидке (1934–1937) судьба не успокоилась.



Конец 30-х он прошел по касательной относительно зоны, трудился в газете со славным именем «Дзержинец», при трудкоммуне им. Дзержинского и некоторое время — в аппарате СП СССР. До сорокового года он отвоевал рядовым на незначительной Финской войне, началась война великая, и тут его биография расходится по двум версиям. По одной — по-видимому, официальной — он воевал на Северном и Карельском фронтах, попал в окружение (1941) и финский плен. По другой версии, финны в некотором роде освободили его из советского лагеря, определив на ферму. На то время для всех, кто его знал и не знал, он канул в небытие, друг Долматовский пишет стихи его памяти. В сорок четвертом между СССР и Финляндией происходит обмен военнопленными — Смеляков материализуется и попадает на родимую зону, где его долго проверяют на вшивость, после чего, в сорок шестом, отправляют на химию, не в позднейшей терминологии, а в плане невольнической работы на химкомбинате (Новомосковск, тогдашний Сталиногорск). Там он в каком-то смысле делает карьеру: от работяги до банщика, от банщика до газетчика («Сталиногорская правда»).

Москва для него закрыта, он навещает ее по-тихому, однако, по освобождению в сорок восьмом, тот же Симонов помогает ему легализоваться и трудоустроиться. Выходит книга «Кремлевские ели». Это происходит с сорок восьмого по пятьдесят первый, когда по доносу то ли одного, то ли двух братьев-поэтов (опять белое пятно, равное темному месту) возникает 58-я статья, 25 лет, перед ним вновь отворяются гостеприимные ворота зоны. Теперь — Инта, здоровый воздух Приполярья. По амнистии — без реабилитации — возвращается в Москву то ли в пятьдесят пятом, то ли в пятьдесят шестом. Такая жизнь. «Тихо прожил я жизнь человека».

Она стала кардинально иной на оставшемся отрезке пути. Он скончался 27 ноября 1972 года, не дотянув месяц с небольшим до шестидесятилетия. За эти 16–17 лет свободы он обрел непоколебимый авторитет в многопоколенческой толще стихотворцев, писал много, печатался еще больше, издавался регулярно (более 30 книг, двухтомник избранного), получил госпремию (1967) и — к его вящей радости — премию Ленинского комсомола (1968).

Вряд ли история литературы слишком богата на подобные судьбы.

Где-то в Сети я увидел: Смеляков — поэт-шестидесятник. Очень неточно. Более того, неправильно. Шестидесятник — это тот, кто пришел в 60-е, заговорил их голосом и стал их голосом. Смеляков пришел тридцатью годами раньше, всю жизнь считал себя поэтом именно той поры, когда у него и у его страны все только начиналось. Другое дело, что две трети из этих тридцати было выбито и изуродовано и его триумф пришелся на закатную пору, исполненную лихорадки стихописания со вспышками озарений и волчьими ямами провалов. Он вписался в новое время — его читали и слушали почти как никого.

Сверстников — и тех, кто постарше, — оставалось негусто, но они были, и некоторые из них прошли похожий путь, похожий, но не столь тернистый.

Был, например, поэт Андрей Алдан-Семенов. Он отрубил вдалеке лет 15–20, написал довольно известный тогда роман о сталинизме «Барельеф на скале», много беллетристики, работал на серию ЖЗЛ, ежевечерне отмечался над рюмкой за столиком Цветного кафе ЦДЛ, сухонький и сморщенный, с печатью несчастья на голом челе, и коллеги знали больше, чем его творчество, тот факт,

что он был первым переводчиком казахского Гомера Джамбула и потом сидел в городе Джамбул. Иногда он печатал стихи. Средние.

Другие стихи были у других «стариков» сходной биографии. Николай Заболоцкий, Леонид Мартынов, Сергей Марков, Виктор Боков, а то и уралец Борис Ручьев — все они оставались в творческой форме, о черной полосе своих жизней не распространялись или говорили в автобиографиях обиняками, как это сделал, скажем, Марков: такие-то годы я провел на Севере.

На авансцене из названных мэтров был, пожалуй, лишь Мартынов (Заболоцкий пребывал в полутени, да и рано ушел), и то за счет того, что было написано давно, двадцатью-тридцатью годами раньше. Это были совершенно изумительные поэмы, большие и малые, от «Тобольского летописца» до «Прохожего» («Замечали, по городу ходит прохожий...»). Нет, и в шестидесятых у него появлялись вещи прежней силы — поэма «Иванов», скажем, и он писал немало остросовременной лирики, однако это был все-таки голос из прошлого, сильный голос из недалекого прошлого. Смеляков, 1967-й: «И сквозь поземку и метель, / как музыки начало, / вдали Мартынова свирель / возлюбленно звучала».

Сергею Маркову принес известность роман «Юконский ворон», но изданные в те годы превосходные стихи прежней поры (великолепная книга «Топаз», 1966) волновали еще и потому, что они свидетельствовали о том, какого поэта все реже посещала муза поэзии: писал он прозу, беллетристику и нон-фикшн на темы истории, географии, этнологии, был путешественником-исследователем, новых стихов у Маркова было мало. Практически как поэт он сошел со сцены — впрочем, на сцену, на свет софитов он и не лез. Он многого достиг в общественном плане: добился, например, установки памятника Семену Дежневу на мысе Дежнева или восстановления Триумфальной арки в Москве — о собственных триумфах не позаботился.

Мартынов и Марков были отмечены даром историзма, и Смеляков — особенно в последнее десятилетие своей жизни — сильно потянулся к истории. Были убедительные результаты.

Я говорю о шестидесятых-семидесятых, я это застал. Некоторых знал лично. С соблюдением необходимой дистанции.

Смеляков активно, что называется, участвовал в литпроцессе. По нраву — весьма нелегкому — он был лидером, ему нравилось рулить, опекать, ругать, учить и помогать. Один молодой поэт (Ф. Чуев) сказал о нем: «Ярослав, князь поэтов московских». Похоже. Он возглавлял секцию поэзии московского отделения СП, постоянно ездил по стране, тут же писал стихи, чаще всего газетные по сути и виду, немедленно их печатал, заседал на всяческих собраниях и в Дубовом — ресторанном — зале ЦДЛ (о себе: «бледное недоброе лицо», «гроза писательского клуба»).

В те поздние его годы — на самом-то деле он был далек от старости — внешне он был художественно выразителен: угловато строен, неплохо скроен, хотя и сутул, прядь темно-русых волос на белом высоком лбу, тяжеловатый исподлобный взгляд, хмурая маска, глубокие складки у рельефно-капризного (вглядеться — по-детски припухлого) рта, крупный клювоподобный нос.

У него есть несколько вещей об орлах. Калмыцких, в частности. По-видимому, ощущал родство. Но он много писал и о собаках, причем безродных и бездомных.

Где-то во второй половине 60-х, помнится, был какой-то вечер в ЦДЛ, в

Большом зале. Вел его Смеляков и начал с того, что вот недавно, мол, дали Ленинскую премию — и не тому, кому надо. Увенчан был тогда (посмертно) Михаил Светлов, а Смеляков с ним конкурировал. Мастер мрачно шутил. Вероятно, он полагал, что едкая эта шутка соответствовала знаменитой искрометной иронии Светлова.

А ведь Светлов — первый, кто напечатал его в журнале. Смеляков считал его первым учителем (наряду с Маяковским!), написал два-три стихотворения о покойном Светлове, полные сердечности и, может быть, раскаянья. За последнее ручаться сложно. Ведущий вечера мог и не запомнить сказанного им, поскольку его, маленького на очень большой сцене, слегка покачивало.

Ему многое прощалось. Возможно, ему прощалось все. Прежде всего — поток никаких стихов, возникавших то в поездке, то за домашним рабочим столом: неумолимая лениниана, бесконечная пролетарская тематика, комсомольское бодрчество с отеческим оттенком. Порой в рядовом, проходном стихотворении блеснет перл поэзии: «Молчат окрестности и дали, / умолкло время в тишине. / Лишь дуновение печали / идет откуда-то ко мне». Катрен из стихотворения «Хамза» (1965), сочиненного в среднеазиатской поездке. Он там много написал, ссылаясь и равняясь на «замечательный опыт» Луговского и Тихонова.

Боюсь впасть в повтор. В недавнем очерке о Владимире Луговском<sup>1</sup> я уже говорил нечто подобное: о разбазаривании дарования. В общем-то, схема та же и причины те же. Но у Смелякова своя трагедия, внесшая в его историю свои краски. На его жизни не было позорных пятен, если не считать таковыми пьяные дебоши или стилистические разногласия с Солженицыным.

В шестидесятых уже не было нужды на каждом шагу клясться в верности партии и пролетариату. Он клялся. Это походило на похмельный синдром, исполненный страхом и вспоминаемых кошмаров. Это было болезнью. В лучшем случае это было анахронизмом. Можно было на это закрыть глаза. Можно было и посмеяться над таким зачином стишка: «Пролетарии всех стран, / бейте в красный барабан!»

Однако. Он так думал, так понимал поэзию и роль поэта. Парадокс: это не было двоемыслием.

Как давно это было! Кажется, на том же вечере добела побледневший Игорь Шкляревский говорил со сцены:

— Я выступаю здесь от имени племени молодого и еще не знакомого...

То племя пришло, то были другие люди, другое время. Лет за десять-пятнадцать до того вернулись стихами смеляковские закадычные друзья — могучий Павел Васильев, певучий Борис Корнилов.

Их ликвидировали почти одновременно, одного за другим, первого в тридцать седьмом, второго в тридцать восьмом. Васильеву было 27, Корнилову — 30. Да, это были совершенно советские ребята, то есть не имели коренных разногласий с лозунгами пролетарской революции, хотя Васильев происходил из сибирского казачества, Корнилов — из нижегородских крестьян. Убийству поэтов предшествовало обвинение их в хулиганстве, плавно, но быстро перетекшее затем в русло борьбы с кулачеством. М. Горький на первом этапе их

---

<sup>1</sup> Илья Фаликов. Улица Луговского. «Новый мир», 2011, № 11.

ликвидации сказал свое веское слово: «От хулиганства до фашизма короче воробьиного носа». Увы, этого не вырубишь топором.

Живой Смеляков выглядел восставшей из-под земли жертвой тех свирепостей. В шестьдесят седьмом он, в ответ на письмо к нему матери Корнилова, пишет «Письмо в районный город»: «Не могу проникнуть в эту тайну, / не владею почерком своим. / Как мне объяснить ей, что случайно / мы местами обменялись с ним? // Поменялись как, не знаем сами, / виноватить в этом нас нельзя — / так же, как нательными крестами / пьяные меняются друзья <...> Юности безумное начало / навсегда осталось где-то там. / Нас тогда носило и качало / по журналам всем и кабакам...» Ср. «Качка в Каспийском море» Корнилова: «Нас не так на земле качало, / нас мотало кругом во мгле — / качка в море берет начало, / а бесчинствует на земле». Смеляков вторит ему (1934): «море Белое нас качало — мы качаем теперь моря». Причудливы пути стиха — лет через тридцать младое племя устами Шкляревского говорит: «Меня раскачивало море! / Но я, качаясь, представлял, / что я раскачиваю море, / и постепенно / раскачал!»

Кумиром юного Корнилова был Есенин, Смеляков молился на Маяковского. Корнилов и в Питер приехал из глубинки в конце двадцать пятого, чтобы отыскать Есенина — опоздал: кумир угас. Смеляков ходил на вечера Маяковского, а потом, в ночи, тихой тенью сопровождал утомленного гиганта, возвращающегося домой. Но чуть ли не так же преданно он ходил и за Корниловым, вживую учась у него, — в юности пять лет разницы не штука.

Прежних кумиров-оппонентов Смеляков позже (1946) свел в «Двух певцах»: «Было давно / два певца у нас — / голос свирели / и трубный бас», завершая эти стихи так: «Дай мне отвагу, / трубу, / поход, / песней победной / наполни рот». Это аллюзия: «Чтоб злобная песня / Коверкала рот» — Багрицкий. Позже Смеляков сказал: «над нами тень Багрицкого витала, / и шелестел Есенин за стеной». К Багрицкому Смеляков приходил домой за живыми уроками стиха и получал их, в частности — умение делать точный, нетрафаретный эпитет; так у него появился, например, троп «Цилиндрическую воду / к рукомойнику несут», а ля Заболоцкий, но — свой.

Все его раннее творчество — откровенная учеба у мастеров, явственно видимых: Маяковский, Багрицкий, Тихонов, Заболоцкий. Это был левый спектр русского стихотворства той поры (на правом фланге начинали Исаковский, Твардовский и проч.). Беспокойная ритмика, не всегда точная рифма, экспрессивность стиля, буйная метафорика, многоплановая композиция, пугающая самого автора тематика: «А подушка у изголовья / чуть примята — / скрипит кровать. / Что мне делать / с такой любовью? / Я боюсь ее рифмовать».

Для поэта, на склоне лет закрепившегося в качественном каноне, это достаточно традиционно: Пастернак или тот же Заболоцкий — ярчайшие свидетельства формального успокоения.

Рядом с ним живший и дышавший Васильев тоже был постарше и — сильно влиял. В тридцать четвертом у Васильева появились «Стихи в честь Натальи», а там — много чего, в частности — такое: «Лето пьет в глазах ее из брашен, / Нам пока Вертинский ваш не страшен — / Чертова рогулька, волчья сыть. / Мы еще Некрасова знавали, / Мы еще «Калинушку» певали, / Мы еще не начинали жить».

Тотчас следом (1934) Смеляков пишет «Любку», это был его первый подлинный успех, в смысле самой поэзии. Самым конструктивным в этой вещи было *подражание*. Если прежде он как бы стеснялся заимствований и старался

их прятать и преодолевать, то здесь, в «Любке», он взял за основу блатной шлягерок тех лет — «Здравствуй, моя Любка...», настолько популярный, что и песенка «Мурка» выросла оттуда же. Так или иначе, появилась вещь, исполненная предельного лиризма, простодушия и иронии, слитых в единую мелодию, ставшую навсегда неповторимой интонацией именно этого поэта. Он оказался виртуозом стилизации. Мещанско-хулиганская первооснова первоисточника каким-то образом сомкнулась с духом рабочей окраины, обнажив их первоначальное единство. При этом автор вроде бы и сражается за белизну пролетарской кости, однако это выглядит вполне амбивалентно: «Гражданин Вертинский / вертится. Спокойно / девочки танцуют / английский фокстрот. / Я не понимаю, / что это такое, / как это такое / за сердце берет?» Павловасильевской непримиримостью не пахнет. Потому как: «Я хочу смеяться / над его искусством, / я могу заплакать / над его тоской. / Ты мне не расскажешь, / отчего нам грустно, / почему нам, Любка, / весело с тобой?»

Цельнометаллического пролетария нет. Он питает неисцелимую слабость к Вертинскому, то есть к тому, что было, казалось бы, в корне противно ему. Через много лет (1972), в череде по существу завещательных вещей из-под его пера выходит «Пьеро»: о нем же, о Вертинском. Специальная, адресная, целиком посвященная классово-эстетическому врагу вещь. Вот ее смысловой центр: «Но все же, пусть не так уж скоро, / как лебедь белая шурша, / под хризантемой гастролера / проснулась русская душа <...> и подобревшая Россия / к себе впустила беглеца».

Это неверно, что поэзия советского периода днем и ночью грезилась о «мире без России, без Латвий» (Маяковский). Русская тема никогда не иссякала. Смеляков: «Я русский по виду и сути».

Сказав выше *подражание*, я больше упираю на старинное понимание этого термина. Ну, скажем, подражание псалму, каковых было немало начиная с осьмнадцатого века. Это происходит намеренно и осознанно. Но есть и другие подражания. Следя за Смеляковым, можно обнаружить его *тягу к антиподам*.

С Пастернаком у Смелякова состоялась встреча прежде всего лексическая. 1957-й, смеляковское стихотворение «В дороге», речь о поезде, везущем комсомольцев на Ангару, течет нарратив, посреди которого *возникает* некто: «...Как раз вот тут-то между нами, / весь в угле с головы до ног, / блестя огромными белками, / возник внезапно паренек. / Словечко вставлено не зря же — / я к оговоркам не привык, — / он не вошел, не влез и даже / не появился, а возник».

Откуда дровишки? Из Пастернака, вестимо. Знаменитое стихотворение «Любимая, — молвы слащавой...», где говорится о сущностном — о славе и почве, с таким катреном: «А слава — почвенная тяга. / О, если б я прямой возник! / Но пусть и так, — не как бродяга, / Родным войду в родной язык». Пастернак сказал как отрезал. Не обговаривая глагола. У Смелякова ушло на оправдание «словечка» целое четверостишие.

Книжную премудрость — науку стихотворства — он постигал, по его слову, «самоукой». Пастернак был тем гранитом, который выходец из рабочей среды грыз долго и упорно, но тайное стало явным, когда была написана «Югославская свеча» (1967). Там и есть эпиграф: «Свеча горела на столе, / Свеча горела», и калькируется ритмика-строфика пастернаковской «Зимней ночи», но речь идет — все-таки полемически относительно Пастернака — о трагическом эпи-

зоде войны на Балканах. Он полемизирует с оппонентом, вооруженный средствами оппонента. Прием, известный не одному Смелякову<sup>1</sup>.

Интимному стихотворению Пастернака противопоставлен военный подвиг. Смеляков и Вертинского честит за «песенки интимные». Само это словечко — «интим» — у него ругательное. Между тем он всю жизнь исправно служил лирике, любовной в частности. В определенное время, в дискуссии на тему «физики и лирики», Смеляков задел Слуцкого: «Я даже и не с тем поэтом, / хоть он достаточно умен, / что при посредстве Литгазеты / отправил лирику в загон». Напоминаю Слуцкого: «Что-то физики в почете, / Что-то лирики в загоне. / Дело не в сухом расчете, / Дело в мировом законе».

Лирика! Удивительно, но «Манон Леско» сложилась в сорок пятом году, победно-пафосном. Вещица эта — о представительнице весьма свободной любви, о свободе вообще в таком вот ее изводе. Он томится в заключении, многое приходит на ум. «...Это было десять лет назад. / По широким улицам Москвы / десять лет кружился снегопад / над зеленым празднеством листвы. // Десять раз по десять лет пройдет. / Снова вьюга заметет страну. / Звездной ночью юноша придет / к твоему замерзшему окну. // Изморозью тонкою обвит, / до утра он ходит под окном. / Как русалка, девушка лежит / на диване кожаном твоём. // Зазвенит, заплещет телефон, / в утреннем ныряя серебре. / И услышит новая Манон / голос кавалера де Грие». Получилась песнь о вечной любви.

Когда-то рассказывали: молодой Смеляков, добиваясь взаимности, трое суток просидел на взгорке перед окном возлюбленной.

На пути к «Югославской свече», в том же шестьдесят седьмом, он пишет «Пейзаж». Что там? «Сегодня в утреннюю пору, / когда обычно даль темна, / я отодвинул набок штору / и молча замер у окна. / Небес сияющая сила / без суеты и без труда / сосняк и ельник просквозила, / да так, как будто навсегда». Да не Пастернак ли это?! Просто дачник какой-то. Не Пастернак. Смеляков. Свидетельством чему это вот неуклюже очаровательное «набок».

В пятьдесят восьмом у Пастернака — нобелевка, мировой скандал, угроза изгнания, у Смелякова — каскад комсомольско-пролетарских опусов. «В твоём углу, машинный зал, / склонившись над тетрадкой в клетку, / я безыскусно воспе- вал / России нашей пятилетку».

Он сам себя вогнал в угол машинного зала. Когда выходил оттуда, получалось настоящее. Он знал, что Пастернак — настоящий. Это сказывается в проговорах, обмолвках, невольных заимствованиях музыкальных фраз или словосочетаний. Внутри собственной манеры, своего словаря. В шестидесят восьмом он начинает стихотворение «Сирень» так: «Был день февраля по-февральскому точным, / окрестность сияла белее белил, / когда невзначай в магазине цветочном / корзину сирени я вдруг укупил». Это «белее белил» он употребил не впервые, и идет оно отсюда: «Я больше всех удач и бед / За то тебя любил, / Что пожелтый белый свет / С тобой — белей белил», — Пастернак. Зато «укупил» — от себя лично, от народного просторечия.

Слышится в «Сирени» и давнее пастернаковское «Когда-нибудь, может быть, в зале концертной...» — звук сильный, единственный в своем роде пяти-

<sup>1</sup> См. мой очерк «Красноречие по-слуцки» («Вопросы литературы», 2000 № 2).



стопный амфибрахий, тем более внятный у Смелякова, что в 60–70-х годах он замкнулся чуть не исключительно в ямбе-хорее, нечасто прибегая к трехсложникам.

Он пишет порой на каком-то необработанном, корявом наречии («доморощенный слог»), открыто дорожит полукосяноязычием своей речи, хотя мог писать и рифмовать совершенно чисто, вполне образцово: «Над родиной непокоренной, / над сонмом мятущихся душ / звучит этот марш похоронный, / как словно бы праздничный туш...» (1968). Впрочем, это «как словно бы» тоже далековато от гладкописи.

Форма его зрелых стихов — забвенье левых увлечений его ранней молодости. Уже где-то к сороковым годам он испытал вкус к классической просодии, еще не отказываясь от неформатной свободы. Возможно, в этом помог ему Заболоцкий времен «Торжества Земледелия». «В испареньях розового цвета, / в облаках парного молока / светится, как новая планета, / медленное тулово быка». Это «Бык» Смелякова (1939). В «Классическом стихотворении» (1940 или 1941) финальная строфа выглядит уже как образчик будущего Заболоцкого, взгляд из космической бездны: «Тогда, обет молчания наруша, / я ринусь вниз, на родину свою, / и грешную томящуюся душу / об острые камни разобью».

Но в сороковом его неожиданно опять подмял под себя, стилистически, Маяковский — в крымских стихах: «Дорога на Ялту» и другие. Это трудно объяснить, он к той поре уже написал немало самобытных стихов. Старая любовь не стареет?..

Стихотворение «Если я заболею...» (1940), между прочим, написано опять-таки несколько под Пастернака (исходно — пятистопный анапест «Девятьсот пятого года»), но с комбинацией строчечных длин и сбоем размера, а планетарно-космические гиперболы напоминают Маяковского, в частности замечательный стих «Лиличка!».

Эта вещь стала молодежно-народной песней, ее пели в основном барды, в том числе Высоцкий. На которого Смеляков безусловно повлиял брутальной безоговорочностью своей речи или по крайней мере пафосной нотой военной риторики: «Ведь и сам я, от счастья бледнея, / зажимая гранату свою, / в полный рост поднимался над нею / и, простреленный, падал в бою. // Ты дала мне вершину и бездну, / подарила свою широту. / Стал я сильным, как терн, и железным — / даже окиси привкус во рту» («Земля», 1945). См. «Землю» Высоцкого в трех вариациях. Там и размер тот же: «Кто сказал, что Земля умерла?», «От границы мы Землю вертели назад...». А строчки «Вот ты сквозь дымчатый Млечный Путь / Снова уходишь дальше» фактически обращены к смеляковскому автогерою, поющему: «Не больничным от вас ухожу коридором, / А Млечным Путем».

Пытаюсь вспомнить, что я тогда сам любил у Смелякова. Ну, эту песню, разумеется. Но больше — другое. «Аввакум», «Меншиков», «Манон Леско», «Памятник», «Кладбище паровозов», «Павел Антокольский», «Любка», «Воробышек», «Ксения Некрасова», «Кресло», «Русский язык», «Иван Калита», «Анна Ахматова», «Денис Давыдов», «Петр и Алексей», «Пряха», «Слепец», «Три витязя», «Классическое стихотворение», «Элегическое стихотворение», «Вот опять ты мне вспомнилась, мама...», некоторые другие и множество строк врассыпную: «Кто придет и кто меня научит, / как мне жить и как стихи писать?» или «На кого возложить мне пустые ладони, / позабывшие гвоздь, молоток и кайло?».



В своем кругу, когда, например, намечался поход в ресторан, весело цитировался эпиграф к стишку «Кто — ресторацией Дмитраки...»: «И в ресторации Дмитраки / Шампанским устриц запивать». Строчки ничьи (источник не установлен), но казалось, что их автор — сам Смеляков. Может быть, так оно и есть.

Этот перечень можно удвоить или утроить, планка не снизится, и я бы не стал прежнюю любовь расширять за счет возрастной либерализации. На самом деле — на поверку — Смеляков написал не так уж и много оригинальных стихотворений: есть приличное количество переводов, среди которых «Мерани» Николозо Бараташвили и лирика Матвея Грубиана — работа добротная, высокого качества.

Марк Соболев прошел войну и каторгу, близко дружил со Светловым и Смеляковым. Его отец Андрей Соболев в начале двадцатых застрелился на Тверском бульваре. Об этом мы никогда не говорили. Но именно он по уходу Смелякова прочел мне наизусть «Жидовку» и «Голубой Дунай», еще лежавшие в столе поэта. «И она не знает, дура, / полоскаючи белье, / что в России диктатура / не чужая, а ее!». Это было критикой социально-политического статус-кво и мироустройства в целом, как и то изустное заявление на сцене ЦДЛ (премии-то давала власть). Но о самом болевом он молчал, скрывался и таил. Для себя, в пятьдесят третьем, буквально изронил стих «Лагерный номер Л-222» («В казенной шапке, в лагерном бушлате...») плюс «Шинель».

Есть парный снимок: Твардовский и Смеляков. Лица из простонародья, внуки крепостных, по-актерски бритые, в галстуках и строгих костюмах, исполненные значительности, с печатью отменного самоуважения. А ведь кабы не пролетарская революция, не было бы ни того, ни другого — таких. Как же им было не благодарить ее? Как не служить ей по гроб жизни?

Вопросы риторические.

Мой список — на мой взгляд вершины Смелякова, но поэт — горная цепь, состоит не из одних только взлетов, и я далек от претензий на окончательность и безошибочность. Итоговая книга первоклассного Смелякова — вещь реальная. Тут всяческая арифметика не проходит. Евг. Евтушенко полагает, что отличных вещей у Смелякова больше, чем у Гумилева. Не проще ли — зачем мелочиться — сравнивать уж тогда с Лермонтовым? Или с Бараташвили? Те юноши недожили и недобрали.

Когда-то в теплом разговоре за цэдээловским столиком Евгений Александрович сказал мне, что, когда Смеляков умер, у него под подушкой нашли евтушенковскую книгу. Сказано было конфиденциально, и я не знаю, написал ли Евтушенко об этом где-нибудь.

В свое время в журнале «Юность» была напечатана евтушенковская «Братская ГЭС». Публикация предварялась сообщением, крупным шрифтом: ПОД РЕДАКЦИЕЙ ЯРОСЛАВА СМЕЛЯКОВА.

99% нынешних — особенно молодых — стихотворцев не читали «Братскую ГЭС». Может быть, и 99,9%. Но последняя цифра может коснуться и «Василия Теркина» Твардовского, и «Сказа о царе Максе Емельяне» Кирсанова — практически всей недавней классики. Это не есть хорошо. Хотя бы из соображений «врага надо знать».

Я не раз слышал и разделял восхищение евтушенковской строкой «как по нитке скользя» («Идут белые снеги...»). А ведь она списана со смеляковского

оригинала: «Бегут, утончаясь от бега, / в руке осторожно гудя, / за белую ниткою снега / весенняя нитка дождя». Да и Нюшка из «Братской ГЭС» — прямая родственница смеляковских Лизок, Зинок и Нюрок.

Попал Евтушенко и в смеляковские стихи — это дорогого стоит. Так это выглядит в «Собаке»: «Он (джейран. — *И. Ф.*), умея просить без слов, / ноги мило сгибал в коленках. / Гладил спину его Светлов, / и снимался с ним Евтушенко». Без порции сарказма, как видим, не обошлось: старый поэт гладит животное, молодой желает увековечиться.

Смеляков ревновал. Это ровно шестидесятый год, «оттепель» вот-вот пойдет на спад, Хрущев придет в Манеж, но взлет евтушенковской плеяды стал фактом, для многих тревожным.

А вот возьму да соглашусь: Смеляков — шестидесятник. Он лишь раз срифмовал в евтушенковском духе: «делегаты — деликатно». Мог — не хотел. Даже в молодости, ибо евтушенковская рифма не рождена лишь Евтушенко — Сельвинский или Кирсанов, идя от Хлебникова, Маяковского и Пастернака, блистали изысками рифмовки, но Смеляков и тогда им не очень-то следовал, несмотря на влечение к стиховому модерну.

В нем сосуществовало несколько натур. Был там и середняк, был там и старовер. Средняк отписывался командировочными впечатлениями и слал поклонны высшему руководству. Ему нравилось стоять на Красной площади, принимая первомайскую демонстрацию. Старовер хранил верность идеалам и стоял на страже классики. Таково было его шестидесятничество. Он сам избрал эту роль. Приветствуя одаренную молодежь, он учил ее не растрачиваться на интим, начисто забыв о том, что ему самому некогда досталось на орехи как раз по части недопустимой чувствительности. Но чувствительным он остался навсегда. Количество уменьшительных суффиксов зашкаливает. Всякие там «хозяечки», «платышки» и «кулечки» пестрят у него, засахаривая самую чистую струю лирики.

Он допускал промахи элементарного порядка. Ну, скажем, Маяковский в его стихотворении «Чувство юмора» (1972), *хохотал*, а этого никогда не было, не хохотал он никогда. Натали Пушкина-Ланская нарисована так: «толкалась ты на верхних хорах / среди чиновниц и купчих» — это где? На балу в Зимнем? Или: «И в горе, и в счастье, София, / всегда неизменно с тобой / могучая наша Россия, / как с младшей любимой сестрой». Болгария старше России на много веков.

В советскую пору стихотворцы строчили высокоидейные спецстишки для проходимости книги в печати. Их называли «паровозами». Наследие Смелякова во многом кладбище этих «паровозов».

Но само стихотворение «Кладбище паровозов» — одно из лучших у него. Это реквием по своему времени, по всему тому, чему он отдал светлейшие порывы души. По существу, Смеляков засвидетельствовал крах своего поколения: «Это распад сознания — / полосы и круги. / Грозные топки смерти. / Мертвые рычаги <...> Стали чугунным прахом / ваши колосники. / Мамонты пятилеток / сбили свои клыки».

Надо не забывать: Смеляков — сын железнодорожника, так что это стихотворение — его кровное переживание во всю длину существования от колыбели до грозных топок смерти. Ему снились сны такого рода: «Приснилось мне, что я

чугунным стал...». Не был он чугуном. Поэтическое чутье выводило его на истинные высоты порой без контроля рации.

Он пишет протопопа Аввакума в озарении, падающем на героический образ мятежного русского человека, не вполне понимая историческую роль этой фигуры. Державник Смеляков в Аввакуме не узнал оппозицию державе, вызов государю — это был вызов справа, род фундаментализма, камень на пути преобразований в церкви и государстве.

А может, узнал? Намеренно занял позицию хранителя и охранителя пламенной идеологии в ее первичном блеске? Может быть, и так. Но свел дело к самому главному для себя: «Ведь он оставил русской речи / и прямоту и срамоту, / язык мятежного предтечи, / светившийся, как уголь во рту».

Он любил эпитеты от существительного «свет», часто ими пользовался, и одна из самых высоких его удач — эта: «Он, этот Лермонтов могучий, / сосредоточась, добр и зол, / как бы светящаяся туча, / по небу русскому прошел».

Очевидно по причине позднего многописания или просто потому, что постоянство он считал лучшей человеческой чертой, он привязывался к некоторым словам (или они к нему), используя их без оглядки. Это было заметно, особенно если слово стояло в рифме: «сосредоточась, добр и зол», «но он, упрям и зол», «в пленном лагере, худ и зол».

К таким словам относилось и «сполна». Примеров много. Цитирую катрены целиком, чтобы показать характер рифмовки. «За столами другими / наблюдаем сполна, / как сидит вместе с ними / молодая жена», «Дети той колыбели, / что качала она, / надевали шинели, / воевали сполна», «Я их не знал и не узнаю / так, как положено сполна. / Но, словно песню, вспоминаю / тех наступлений имени». И тому подобное. Рифмует Смеляков свое «сполна» по старинке и этим не тяготится.

Очень показателен для стиховой ситуации тех лет сюжет взаимодействия двух поэтов — Смелякова и Межирова: последний прилежно читал, знал и любил Смелякова, держал его в первом ряду современной поэзии, ставя на эту ступень в принципе лишь двух поэтов — Смелякова и Слуцкого.

Это «сполна», думаю, попало в межировские стихи: «Даже только тем, что ты спала / в это лето на балконе зноя, / наша жизнь оправдана сполна / и существование земное». Межиров рифмует модерново, как бы полемизируя с образцом. Хотя именно Межиров сказал: «Ну да, конечно, я консервативен...»

На феерическом пути звездных поэтов 60-х стояли столпы здорового консерватизма. Каждому свое. В том числе — своя историческая роль.

А строку «О, если б я прямой возник!» Межиров поставил эпиграфом к самым последним своим стихам, созданным не здесь. И уж если на то пошло — пастернаковское эхо явно отдается в стихах, рожденных намного раньше не на Манхэттене, а на Сетуни: «Голос новоявленного класса / В обществе бесклассовом возник — / Электрогитара экстракласса, / Вопль ее воистину велик <...> Господи! Продли минуты эти, / Не отринь от чада благодать, / Разреши ему при малом свете / Образ и Подobie осознать. // Низойди и волею наитья / На цивилизованной Руси / В ресторане «Сетунь» до закрытья / Три свечных огарка не гаси». Это свечи из одного набора, стихи — из одной поэзии: русской.

Об Аввакуме писали многие поэты от Волошина до Шаламова. Однако, сдается, именно смеляковский протопоп подтолкнул некоторых авторов к этой теме. Была и у меня такая попытка («Свеча Аввакума»), вряд ли удачная, от нее

остались в живых лишь четыре строчки, тогда (конец 70-х) казавшиеся существенными: «Он гол под старость как сокол, / он гол, как в бане, — в подземелье. / В стране — разброд, развал, раскол / и беспробудное веселье». Их почему-то напечатали.

Поэт растет и развивается в том случае, если стих, написанный сегодня, не мог у него появиться вчера. Смеляков обновлялся за счет наращивания степеней внутренней свободы и обращения к истории.

О своих тюрьмах он долго молчал или говорил околичностями. Вот лирический стишок «Дочь начальника шахты» (1944), его начало: «Дочь начальника шахты / в коричневом теплом платке — / на санях невесомых, / и вожжи в широкой руке» и его концовка: «Только я одиноко / в снегу по колено стою, / увидав свою радость, / утративши радость свою». Между началом и финалом (стишок короткий) есть все, даже «уголь Советской страны», кроме самого простого и самого существенного: за пронесшейся на невесомых санях недосягаемой красавицей наблюдает эзк, молодой мужик, жаждущий любви. На это ушла одна строка: «утративши радость свою».

Подобных ускользаний и осторожных притрагиваний к теме — много. Он и о пленном немце написал так, как будто сам не был в плену, разве что незримая, минимальная доля сочувствия сквозит в этих суровых дистихах: «Длиннорукий, худой, без ремня, / пленный немец глядит на меня. // Он от нашего ветра озяб / и от нашего снега ослаб».

Или. «Ода младшему лейтенанту» (1959). Сюжет вроде бы ясный: о защитнике Брестской (не названа) крепости, который, пройдя немецкий плен, чудом миновал наш концлагерь, об этом и не упомянуто, жил тихо-мирно, незаметненько. Ни слова прямой правды. О сути вещей можно догадываться лишь по проговорке: «Если ж, выпивши, ветераны / рассуждали о той войне, / он держался довольно странно / и как будто бы в стороне». Концовку и цитировать не хочется.

Но вот другое. «До Двадцатого до съезда / жили мы по простоте — / безо всякого отъезда / в дальнем городе Инте» — стих «Воробышек» написан в 1966-м: десять лет после XX съезда ушло на преодоление страха. В следующем году, адресуясь к Антокольскому: «Средь болот ненадежных / и незыблемых скал / неприятно и нежно / я тебя вспоминал».

Но его до конца не оставляло то, о чем сказано в «Слепце», 1967-й: «Идет слепец с лицом радара, / беззвучно, так же как живет, / как будто нового удара / из темноты далекой ждет».

Еще в тридцать четвертом он впервые коснулся истории: «Город мой весенний, / звонкотрубый, / вижу я, как через дальний гуд, / в тишине, гнилые скаля зубы, / по мостам опричники идут. // Слышно мне, / как воск от света тает, / брага плещется на дне ковша. / Как, оставив землю, отлетает / длинная боярская душа». (Эпитет «длинная», «длинный» тоже привяжется к нему и пройдет по многим стихам разных лет: «длинных автомашин», «стезею длинной», «танки длинные», «в вагонах длинных», «стерлядь длинная» и проч.).

В этом смысле он вновь развернулся к своему истоку. История стала бездонным кладезем, откуда можно черпать и черпать. «Как словно я мальчонка в

шубке / и за тебя, родная Русь, / как бы за бабушкину юбку, / спеша и падая, держусь».

Он испытывает трепет перед сильными мира сего — Иван Грозный и Петр Великий двигают горами и ведут народ к сияющим вершинам, однако в процессе одного движения много жертв, от царевича Алексея до князя Меншикова. Последний попал в поле зрения поэта довольно прихотливым путем, по-моему. Дело не ограничивалось чтением соловьевской «Истории...».

Договорим о его *тяге к антиподам*. Анна Ахматова — воплощение пресловутого интима (ее «Песенка», 1911-й: «Я на солнечном восходе / Про любовь пою, / На коленях в огороде / Лебеду полю»), предмет его искренних переживаний, он пишет ее памяти особое стихотворение, в котором найдем интересную строфу: «Ведь с Вами связаны жестоко / людей ушедших имена: / от императора до Блока, / от Пушкина до Кузмина». Не совсем ясно, о каком императоре речь, но вот с Кузминым — все ясно, хотя и странно, и даже загадочно, как рабочий поэт решился поставить его в один ряд с Пушкиным. Ключ к разгадке таков: кузминское стихотворение, в основе которого — суриковская картина «Меншиков в Березове». Напоминаю: «Декабрь морозит в небе розовом, / Нетопленный чернеет дом, / И мы, как Меншиков в Березове, / Читаем Библию и ждем» (1920).

Попутно говоря, «Декабрь» — так называлась последняя прижизненная книга Смелякова. Впрочем, начальный стих книги больше напоминает Пастернака («Зимнюю ночь»): «Зима стояла в декабре» = «Мело весь месяц в феврале». Кстати, у него самого была «Зимняя ночь»: «Когда открываются рынки, / у запертых на ночь дверей / с тебя я снимаю снежинки, / как Пушкин снимал соболей».

Его «Меншиков» тремя годами раньше (1967) вошел в книгу «День России», за которую Смеляков получил госпремию. Да, соввласть давала в ту пору премии за такие стихи: «Все ниже и темнее тучи, / все больше пыли на коврах. / И дочь твою мордастый кучер / угрюмо тискает в дверях». Сего кучера не было ни у Сурикова, ни у Кузмина.

Более того. Библия. У Смелякова на удивление много религиозных знаков — церквей, куполов, колоколов, крестов, икон, риз и тому подобного, и всему этому наш пролетарий не дает никакой отповеди. В стихотворении о Светлове (1967): «Так что же, может, я ревную / или завидую ему, / ушедшему в страну иную, / в ту, как в соборе, золотую, / полусветящуюся тьму? // Нет. Ведь у нас одна дорога, / за ним иду в разведку я — / от свечи отчего порога / до черных люстр небытия».

Аббат Прево подан с восхищением — за писательство, как и протопоп Аввакум. Но он и изменника Курбского («Русский язык»), тоже писателя, не склонен изобличать.

Более того. В «Меншикове» поэт вопрошает: «Куда девалась та отвага, / тот всероссийский политес, / когда ты с тоненькою шпагой / на ядра вражеские лез?» Это отзвук другого голоса Серебряного века — Андрея Белого, в 1903 году написавшего о Бироне, тоже опальном вельможе: «И гневно поднявшись, отваги / исполненный, быстро исчез. / Блеснул его перстень и шпаги / украшенный пышно эфес». Прямые тематические, лексические (шпага, отвага) и рифменные (те же шпага — отвага, политес — лез, исчез — эфес) переключки.

В лице Смелякова наглядно подтвердилась мысль Мандельштама о том, что большевики приняли поэтическую иерархию из рук символистов. Блока он

обожает. Свидетельств много. Еще в тридцать восьмом, в «Лирическом отступлении», — прямая реминисценция: «Валентина Аркадьевна, / Валенька, / Валя. / Как поют, / как сияют / твои соловьи!» Правда, в данном случае кажется, что Блока Смелякову, стоя за его спиной, подсказывает — Багрицкий, со своей Вале-Валентиной («Смерть пионерки»).

Причудливы пути стиха. Вот «Петр и Алексей», начато в 1945-м, завершено в конце пятидесятых, опубликовано в 1959-м. «День — в чертогах, а год — в дорогах, / по-мужицкому широка, / в поцелуях, слезах, ожогах / императорская рука. // Слова вымолвить не умея, / ужасаясь судьбе своей, / скорбно вытянувшись, пред нею / замер слабостный Алексей». И здесь есть редкое словечко: «слабостный». Есть и другое. В 1961-м молодой Вознесенский говорит в «Лобной балладе» (поэма «Треугольная груша»): «перегаром борщом горохом / пахнет щедрый твой поцелуй / как ты любишь меня Эпоха / обожаю тебя — / царуй!..» Читал Смелякова.

Смеляков намного богаче того, что о нем поныне думают крутые отрицатели вчерашнего дня. Ну да. Было — прошло. А ведь не прошло. И у нынешних Вс. Емелина или А. Родионова так или иначе отзывается «плебейский» (смеляковская самохарактеристика) дух той речи и тех предметов действительности, или вдруг — откуда бы? — Олеся Николаева попутно помянет строчку забытого догматика незлым словом, изображая некоего персонажа-обжору: «...Пожрет он любовь и обиду, / свободу и юность — равно, / *хорошую девочку Лиду* (курсив мой. — И.Ф.), / Версаль, золотое руно, / кота в сапогах, Фукусиму / и черную голь на бобах...». Смеляковская хорошая девочка вписана в вечные реалии длящегося бытия, расположившись среди чего-то прекрасного и сказочного.

Самооценка Смелякова. «Сутулый, худой, бритолицый, / уже не боясь ни черта, / по улицам зимней столицы / иду, как Иван Калита <...> Словечки взаимны отдавая, / я жду их обратно скорей, / не даром моя кладовая / всех нынешних банков полней». Или — в обращении к океану: «Возгласы, посвист, крики!.. / Как ты там ни ори, / Тихий или Великий / были у нас цари. // Отменены недавно / Библия и Коран. / Будем шуметь на равных, / оба в ролях заглавных, / Тихий мой океан». В общем, ощущал себя венценосцем. Тем не менее он сказал о себе и так: «радиостудий рядовой пророк, / ремесленник журнальный и газетный», а в стихах, обращенных к Светлову, обронил: «и я, хоть классиком не стал».

Предположительно в 1945-м он пишет, цитирую стихотворение целиком: «Трудно называться мне поэтом / той красивой пасмурной земли, / от которой на исходе лета, / плача, улетают журавли. / Медленно мерцающая стая / протечет над призрачным селом / и в осеннем сумраке растает, / словно снег в стакане голубом».

У него есть целый ряд таких симпатичных и, условно говоря, невитринных стихов, одно из них, тоже целиком, 1946 (?) — таково: «Стала от мороза / белою береза. / Стынет возле тына / бедная рябина. // Наклонясь с обрыва, / замерзает ива. // А за тонкой елкой / зимними путями / едут втихомолку / сваты с топорами». Эти зловещие сваты с топорами. Словно Смеляков заглянул в позднего Мандельштама, когда «простая песенка о глиняных обидах» обрела окончательное звучание. Напрямую же, по звуку и теме, с Мандельштамом, его «Батюшковым», перекликается смеляковская «Желтая кофта» (1968): «Важное дело исполнено вроде. / Дышит растерянно бедная мать. / Желтую кофту одернул Воло-



дя, / глянул в окно и пошел выступать». Тот же дактилический тон, развернутый на пять стоп, почти гекзаметр, в элегии на уход очередного антипода: «Что мне, красавицы, ваши роскошные тряпки, / ваша изысканность, ваши духи и белье? / Ксения Некрасова в жалкой соломенной шляпке / в стихотворение медленно входит мое» (1964), «Ксения Некрасова» (???). Объективно он работал в большом контексте отечественной поэзии, его простоватость — вещь столь же родовая, сколь и наружная, оболочка подлинной простоты.

Однажды он высказался так: «...я не принадлежу к тем людям, которые могут писать то об этом, то о том, то так, то эдак...». А ведь писал. То об этом, то о том. То так, то эдак. Нередко — очень хорошо.

Он говорит в автобиографии: «Крупных вещей у меня маловато. Пожалуй, вполне удалась только повесть в стихах «Строгая любовь»...» Можно было бы и согласиться, кабы не вязкая заидеологизированность той повести. Конечно же это было инерцией реврамантики и одновременно интуитивной опережающей реакцией на зреющую раскрепощенность, «безыдейность» новых поколений. Тоже индикатор новых времен, которые только наступали: «Строгая любовь» писалась во время последней отсидки, в 1953–56 годах.

Однако он напрасно недооценивает давнюю (<1940>) поэму «Волшебная палочка», некрупную и неоконченную, где говорится о фокуснике, которого покинули успех, зрители и товарищи по работе. «Летающая женщина сказала, / что вся любовь давным-давно прошла, / что он — подлец, / что он ей платит мало, / трельяж разбила, полочку сломала / и к тенору в любовницы ушла». Впечатляет, несмотря на условность рифмы «прошла — ушла».

Юбилейного дифирамба у меня тут не получилось — и не задумывалось. Не та модель.

У Владимира Соколова, тесно и очень непросто связанного со Смеляковым стихами и по жизни, есть вещь, неявно посвященная Смелякову: «Если песенку не затевать. / Не искать у нее утешений, / То куда мне, живому, девать / Груз невыясненных отношений?» Концовка такая: «Засвидетельствуй, не утаи, / Дай словесный портрет идеала». Торжество песенки, интимной по сути. Программа для себя, соотнесенная с адресатом поверх грубой реальности. Абсолютно родственна этому стихотворению другая соколовская вещь — «Упаси меня от серебра...», они музыкально и по духу слиты, образуя единый текст. Общий финал: «Это страшно — всю жизнь ускользать, / Уходить, убежать от ответа. / Быть единственным — а написать / совершенно другого поэта».

Написал ли Смеляков совершенно другого Смелякова? И да — и нет.

Надо дать себе труд вчитаться, не отмахнуться, переварить несъедобное, не забыть драгоценного. «Как Башни Терпения, домны / стоят за моею спиной».

2012,

лето — осень

Ялта





Масут Фаткулин

НАТЮРМОРТ С ГРАНАТАМИ. 1983

холст, масло





Масут Фаткулин

ЗАВТРАК. 1981  
холст, масло





Масут Фаткулин

КУВИНСКИЕ ГРАНАТЫ. 1976  
холст, масло





Масут Фаткулин

ВЕСНА. АВТОПОРТРЕТ. 1984-2012  
холст, масло

## **ЖИВОПИСЬ КАК ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ**

Масут Махмудович Фаткулин известен, прежде всего, как крупный деятель культуры. И это естественно, ведь он стоял у истоков Международной конфедерации союзов художников, ставшей в 1992 году правопреемницей Союза художников СССР, и вот уже более двадцати лет является председателем исполкома этой организации. Его заслуги в этой должности многочисленны и разнообразны. Фактически благодаря упорству и настойчивости Фаткулина в годы беспрецедентного социально-политического слома удалось сохранить, несколько видоизменив, структуру и механизм взаимодействия сложнейшей творческой организации, обретшей статус международной. Опыт минувших двадцати лет оказался чрезвычайно важным потому, что выявил и востребовал людей, сочетающих в себе соответствующие навыки и высокий авторитет в профессиональной сфере с уникальной способностью трезво оценивать возникающие, по сути, беспрецедентные проблемные ситуации и находить способы их успешного разрешения. В искусстве, где творческие союзы не только защищали и поддерживали художников, но и надзирали за ними, функции организаторов, тех, кого за рубежом именовали менеджерами, продюсерами, были размазаны между контролирующими органами, но, как правило, не принадлежали руководителям самих союзов. Для них эта должность обычно кроме почета и привилегий ничего с собой не несла.

Масут Фаткулин, оказавшись во главе организации, на первых порах совершенно эфемерной и не очень-то признаваемой новой российской властью, прилагал невероятные усилия, чтобы сделать Конфедерацию реальной и эффективно действующей. Он настолько углубился в эту новую ситуацию, что о своей основной профессии художника, успешно работая в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, вынужден был на какое-то время забыть, хотя, конечно же, привез с собой из Ферганы, где проработал почти двадцать лет, привычные, «родные» кисти.

Каждый пишущий — и слова, и на холсте, каждый играющий, танцующий и вообще творческий человек знает, как важно, чтобы твое ремесло и мастерство сохраняли и охраняли тебя в профессии. В постоянном подтверждении профессионализма перед собой и другими и есть основа существования художника — существа, зависимого от мира и творящего свой, пусть и крошечный, уголок мироздания. Фаткулин, сохраняя среду обитания — физическую и духовную — для собратьев по творческому цеху, сам постепенно отдалялся от непосредственного соучастия в профессии живописца.

Вернуться помог случай. Готовясь к своему шестидесятилетию, Масут Махмудович решил собрать выставку своих работ, большая часть которых оставалась в Узбекистане.

Особенно время не пощадило автопортрет — красочный слой оказался заметно поврежден. И автор взялся за восстановление холста сам, не доверив работу реставратору. Работа над этим полотном продолжилась и после персональной выставки, которая стала дополнительным стимулом для возвращения к творческой работе. Ему самому важна и нужна была реакция коллег по цеху, в которой отчетливо прочитывалось признание того, что он свой, художник.

Сейчас этот холст, последний мазок на который живописец нанес совсем недавно, конечно, отличается от первоначального — нынешний взгляд на себя в прошлом обогащен огромным жизненным опытом. Но работа над этим полотном оказалась тем необходимым мостком, который позволил мастеру полноценно вернуться к мольберту,

взяться за осуществление новых замыслов. Пройдет, думаю, совсем немного времени, и зрители смогут увидеть новые работы живописца Масута Фаткулина.

Делегаты состоявшегося в конце декабря 2012 года IX Конгресса МКСХ вновь избрали Масута Махмудовича Фаткулина Председателем исполкома. Стабильная и успешная деятельность Конфедерации позволит ее руководителю заниматься и непосредственно творческой работой живописца.

Юрий ПОДПОРЕНКО

Фаткулин Масут Махмудович

\* Председатель исполкома Ассоциации общественных объединений «Международная конфедерация союзов художников»

\* Сопредседатель Ассоциации международных творческих общественных объединений деятелей культуры и искусства «Координационный совет»

\* Член Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ

\* Член-корреспондент Российской Академии художеств

\* Почетный гражданин города Карши, Узбекистан

\* Кандидат юридических наук

1949 — родился в г. Карши, Кашка-Дарьинская область, Узбекская ССР

1973 — окончил Ташкентский театральный художественный институт имени А. Н. Островского по специальности художник монументально-декоративного искусства

1973-1992 — работа в Ферганских художественно-производственных мастерских Художественного Фонда СССР. Участник республиканских, всесоюзных и зарубежных художественных выставок с 1973 г.

С 1978 — член Союза художников СССР, Союза художников России, Творческого объединения художников Узбекистана, Ассоциации искусствоведов

1987-1991 — Председатель правления Ферганской организации Союза художников Узбекистана

1992 — Секретарь Оргкомитета и сопредседатель Ликвидационной комиссии Союза художников СССР

С 1992 — председатель исполкома Международной конфедерации союзов художников

С 1995 — сопредседатель Ассоциации международных творческих общественных объединений деятелей культуры и искусства «Координационный совет», член Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ

2001 — награжден знаком «За достижения в культуре» Министерства культуры РФ, медалью Российской Академии художеств; окончил Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ, специальность — юриспруденция

2002 — награжден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

2003 — Почетный профессор Национального института искусств и дизайна им. К. Бехзада, г. Ташкент, Узбекистан, Заведующий кафедрой ЮНЕСКО

2005 — Почетный профессор Университета Сока, г. Токио, Япония; Почетный профессор Государственного института искусства и культуры им. М. Уйгура г. Ташкент, Узбекистан; Награжден Орденом Дружбы

2007 — Почетный академик Российской Академии художеств

Присвоено звание «Почетный гражданин города Карши», Узбекистан

2008 — Иностраный член Академии художеств Узбекистана

2012 — член-корреспондент Российской Академии художеств



# Отраженный удар

*Рубрику ведет Лев Аннинский*

«Единственное, что хочу, — дать вещи ударить в себя, устоять, отдать. Воздать... Что такое человеческое творчество? Ответный удар, больше ничего. Вещь в меня ударяет, а я отвечаю, отдаю... Всегда диалог, поединок, схватка, борьба, взаимодействие... Ответ или поиски ответа... Отраженный удар...»

*Марина Цветаева*

Не хочу ничего предугадывать. А все-таки не мог отвязаться от мысли, что рано или поздно проза Марины Цветаевой побудит читателей по-новому почувствовать ее роль в русской культуре. Сегодня эта проза, эта публицистика, эта мемуаристика — воспринимаются как авторский комментарий к ее стихам. Не исключено, что в наступившем веке эта проза встанет вровень стихам, и стихи будут восприниматься как пронзительный парафразис описанной ею жизни.

Но для этого жизнь ее, воплощенная в автобиографических текстах, должна быть прочитана как единая целостная исповедь. В известном смысле — заново, ибо некоторые повести давно опубликованы и усвоены. Но ведь и стихи, которые писались Цветаевой на протяжении всей ее жизни, прозвучали в нашей реальности практически заново — после 1956 года, когда имя ее воскресил в печати Илья Эренбург.

Теперь «сбор» цветаевской прозы сцеплен воедино «весь», чем облегчается возможность осознать ее наследие не просто как летопись умственной работы, но как подвиг духа, который собирает реальность, помимо традиционного литературного «отражения», — в масштаб судьбы, заставляющей личность отражать удары этой реальности.

И так понять смысл борьбы.

Для этого надо прочесть — и осознать, и пережить — кроме уже известных текстов Цветаевой, среди которых: и хрестоматийный «Мой Пушкин» (оттененный повестью «Наталья Гончарова»), и обреченно-стойкий «Дом у старого Пимена» (с каменной фигурой старика Иловайского), и пронзительные по отчаянности записки первых лет Советской эпохи (голодно-оголтелых, идейно-оголтелых), — прибавив для обновляющего чтения менее известные опыты: «Повесть о Сонечке» (несколько просевшую от обильных цитат из рабочих тетрадей), и, конечно, этюды о поэтах — не только о таких, как Брюсов, Волошин и Андрей Белый, без диалога (поединка, схватки) с которыми немислимо становление Цветаевой как личности, — но и скользкий контакт с Кузминым, или солнечный отклик Бальмонту, или яростная защита Мандельштама от обидной иронии Георгия Иванова (которого Цветаева даже не называет... из безразличия?).

И прежде всего важны — ее очерки о семье, детстве и юности, выношенные и записанные уже в зрелые годы, перед решением вернуться в СССР, — записанные прихотливо-сбивчивой вязью, сквозь которую жалят острые характеристики; еще



острее в этих очерках — общее ощущение жизненной ситуации — той самой роковой необходимости отражать удары...

С этого и начну.

## Глотающая угли

Читать трудно. «С виду — гладь, а под гладью — глубь». Глубь — темная. Гладь — пестрая. Да и не гладь — коловорот родственников, свойственников, друзей дома, нянек, гувернеров, наставников. Отношение к ним — переменчивое. Переменчивость эта — в странном соотношении с чувством стиля, прочно фиксирующего фактуру вещей. Врожденное владение словом, которое владеет предметом.

«Черт жил в комнате у сестры Валерии, — наверху, прямо с лестницы красной, атласно-муарово-штофной, с вечным и сильным косым столбом солнца, где непрерывно и почти неподвижно крутилась пыль».

Черта оставим — ненадолго: он тут главный. Но какова экономная точность в описании комнаты! Каков столб солнца, уложенный в придаточное обстоятельство! И какая магия неподвижности, которая — крутится!

Врожденная писательская хватка.

А черт зачем?

Чтобы показать тщету этого крутящегося мира. Пустоту его. Мнимость.

Еще перечень — для убедительности отвергаемого:

«В Валерииной комнате *была* любовь, жила — любовь, — и не только ее и к ней, семнадцатилетней: все эти альбомы, записки, пачули, спиритические сеансы, симпатические чернила, репетиторы, репетиции, маскирования в маркиз и вазелинение ресниц...» и еще круговорот вещей и вещиц «из глубокого колодца комода, из вороха бархатов, кораллов, вычесанных волос, бумажных цветов...»

Эту девичью бижутерию — в небытие!

И туда же — газетную дребедень:

«Газеты — нечисть, и вся моя к ним ненависть, и вся мне газетного мира — месть».

А что приемлется? Люди?

Да. Если у них отрезать конечности и вообще все «лишнее».

«Пристрастилась к картам до страсти. Не к игре, к ним самим: ко всем этим безногим и двуголовым, безногим и одноруким, но обратно-головым, и обратно-руким, самим себе — обратным, самим от себя отворотным, самим себе изножным и самим с собою незнакомым высокопоставленным лицам без местожительства, но с целым подданством одномастных троек и четверок».

Что извлекается из игры в карты?

«Конечно, в этой игре я, с малолетства воспитанная глотать раскаленные угли тайны, в этой игре мастером была — я».

Кажется, это и есть суть:

«Так друг другу в аду, смеясь и трясясь, сбывают горящий уголь».

Накладываем на эту жарь позднейшее истолкование происходящего:

«Все, что любила, — любила до семи лет и больше не полюбила ничего. Все, что мне суждено было узнать, узнала до семи лет, а все последующие сорок — осознавала».

Все узнала, не спрашивая: почему?

Мать:

« — Warum? — И, смывая с лица улыбку: — Вот когда вырастешь и оглянешься... спросишь себя, warum все так вышло как вышло, warum ничего не вышло, не только у тебя, но у всех, кого ты любила, кого ты играла, — ничего ни у кого...»

Warum — почему. Может, это мать (по крови — наполовину немка) переводит загадку на «чужой» язык, а может, это дочь переводит, — чтобы заклясть подступающий страх?

По-русски отсутствие причинности как раз и передается через присутствие Черта. Того самого, что висит в комнате сестры, но живет — в твоей закланной душе:

«С Чертом у меня своя, прямая, отрожденная связь, прямой провод. Одним из первых тайных ужасов и ужасных тайн моего детства (младенчества) было: «Бог — Черт!» Бог — с безмолвным молниеносным неизменным добавлением — Черт. «Бог — Черт», и так несчетное число раз, холодея от кощунства... Между Богом и Чертом ни малейшей щели, чтобы ввести волю, ни малейшего отстояния, чтобы успеть ввести, как палец, сознание и этим предотвратить эту ужасную сращенность. Бог, из которого вылетал Черт, Черт, который врезался в Бога...»

Мать отшучивается:

« — Какой у тебя даже бред странный...»

Ничего странного: Черт — спасение от мира людей.

«Первая же примета его, Черта, любимцев — полная разобщенность, отродясь и отовсюду выключенность».

Черт — не зло. Черт — косой столб в крутящейся тьме бытия. Или небытия.

«Не тьма — зло, а тьма — ночь. Тьма — все. Тьма — тьма... *Родная* тьма!»

На всю жизнь сразу?

«На всю жизнь». «На вечную жизнь». На все годы — вплоть до самоубийства — до возвращения в вечность.

Меж тем усвоенные с детства (до семи лет) реалии бытия — «отлично готовили ребенка к предназначенному ему страшному веку».

### *Черное божество и белое убожество*

Попробуем, однако, продолжить ту сюжетную линию, которая навеяна Пушкиным и продолжена из глубокого колодца комода в комнате сестры, где прячется Черт:

«К чему лукавить?» Если бы Татьяна, полюбив Онегина, встретила немедленную взаимность, — была бы она счастлива?

Да. Убийственно счастлива.

«Да, да, девушки, признавайтесь первые, и потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них — и вы будете в тысячу раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы...»

Поразительный по точности импульс бросок мысли от Татьяны Лариной к Анне Карениной, от Пушкина к Толстому, — охватить с двух точек, с двух краев, с двух веков «наше все»!

Вернемся же к началу — к «Моему Пушкину».

Первое, что узнала о Пушкине, — что его убили.

Правильно. С вести о гибели и надо готовить ребенка к страшному веку.

Второе. Пушкина убил француз. Иностранец.

Тоже правильно. Что еще можно было сказать тогда об убийце семилетнему ребенку?

А ведь и Пушкин, если учесть его арапское происхождение, — тоже в известном смысле — «иностранец».

И тут это «третье» застревает у меня в горле. Потому что Цветаева, словно напоравшись на раскаленный уголь, срывается в ярость:

«Чудная мысль — гиганта поставить среди детей. Черного гиганта среди белых детей. Чудная мысль белых детей на черное родство — обречь. Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я — так явно предпочитаю черную. Памятник Пушкина, опережая события, — памятник против расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой — лишь бы давала гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает — слиянию рек, живой памятник слияния кровей, смешения народных душ — самых далеких и как будто бы самых неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости расистской теории, живое доказательство — ее обратного. Пушкин есть факт, опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет — раньше: в день бракосочетания сына арапа Петра Великого. Осипа Абрамовича Ганнибала с Марьей

Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше: в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину быть. Так что дети, под петербургским Фальконетовым Медным Всадником росшие, тоже росли под памятником против расизма — за гения».

О, как мгновенно меняется стиль Цветаевой в этой точке! Какая осознанная непримиримость — начисто выпадающая из таинственной вязи детских бунтов и грез! Это уже не воображенному Черту отвечено — реальному фюреру с его юберменшами! В разгар фашистских триумфов и расистских проектов!

И даже не это — самое поразительное. Антинацистский взрыв чувств понятен в 1937 году, но потрясает в этом злободневном контексте — глубинное и непрекращающееся раздумье Цветаевой о неотменимом диалоге разных национальных душ и, в особенности, — русской и германской. «Состав крови» наталкивает Цветаеву на это сопоставление, и она отдает ему дань в замечательном эссе о Максимилиане Волошине, таком же германо-славянском гибриде, как и она сама.

«Вражду он ощущал союзом. Так он видел и германскую войну, и Гражданскую войну, и меня с моим неизбывным врагом — всеми».

Ожидание беды от всех — чисто цветаевское. Чисто волошинское — ожидание добра от всех. «Вседушие».

«Зло для него было тьмой, бедой, напастью, гигантским недоразумением».

Медведь из сказки братьев Гримм? Да. Что-то между мифом и сказкой.

«Два облика Макса: греческого мифа и германской сказки».

И далее — сравнение русского и германского начал, ничего общего не имеющее с марксистскими мечтами о грядущем слиянии (исчезновении) наций. Тут что-то прямо противоположное: сравнение вечных качеств, точность которого сделало бы честь этнопсихологам:

«Макс не жил на большой дороге, как русские, он не был ни бродягой, ни, в народном смысле, странником, ни променером, он был именно Wanderer (путником), тем, кто выходит с определенной целью: взять такую-то гору, и к концу дня, или лета, очищенный и обогащенный, домой возвращается. Но прочность его дружб, без сносу, срок его дружб, бессрочных, его глубочайшая человеческая верность, тщательность изучения души другого были явно германские. Друг он был из Страны Друзей, то есть Германии. Для ясности: при явно французской общительности — германская ответственность дружбы, сразу, как бургундец, но раз навсегда, как германец. Здесь действительно уместно помянуть достоверную и легендарную deutsche Treue, немецкую верность, к которой ни один народ, кроме германского, не может приставить присвоительного прилагательного».

В ту пору, когда это пишется (рубеж 1920–30-х годов), тема русско-германского сотрудничества еще не перечеркнута приходом к власти Гитлера, еще в ходу переосмысление суворовского афоризма — в том позитивном духе, что немцы и русские — двоюродные братья: чего одним не хватает, у других в избытке, и если бы сопрячь...

Волошинский пантеизм помогает держаться цветаевскому фатализму: «всебожественность, всебожие, всюдубожие» — держаться в ситуации всеобщего помрачения...

Так что чернота, неотделимая в сознании Цветаевой от облика Пушкина, — вовсе не «злая», это тьма — своя, она *родная*...

И противостоит она белизне — не как чему-то противоположному, а — как родному: ищет в ней своего продолжения.

Но дилемму эту — чернота или белизна? — оставим до времени (до Андрея Белого, очерк о котором написан Цветаевой через пару лет после очерка о Волошине и за пару лет до «Моего Пушкина»), — а пока завершим эпопею становления личности, — ту, что завязывается и завершается к семи годам, а все последующие годы — осмысляется.

Революция. Голод. Стопудовая тяжесть быта. Повальное воровство. Все украдено (слово «все» — с детства магическое). Разорванные связи. Ожидание кровавых злодейств — вроде наваждения. Идя на поводу у своей фантазии, Цветаева описывает шайку бандитов, убивающих вдову старика Иловайского (на самом деле Александ-

ра Александровна дожила до своей естественной смерти). Но такие уточнения — дело комментаторов. Дело автора — фиксировать зачатие реальности.

Бандиты убивают. Воры воруют. Лгуны лгут.

Совслужащие лгут, что любят советскую власть. Отец сослуживицы — швейцар в одном из домов (дворцов), где часто бывает Ленин. Вождь — «скромный такой, в кепке».

Сослуживица — в минуту откровения:

«— Идет он мимо меня, Марина Ивановна... Я: «Здрасьте, Владимир Ильич!» — а сама (дерзко-осторожный взгляд вокруг): — Эх, что бы тебя, такого-то, сейчас из револьвера! Не грабь церквей! (разгораясь). — И знаете, Марина Ивановна, так просто, вынула револьвер из муфты и хлопала!.. (Пауза). Только вот стрелять не умею... И папашу расстреляют...»

Поразительная цветаевская способность уложить в пять строк многомерный портрет и финальной полустрокой обрушить все.

«Все» — любимое слово. «Наше все» — в начале. В конце — тоже «все». Только не различишь, где и в чем все на этот раз кончается.

За считанные дни до последней ссоры с сыном (последняя капля до самоубийства) — разговор с Лидией Чуковской. Хотела прочесть вслух стихи про «у дороги куст» — не смогла. Услышала сводку: наши войска оставили Новгород.

Вдруг вырвалось:

— Кончено.

— Что кончено? — переспросила Чуковская.

— Все! — обвела рукой горизонт.

«С Россией кончено!» — отозвался из небытия Макс Волошин.

Так гибель России (уничтоженной Советским Союзом) и гибель Советского Союза (уничтожившего Россию) впервые соединились. Перед концом.

Все распадается в записях советских лет (первых, революционных). Вместо таинственной вязи — обрывки, осколки, круговращение мнимостей, бессвязность иллюзий. Соединить концы не легче, чем решить вечную проблему: черное или белое?

«Потопаю в белизне. Под локтем — Мамонтов, на коленях — Деникин, у сердца — Колчак».

Проглядывает ли смысл в такой честной белизне? Да. Потрясающее самооткрытие венчает записи 1918–1919 годов, где по белизне записано — уже в начале ледяного 1920 года:

«Раньше, когда у всех все было, я все-таки ухитрялась давать. Теперь, когда у меня ничего нет, я все-таки ухитряюсь давать».

Абсолютно цветаевский символ веры во взаимодействие с миром, в котором «все» сжимается до исчезновения. Не брать — давать! Конец всему — если... нет, не если перестанут давать (все и так потеряно, отнято, экспроприровано), а если перестанут — брать.

Это и есть смысл цветаевского бытия, отражающего удары небытия. Единственное приемлемое для нее действие в мире антидействий.

Или все-таки действий?

## Действующие лица

Для начала — антидействие. В ответ на создание музея, который отец Марины Ивановны чает подарить своему народу:

«— Зачем музей? Сейчас нужны лаборатории, а не музеи, родильные дома, а не музеи, городские школы, а не музеи. Ничего! Пусть строят! Придет революция, и мы, вместо всех этих статуй, поставим койки. И парты. А что строят — ничего. Стены нам пригодятся».

И все-таки даже под общий вопль: «К стенке!» находятся лица, пытающиеся нормально, по-человечески действовать.

Самый близкий Марине Ивановне — ее отец, Иван Владимирович:

— Что делать, голубка, людей не переделаешь, а обижать не надо...

Уникальная уравновешенность духа в ситуации, когда кругом все тычется в стены в надежде, что стены гнилые и развалятся.

Историк Иловайский не так близок, но по-своему дорог.

«Митридат в Понтийских болотах потерял семь слонов и один глаз».

Девяностолетний летописец Российской империи, кажется, вырублен у Цветаевой из камня, а поражает он — одновременно — мощью и бессилием. Силен, как семь слонов, да полуслеп — потому и не видит всей реальности.

Ему в противовес — Сонечка.

Там гигантские габариты — здесь исчезающая миниатюрность. Маленькая, черненькая. Взгляд пылающий. Глаза даже когда плачут, — смеются.

Там скандальная слава неуживчивого историка, здесь безвестность: незаметная институтка, потом — незаметная артистка: играла в провинции, тихо умерла, никаких следов в театральной энциклопедии.

Там — казачья двужильность, здесь готовность к небытию... Только в цветаевской повести и осталась биография. Да еще и в фамилии — едва запоминающийся парадокс: Голлидэй — с английского — праздник, воскресение. Какой уж там праздник, какое воскресение...

Так что же держит цветаевский интерес к Сонечке на протяжении трехсот страниц повести?

Да вот это и держит. Жизнелюбие в обреченности. Любвеобилие на безлюбье. Воскресение в гибели. Жизнь в нежизни.

«Революция не революция, пайки не пайки, большевики не большевики — все равно умрет от любви, потому что это ее призвание — и назначение».

Любить вопреки смерти, умереть вопреки любви — это и есть назначение.

« — Марина! Я ведь знаю, что я в последний раз живу».

« — Сколько бы мне еще ни осталось жить — это мой последний час».

« — Не «который час?» а — «когда смерть?»

Сонечка окорачивает ее, Марины, природное жизнелюбие. Важно (для современного читателя Цветаевой) не то, что происходит в душе героини, а то, что — в душе автора. От героини что тут остается? «Несколько поцелуев»... «танцующая пустота». От пребывания героини в душе автора — фатальное ощущение нераздельности любви и гибели. Дар беспощадной зоркости. Дар — как удар...

«Здесь уместно будет сказать... что я к Сонечке сразу отнеслась еще и как к любимой вещи, подарку, с тем чувством радостной собственности, которого у меня ни до, ни после к человеку не было никогда, а к любимым вещам — всегда».

Подарок... праздник... воскресенье...

Лица — действуют по законам страшного века.

«Я сказала: «действующие лица». По существу же действующих лиц в моей повести не было. Была любовь. Она и действовала — лицами».

Особое место в кругу этих лиц занимают у Цветаевой — поэты.

В кругу поэтов особое место занимают трое, оказавшие на Цветаеву сильнейшее действие.

Валерий Брюсов. Максимилиан Волошин. Андрей Белый.

Брюсов — гранитное изложье вольных волн поэзии. Не картон, не гипс — гранит! Магия пределов. Плен определенности. Жесткость допусков, правил, законов. Страсть к схематизации, систематизации, механизации. По праву завоеванное в СССР звание героя труда. Институт — «частное дело, творимое совместно». Политех — «незаменимое место для стадной наглости и убийственного — для авторской робости». Солидарность «своих». Инстинктивный отскок при виде чужой породы. Волк!

«Брюсова я под искренним видом ненависти просто любила...»

Попытка полюбить то, что лежало на пути, преграждает путь? Заклятие реальности, запирающей дух?

Ничего не отдашь — тут же Брюсов и скрип ключа.

Брюс реальности.

Другое дело — Волошин. Солнце, которое глядит на нас неустанно. Высшая

свобода — от всего. Все вверх, все вверх... «И такие ледяные, голубо-зеленые глаза». Семь пудов изумительной невесомости. «Ты будешь — все...»

Что — все?

«И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картину за картиной — всю русскую революцию на пять лет вперед: террор. Гражданская война, расстрелы, заставы. Вандея, озверение, потеря лица, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь...»

Красных спасал от ненависти белых, белых — от ненависти красных...

«Он принадлежал другому закону, чем человеческому, и мы, попадая в его орбиту, неизменно попадали в его закон. Он сам был планета. И мы, крутившиеся вокруг него в каком-то другом, большем круге, крутились совместно с ним вокруг светила, которого мы не знали».

Макс — максимум миротворчества в мире человеческой невменяемости.

Как соединить красное, черное и все прочее в голубо-зеленом мирострое его честных глаз?

Где спасительно-белое?

Профессорский сынок Боря Бугаев берет псевдоним: Андрей Белый. Точно каторжник или дворник, — хихикают непосвященные. Но Цветаева знает смысл псевдонима. Дело не в идеях (попробовала читать его статью о ее стихах — трех четвертей не поняла). Дело в судьбе.

Судьба, равная несудьбе. Бытие, равное небытию.

Литература? Литература, равная ее исчезновению.

«Русская литература *была* чьим-то таким даром, *дачей*, но... (палец к губам, таинственно) хо-зя-е-ва вы-е-ха-ли. И не осталось — ничего. Одно *ничего* осталось, поселилось. Но это еще не вся беда, совсем не беда, когда *одно* ничего, *оно* — ничего, *само* — ничего, беда, когда — *ки...* Ки, ведь это, *кхи...* При-шел сме-шок. При-тан-цевал на тонких ножках сме-шок. *кхи-шок*. *Кхи...* И от всего осталось... *кхи*. От всего осталось не ничего, а *кхи*, *хи...* На черных ножках...»

Наконец-то что-то черное.

И дальше:

«Блок, не выйдя с лампой в ночь... мудрец, такой же мудрец, как Диоген, вышедший с фонарем — днем, в белый день — с фонарем. Один *света* прибавил, другой тьмы. Блок, отдавший себя ночи, растворивший себя в ней, — прав. Он к черноте прибавил, он ее сгустил, усугубил, углубил, учернил, сделал ночь еще черней — обогатил стихию... А вы — *хи-хи*? По краю, не срываясь — *хи-хи-хи...* Не платя — *хи-хи...* Сти-хи?»

Родная тьма возвращает к изначальной дилемме: черное божество или белое убожество?

« — Голубушка, родная, я — погибший человек! Вы, конечно, *знаете*? Все — уже знают! И все знают, почему, а я нет!»

Незнание о своей гибели — высший уровень небытия.

«Родился в России, это почти что родился везде, родился нигде».

«Он не собой был занят, а своей бедой, не только данной, а *отрожденной*: бедой своего рождения в мир. *Рожден* затравленным. Не эгоист, а эгоцентрик боли, неизлечимой болезни жизни, от которой вот только 8 января 1934 года излечился...»

Если уж Сонечка Голлидэй могла показаться коррективом нечаянного жизнелюбия, то тут — парадоксальное общение — «общение с моим покоем, основным здоровьем, всей моей неизбывной жизненностью».

Собеседник — не на земле, он — в родной и страшной его стихии — пустых пространств, так что хочется за руку его взять, чтобы удержать на земле».

На земле — Брюсов распоряжается. На небе — Макс светится. Где-то между — в полете-падении — Белый.

«Такова была эпоха. Таковы были тогда души. Лучшие из душ».

В другие эпохи было лучше?

Не вернуться ли на сто лет назад?



## Исполнение пушкинского желания

Нижеследующие рассуждения выношены в конце 1920-х годов. Записаны за восемь лет до очерка «Мой Пушкин». Рождены в ходе работы над повестью «Натаалья Гончарова».

«— Ты в отставку, а я тебе архивную дверь перед носом! И Пушкин остался. Вместо деревни — Двор, вместо жизни — смерть».

«Страх перед страстью. Гончарова за Пушкина вышла из страха, так же, как Николай I из страха взял его под свое цензорское крыло».

«Нет в Натаалье Гончаровой ничего дурного, ничего порочного, ничего, чего бы не было в тысячах таких, как она... Было в ней одно: красавица. Только красавица, просто красавица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч. И — сразила.

Просто — красавица. Просто — гений».

Чтобы понять эти сопоставления (страх — смерть — меч), надо ощутить то, что выше сущего. То, что объемлется словом «все».

«Все» — исчерпывающее и неисчерпаемое, изначальное и конечное, неразлагаемое и несводимое. Чистое.

Что переменялось за сто лет после пушкинской эпохи?

В слове «все» обнаружилась пустота. Ничто. Нуль. Небытие.

«Чистое явление гения, как чистое явление красоты. Красоты, то есть пустоты... Натаалья Гончарова... то пустое место, к которому стягиваются, вокруг которого сталкиваются все силы и страсти. Смертоносное место. (Пушкинский гроб под розами)... Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предначертанной. Судьба выбрала самое простое, самое пустое, самое невинное орудие: красавицу».

«Тяга Пушкина к Гончаровой, которую он сам, может быть, почел бы за навязчивое сладострастие и достоверно («огончарован») считал за чары, — тяга гения — переполненности — к пустому месту. Чтобы было куда».

«Были же рядом с Пушкиным другие, недаром же взял эту! (Знал, что брал.) Он хотел нуль, ибо сам был — все. И еще он хотел того *всего*, в котором он сам был нуль. Не пара — Россет, не пара Раевская, не пара Керн, только Гончарова пара. Пушкину ум Россет и любовь к нему Керн не нужны были, он хотел первого и недостижимого. Женитьба его так же гениальна, как его жизнь и смерть».

«Языческая пара, без Бога, с только судьбой».

Бога нет — есть судьба. Цвета нет, есть бесцветие. Белизна, поглотившая черноту.

«Пушкин должен был быть убит белым человеком на белой лошади, в которого так свято верил, что даже ошибочно счел его *Вейскопфом*, (он точно свою смерть примерял) одним из генералов польской войны, на которую стремился — навстречу смерти. Судьба посредством Гончаровой выбирает Дантеса, пустое место, равное Гончаровой. Пушкин убит не белой головой, а каким-то — пробелом!»

Белое — пробел. Предел пустоты и ее беспредельность. Апофеоз небытия. Ноль.

В лице Пушкин шутил, что любое уравнение оканчивается нулем.

Двадцатый век свел все к нулю. В том числе и Пушкина.

«Никто в Пушкине не остается, ибо он сам в данном Пушкине не остается. А *остающийся* никогда в Пушкине и не бывал».

«Влияние всего Пушкина целиком? О, да. Но каким же оно может быть, кроме освободительного? Приказ Пушкина 1829 года нам, людям 1929 года, только контр-пушкинианский. Лучший пример «Темы и Варьяции» Пастернака, дань любви к Пушкину и полной свободы от него. Исполнение пушкинского желания».

## Ответ — один

Собственно, повесть «Наталья Гончарова» посвящена не Пушкину и его законной жене, а дальней родственнице (двоюродной правнучке) Натальи Николаевны Гончаровой — Наталье Сергеевне Гончаровой, известной художнице XX века.

Не разбираясь в ее живописных открытиях (кои оценивать должны специалисты), останавлиюсь на теме, прямо вытекающей из сказанного: о взаимоотношениях честного художника и крутой эпохи.

Художник зависит от спроса, от заказа, от страхов и соблазнов своего времени. Несколько суждений на этот счет:

«*Ответственность* — вот «бедность» «внешней жизни» Гончаровой, радость, называемая аскетизмом, мертвая хватка в вещь, называемая отказом».

«Беззащитность перед ударом (дара). Дать вещи ударить в себя и, устояв, отдать. Воздать».

«Отмахивается кистью».

«Осечка: Гончарова, отказывающаяся в лифт, — тот же лифт, отказывающийся вверх. Природа *не* захотела».

« — Все? В той мере, в какой нам дано на земле ощутить «все» в той мере, как я это на этих многих листах осуществить пыталась. *Все, кроме еще всего*. Но если бы меня каким-нибудь чудом от этого *еще-всего*, совсем-всего, всего-всего отказаться — заставили, ну просто приперли к стене, или разбудили среди ночи: ну?..»

Это «ну» заставляет отвечать на вызовы эпохи.

И тут обнаруживается сходство Марины Цветаевой и Натальи Гончаровой — в реакции на «все», грозящее стать «ничем», или на «ничто», ставшее «всем».

Философская система, выстраданная Цветаевой, напрямую сцепляется с ее поэзией:

Отказываюсь — быть.  
В Бедламе нелюдей  
Отказываюсь — жить.  
С волками площадей

Отказываюсь — выть.  
С акулами равнин  
Отказываюсь плыть —  
Вниз — по теченью спин.

Не надо мне ни дыр  
Ушных, ни вещей глаз.  
На твой безумный мир  
Ответ один — отказ.

Великие строки, завещание.  
Решимость выстоять.  
Ответ на вызов.  
Отраженный удар.

## Summary

---

### **ARTUR SOLOMONOV. THEATRICAL STORY.**

*Not spoiled by the attention of public and producers an actor of a famous theater had a dream of himself acting in Shakespeare's "Romeo and Julia" the part of Julia. Well, everything may happen in the dreams. But soon it turns out that the celebrated producer got obsessed by the conception of quite a new scenic realization of the drama. Moreover it's this very actor whom he appoints to play Julia! Well, it also happens — producers' intentions are as unpredictable as our dreams and may have unpredictable consequences which exactly take place in this novel.*

*The poetical map of this issue is very wide: VYACHESLAV SHAPOVALOV from Bishkek, ZVIAD RATIANI from Tbilisi and his translator BAHIT KENZEEV from New-York, DMITRIJ RUMYANTZEV from Omsk and GRIGORIJ KRUKOV from Moscow. Everyone of them has his own peculiarities of attitude determined both by belonging to a certain generation and by individual creative search and hand.*

### **ILYA FALIKOV. Notes in commemoration of the 100th anniversary of Yaroslav Smelyakov.**

*Sometimes they call him "a man of the sixties". It's not correct. Smelyakov had entered the literature 30 years earlier and all his life considered himself a poet of the epoch when everything was just beginning for his country and for himself. Though it's true that two thirds of that period were knocked out and disfigured for him and his triumph fell on the declining creative period marked by feverish writing. By this publication we commemorate the centenary of the poet who used to conduct the poetical section of our magazine for many years.*

*Traditional ROUND-TABLE DISCUSSION of "DN": literary critics and observers sum up the previous literary year — its main events, tendencies, names, successes of the home authors and especially those from the "near abroad". It's all is noting but personal predilections, but that's what is really interesting, isn't it?*

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!  
В 2013 году  
распространением журнала занимаются агентства  
«Роспечать» и «Урал-Пресс».  
Наш индекс 70250

Технический редактор Наталья Кузнецова  
Верстка Елены Жирновой